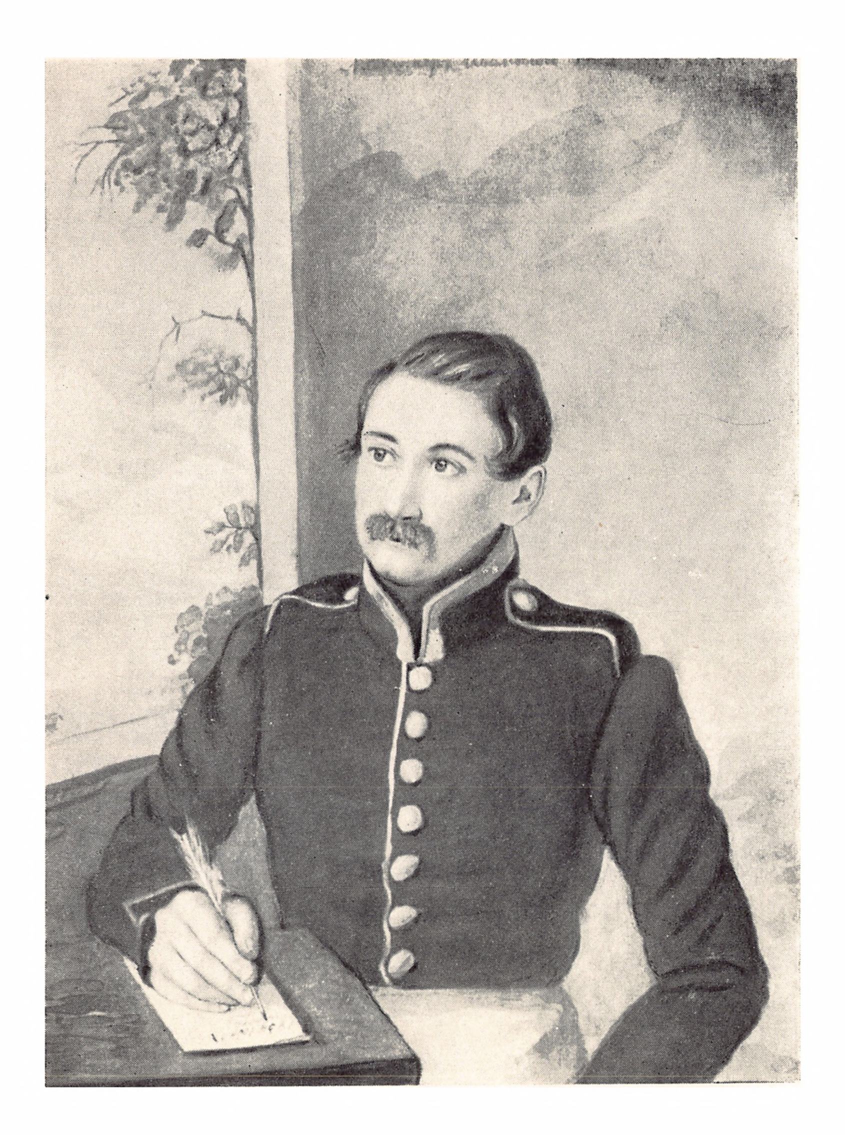
А. И.
ПОЛЕЖАЕВ

БИБЛИОТЕКА
ПОЭТА

А. И. ПОЛЕЖАЕВ

Советский
писатель





БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА

М. ГОРЬКИМ

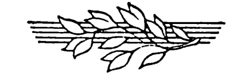
Большая серия

Второе издание

ЛЕНИНГРАД * 1957

А. И. ПОЛЕЖАЕВ

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Вступительная статья
Н. Ф. Бельчикова
Подготовка текста и примечания
В. В. Баранова

А. И. ПОЛЕЖАЕВ

Что ж будет памятью поэта?
Мундир?.. Не может быть!.. Грехи?..
Они оброк другого света...
Стихи, друзья мои, стихи!

А. Полежаев

1

28 июля 1826 года, через пятнадцать дней после казни пяти декабристов, молодой поэт Александр Полежаев, только что окончивший Московский университет, привезен был в Кремлевский дворец к Николаю I, прибывшему в Москву на коронацию. Царь, в присутствии министра народного просвещения и ректора университета, показал Полежаеву переписанный набело экземпляр поэмы «Сашка» и спросил, он ли сочинил эти стихи? Когда Полежаев ответил утвердительно, царь приказал ему читать поэму вслух.

«Волнение Полежаева было так сильно, что он не мог читать. Взгляд Николая неподвижно остановился на нем...

— Я не могу, — сказал Полежаев.

— Читай! — закричал высочайший фельдфебель.

Этот крик воротил силу Полежаеву, он развернул тетрадь.

Сначала ему было трудно читать, потом, одушевляясь более и более, он громко и живо дочитал поэму до конца.

— Что скажете? — спросил Николай по окончании чтения. — Я положу предел этому разврату, это все еще следы, последние остатки; я их искореню».[1]

---

[1] А. И. Герцен. Собрание сочинений, т. 8. М., 1956, изд-во АН СССР, стр. 166. Далее ссылки на сочинения Герцена даются по этому изданию в тексте с указанием тома и страницы.

Так рассказывает в «Былом и думах» Герцен, со слов самого поэта, об этом свидании, после которого Полежаев отдан был в Бутырский пехотный полк и стал унтер-офицером.

Его участь была не лучше тех, кто после разгрома восстания декабристов был заключен в тюрьму или сослан на каторгу.

Поэт провел двенадцать лет в тяжелых условиях казарменной жизни, в действующей армии на Кавказе, год содержался в тюрьме, был, незадолго до смерти, подвергнут телесному наказанию с такой жестокостью, что, по словам очевидца, «долгое время после наказания поэта из его спины вытаскивали прутья».[1]

Полежаев умер на койке военного госпиталя. Герцен с горькой иронией писал, что Николай «за чахотку произвел Полежаева в офицеры» (VIII, 147): приказ о производстве поэта в чин прапорщика застал его в предсмертной агонии.

В период после разгрома декабристского движения Полежаев выступил продолжателем традиций декабристов в русской поэзии и был выразителем идейных исканий передовых людей той эпохи.

Но если декабристы были, по известному ленинскому определению, «страшно далеки от народа», то Полежаев, в силу социальных и биографических условий, был в зрелые годы своей недолгой жизни прочно связан с угнетенными массами. Это не могло не отразиться в его творчестве, в котором явственно проступают черты, роднящие Полежаева с революционно-демократической идеологией.

2

«Жизнь сочинителя, — говорил А. И. Герцен, — есть драгоценный комментарий к его сочинениям» (I, 62). Тем более это нужно сказать о Полежаеве, чья биография является великолепным комментарием ко всему его художественному наследию: многие из лучших произведений поэта носят ярко выраженный автобиографический характер. Вот почему, говоря о поэзии Полежаева, не следует отделять ее от его жизни.

Александр Иванович Полежаев родился в 1804 или 1805 году.[2] Он был сыном богатого пензенского помещика Леонтия Струйского и его дворовой — Аграфены Федоровой, выданной уже после рождения сына за мещанина города Саранска Ивана Полежаева. Струйский не захотел или не успел усыновить будущего поэта, который был приписан к саранскому мещанству и который всю свою сознательную жизнь тяготился положением «незаконнорожденного».

---

[1] «Исторический вестник», 1895, № 9, стр. 647.

[2] Точная дата рождения Полежаева еще не установлена.

Ставшие известными в последние годы многочисленные документы позволяют довольно полно представить жизнь Полежаева в родных местах.[1] Детские годы будущий поэт провел в семье отчима, а затем, после его внезапного исчезновения в 1808 году и смерти матери в 1810 году, — в усадьбе Струйских, на попечении своих родственников по линии матери, в людской, среди столяров, сапожников и других ремесленников из дворни. Герцен по поводу воспитания в барской усадьбе среди дворни писал: «Я никак не могу себе представить, чтоб наша передняя была вреднее для детей, чем наша «чайная» или «диванная». В передней дети перенимают грубые выражения и дурные манеры — это правда; но в гостиной они принимают грубые мысли и дурные чувства» (VIII, 36). Находясь в этом окружении, Полежаев, с одной стороны, действительно воспринимал грубые нравы и манеры, но вместе с тем он уже в раннем детстве видел и тяжелый изнурительный труд крепостных и картины «барства дикого», типичным представителем которого был Леонтий Струйский.

В августе 1816 года Полежаев был привезен в Москву и до 1820 года обучался в пансионе — по-видимому, вначале это был пансион при московской губернской гимназии, а позже частный пансион Визара, ироническую характеристику которого поэт дал в поэме «Сашка». Поступление Полежаева в пансион совпало с событием, имевшим для него немаловажное значение: возвратившись из Москвы и предавшись очередному запою, Струйский в сентябре 1816 года засек до смерти одного из своих дворовых. Дело получило огласку, и Струйский был предан суду, который лишил его дворянства и приговорил к поселению в Сибири, где отец Полежаева и умер в 1823 году.

После вынужденного отъезда отца, и в особенности после его смерти, материальное обеспечение Полежаева стало еще менее устойчивым, благодаря чему будущий поэт испытывал острую нужду, подобно другим юношам из числа детей обедневших дворян, мещан, мелких чиновников, с которыми юный Полежаев близко сошелся в последующие годы.

В сентябре 1820 года Александр Полежаев, подобно герою своей поэмы «Сашка»,

> ...достойным учинился
> Носить студента знатный чин!..

Правда, как лицо недворянского происхождения, Полежаев не мог быть, по существовавшему в то время законодательству, принят в

[1] См. В. В. Баранов. А. И. Полежаев. Биографический очерк, в кн. А. И. Полежаев. Стихотворения. М.—Л., 1933, стр. 46—50, и И. Д. Воронин. А. И. Полежаев. Жизнь и творчество. Саранск, 1954, стр. 32—61.

университет студентом. Сдав вступительные экзамены, Полежаев стал вольным слушателем словесного отделения Московского университета, с которым он был связан в течение длительного времени (1820—1826) и который сыграл важнейшую роль как в формировании идейных взглядов, так и в поэтическом развитии Полежаева.

3

Период, в который развернулась поэтическая деятельность Полежаева, — это эпоха подготовки восстания декабристов и наступившей после его разгрома реакции. Как известно, Отечественная война 1812 года в сильнейшей мере содействовала осознанию противоречия между угнетенным положением народных масс, томящихся в крепостническом рабстве, и огромными духовными силами, проявленными ими в войне. Все это ставило перед обществом вопрос о дальнейшей борьбе с самодержавием, поскольку именно оно, как и порождавшее его крепостничество, являлось главным тормозом на пути общественного прогресса.

В развитии передовой общественной мысли 20-х годов значительна роль Московского университета. В первой четверти XIX столетия, а следовательно, и в годы, когда учился в нем Полежаев, в Московском университете в области гуманитарных наук еще не появились выдающиеся ученые, которые позднее возвысили роль университета как рассадника передовой научной мысли. Конечно, оказывали плодотворное влияние на студентов лекции таких видных ученых, как М. Г. Павлов, И. И. Давыдов, А. Ф. Мерзляков, М. Т. Каченовский. «Но больше лекций и профессоров, — по верному замечанию Герцена, — развивала студентов аудитория юным столкновением, обменом мыслей, чтений... Московский университет свое дело делал; профессора, способствовавшие своими лекциями развитию Лермонтова, Белинского, И. Тургенева, Кавелина, Пирогова, могут спокойно играть в бостон и еще спокойнее лежать под землей» (VIII, 123).

Студенческая среда Московского университета, все более интенсивно пополнявшаяся людьми «разного чина и звания», была восприимчивой почвой для распространения свободолюбивых идей. До нее, несомненно, долетали отголоски недовольства крестьянских масс, рассказы о восстании Семеновского полка в Петербурге в октябре 1820 года и о жестокой расправе царя с восставшими, крестьянские волнения на Юге России; были, конечно, памятны и бурные революционные события той поры в Западной Европе: революция в Испании, восстание в Неаполе и Пьемонте, война за независимость в Греции. Такова была общественно-политическая атмосфера, окружавшая молодого По-

лежаева. Разгром восстания декабристов застал его в стенах Московского университета. Хотя юный поэт не был связан ни с одним из тайных декабристских обществ, не был знаком ни с кем из декабристов, тем не менее вольнолюбивые настроения студента Полежаева должны быть поставлены в прямую связь с тем мощным общественным движением, ядро которого составляли декабристы.

Несмотря на поражение декабристского движения, его идеи не были побеждены в сознании передовой интеллигенции и прогрессивных кругов студенчества. 14-е декабря, по словам Герцена, открыло «новую фазу нашего политического воспитания» (VII, 200). Подвиг декабристов стал великим примером борьбы за свободу.

«Несомненно, эти жертвы, — сказал В. И. Ленин, — пали не напрасно, несомненно, они способствовали — прямо или косвенно — последующему революционному воспитанию русского народа».[1] Преклонение перед «фалангой героев» декабристского восстания и волнующие предания о деятелях французской революции подогревались в душе молодого поколения чтением вольнолюбивых стихов Пушкина, запрещенных стихов Рылеева. Политическая буря 14 декабря еще сильнее привлекала внимание передовой молодежи к вопросам политики, о которой говорили шепотом, украдкой. Царское правительство и сам Николай I беспощадно подавляли всякое проявление свободомыслия и протеста. Но за мрачным фасадом царской России зрели могучие народные силы, вдохновлявшие лучших людей того времени на борьбу с крепостным правом, с грубым деспотизмом самодержавия. Недаром Герцен сказал об этой поре, что это было «удивительное время наружного рабства и внутреннего освобождения».[2] Герцену удалось раскрыть противоречивый характер той эпохи. С одной стороны, он охарактеризовал ее как «царство мглы, произвола, молчаливого замирания, гибели без вести» (VI, 12), а с другой — как время, когда «деятельность, скрытая снаружи, закипала, таясь внутри» (VIII, 107).

Несмотря на жестокий правительственный террор, находились люди, которые не молчали, а обличали, предавали осуждению произвол и произносили резкие, бичующие слова по адресу самого Николая I. Полежаев уже в ранней молодости занял место в этом ряду борцов против ненавистного ему самовластья и до конца жизни вел неустанную борьбу против него.

---

[1] В. И. Ленин. Доклад о революции 1905 года. Сочинения, т. 23, стр. 235.

[2] А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем под ред. М. К. Лемке, т. 10. П., 1919, стр. 96.

В университете Полежаев сошелся с кругом студентов и слушателей, близких ему прежде всего по социальному положению. Дружба с представителями разночинной университетской молодежи была для будущего поэта вполне естественной и в известной степени объясняет те политические настроения, которые нашли выражение уже в первых его произведениях. Именно из подобной среды выходили участники тайных политических кружков, именно к этой среде принадлежал, например, друг Полежаева А. Г. Ротчев — автор стихотворений, проникнутых декабристскими идеями.

Об идейных связях Полежаева с декабристским движением свидетельствуют некоторые факты, обнаруженные в последнее время. Так, например, установлено, что летом 1826 года Полежаев ознакомился с антиправительственной агитационной песней К. Ф. Рылеева и А. А. Бестужева «Вдоль Фонтанки-реки...» и сообщил ее текст студенту П. Пальмину, привлекавшемуся позже к следствию по делу тайного кружка братьев Критских.[1] С именем Полежаева не без оснований связывается фигурировавшее в следственном деле о тайном обществе Сунгурова антирелигиозное стихотворение «Небесное ликование».[2]

Наконец, в последний год пребывания в университете Полежаев написал поэму «Сашка». Эта поэма написана в грубых, бурлескных тонах, действие ее происходит в кабаках, домах терпимости и других «злачных» местах. Но если бы поэма была только непристойным произведением, автор ее никогда не навлек бы на себя царского гнева и, уже во всяком случае, не был бы так жестоко наказан. В «Сашке» Полежаев выступил с осмеянием церкви, бюрократических порядков в университете и сословных привилегий, т. е. подверг злой критике важнейшие устои самодержавия и крепостничества. Более того, в тексте поэмы имелись строки, содержащие энергичный протест против всего политического режима царской России:

Но ты, козлиными брадами
Лишь пресловутая земля,
Умы гнетущая цепями,
Отчизна глупая моя!

---

[1] Л. А. Мандрыкина. Агитационная песня «Вдоль Фонтанки-реки...» и участие А. И. Полежаева в ее распространении. «Литературное наследство», № 59. М., 1954, стр. 101—122.

[2] См. И. Д. Воронин. А. И. Полежаев, стр. 91, и В. И. Безъязычный. А. И. Полежаев. Очерк жизни и творчества. В кн. А. И. Полежаев. Сочинения, М., 1955, стр. 11.

Когда тебе настанет время
Очнуться в дикости своей,
Когда ты свергнешь с себя бремя
Своих презренных палачей?

Не удивительно, что Николай I увидел в этой поэме «следы» и «остатки» декабризма. Полежаев, автор «Сашки», сумел затронуть многие волновавшие общественность той поры вопросы, начиная с вопроса об автономии университета, а освещение этих вопросов давалось в таком направлении, которое свидетельствовало о решительном разладе Полежаева с официальной идеологией. В сознании героя его поэмы ярко выражена стихийная ненависть к деспотизму, смелая критика несправедливого общественного устройства:

Свобода в мыслях и поступках,
Не знать судьею никого,
Ни подчиненности трусливой,
Ни лицемерия ханжей,
Но жажду вольности строптивой
И необузданность страстей!
Судить решительно и смело
Умом своим о всех вещах
И тлеть враждой закоренелой
К мохнатым шельмам в хомутах! —

таковы черты духовного облика центрального героя полежаевской поэмы.

5

Разумеется, не следует преувеличивать силу и глубину протеста Полежаева в этот ранний период его поэтической деятельности. Автор «Сашки» пока не идет дальше выражения своего негодования в общей форме. Полежаев порицает «духовный обман», демонстративно декларирует свое неверие, но еще не осмысливает его философски. Позднее, в стихотворении «Александру Петровичу Лозовскому» (1828), он заявит о философской основе своего атеизма.

Молодой поэт немало строк поэмы посвятил описанию похождений своего героя в цинично-откровенном тоне, свойственном, в частности, фривольному жанру «ирои-комической» поэмы. «Елисей, или Раздраженный Вакх» В. И. Майкова (1771), «Опасный сосед» В. Л. Пушкина (1811), «Чувствительное путешествие в Ревель» Н. М. Языкова (1823) — таковы предшественники «Сашки». Тем не

менее в этом произведении мы находим много нового, оригинального — того, что вытекало из своеобразия общественной позиции поэта. Бунтарские настроения автора «Сашки» охватывали широкую область жизни. Если с этой точки зрения подойти к пониманию эротических сцен в поэме Полежаева, то следует признать, что и за ними стоял определенный исторический смысл. Дело в том, что культ свободной, чувственной любви ни в какой степени не соответствовал нормам официальной морали, с которой Полежаев вообще порывал совершенно откровенно. Выступая апологетом свободы, Полежаев пропагандировал ее во всех областях жизни. Вот почему было бы неправильно отрывать одну область жизни, отраженную в поэме «Сашка», от другой и сводить ее содержание к изображению цинично-откровенных и непристойных сцен.

Поэма Полежаева написана не раньше мая 1825 года, т. е. вскоре после появления в свет (в феврале 1825) 1-й главы «Евгения Онегина» и отрывков из 2-й главы (строфы VII—X в альманахе «Северные цветы» на 1825 год). В поэме Полежаева и в пушкинском романе в стихах есть отнюдь не случайные сюжетные совпадения (например, в описаниях приезда Сашки в Петербург, посещения им театра и т. д.). Но совпадающие с «Евгением Онегиным» мотивы «снижены» то шуткой, то натуралистической деталью. Это «снижение» дало повод Герцену сказать, что Полежаев написал «юмористическую поэму «Сашка», пародируя Онегина» (VIII, 165).

Термин «пародия» едва ли здесь применим без оговорок уже потому, что пародия всецело обязана своим существованием другому художественному произведению, являющемуся ее объектом, тогда как поэма «Сашка» — оригинальное создание молодого поэта, выразившего в нем свое отношение к общественному типу, воплощенному в образе Онегина. Полежаев воспользовался готовой формой стиха пушкинского романа, некоторыми ситуациями и мотивами для того, чтобы подчеркнуть своеобразие Сашки и продемонстрировать свое скептическое отношение к некоторым чертам героя пушкинского романа. Этим, в сущности, и ограничивается параллелизм между «Сашкой» и первыми двумя главами «Евгения Онегина».

В противоположность Онегину, человеку из великосветской среды, Сашка — «добрый молодец», который «не был отроду бонтон». Участник в «буйственных делах», он, как и сам автор, сродни всем своим описанным в поэме приятелям не только по бесшабашности и необузданности страстей, но прежде всего по единству общественных настроений и по социалъному положению.

Развивая традиции декабристской поэзии, автор «Сашки», в отличие от нее, не обращался к страницам славного прошлого России

для воспевания вольности. Поэтический талант его искал вдохновения в окружающей действительности, — именно поэтому отличается тяготением к конкретности поэтика молодого Полежаева.

Тема свободы и тема борьбы человека кипучей энергии с деспотизмом и угнетением проникает в поэзию Полежаева начиная с поэмы «Сашка». В последующем творчестве они найдут у него дальнейшее развитие и более глубокую интерпретацию.

6

К поэме «Сашка» примыкает написанная вскоре после нее поэма «Иман-Козел» (1825—1826).

Сатирическое дарование Полежаева ярко сказалось в этой поэме. В ней молодой поэт использовал для разоблачения корыстолюбия и жадности духовенства ходившее в народе и услышанное им предание о «попе в козьей шерсти». Полежаев не просто заимствовал сказочный сюжет, но наполнил его своеобразным сатирическим содержанием. Кроме того, приспосабливаясь к цензурным условиям, он использовал некоторые приемы маскировки. Русские у него заменены арабами, действие перенесено в деревушку «недалеко от Триполи иль от Марокко». В предании «героем» назван поп, в поэме же его заменил иман, т. е. имам, духовное лицо мусульман. Весь рассказ ведется со слов приехавшего араба с мудреной фамилией из слогов, созвучных с русскими: Ври-лги-хап-хап. Прирастание козлиной кожи в предании представлено как чудесное явление, ставшее неожиданным наказанием для корыстолюбца. В поэме Полежаев дал этому естественное толкование: «Сырое липнет на сухом» и т. п.

Иносказательный смысл поэмы был тотчас разгадан: выяснилось, что в легендарную ткань была вплетена живая мысль современника с ее обличительной направленностью. Поэма обратила на себя внимание и, по словам рецензента «Московского телеграфа», наделала «довольно шуму».[1]

Политическая тенденция сатирической поэмы «Иман-Козел» проведена как в разоблачении духовенства, так и в картине возмущения народа. Смысл этого иносказания был понятен: если открыть народу правду о деяниях его притеснителей, то народ накажет их:

«Теперь он боле не иман!
Его на петлю, на аркан! —
Кричал народ ожесточенный. —

---

[1] «Московский телеграф», 1832, № 11, стр. 359.

Пускай во все концы вселенной
Пройдет правдивая молва,
Что так за гнусные дела
У нас карают всех злодеев»...

Поэмы «Сашка» и «Иман-Козел» являются наиболее значительными произведениями молодого Полежаева, в которых демократизм органически сочетался с тенденцией к реалистическому изображению действительности.

Однако к этому этапу своего литературного развития поэт подошел не сразу, а после сентиментально-романтических опытов в духе Жуковского. Первые стихотворения Полежаева, печатавшиеся в «Вестнике Европы» с конца 1825 года («Непостоянство», «Воспоминание»), а также переводы из Оссиана, Ламартина носят явные следы подражания Жуковскому и Батюшкову. Это сказывалось и в образе разочарованного лирического героя с «охладелой душой», и в мрачных размышлениях девушки, покинутой ее возлюбленным, и в романтической условности пейзажа, и в подчеркнутой эмоциональности поэтического языка.

Но важно отметить, что в традиционную отвлеченно-романтическую лирику молодого Полежаева очень рано вторглись живые будничные черты, реальные краски подлинной действительности. Так, в стихотворении «Погребение» (1826) изображено горе простых людей. В реальном плане дано описание природы и быта тихой деревни. Ряд ощутимо жизненных деталей в этом стихотворении убедительно свидетельствует об умении поэта схватывать и отражать жизнь близких и родственных ему «низших» слоев общества. Описание унылых деревенских похорон — это кусок живой тогдашней русской действительности, для изображения которого поэт нашел подлинно художественные краски:

Не длинный ряд экипажей,
Не черный флер и не кадилы,
В толпе придворных и пажей
За ней теснились до могилы.
Ах, нет! Простой дощатый гроб
Несли чредой ее подруги,
И без затейливой услуги
Шел впереди приходский поп.
Семейный круг и в день печали
Убитый горестью жених,
Среди ровесниц молодых,
С слезами гроб сопровождали.

Отдельные детали в стихотворении, как, например, «звучит протяжно звонкий гвоздь», — это не только тонкие художественные штрихи, но и схваченные в живом потоке явлений черты, говорящие о силе художественной наблюдательности Полежаева.

Это свидетельствует о том, что даже в своих первых произведениях, отмеченных печатью подражательности, Полежаев успешно овладевал поэтическим мастерством.

7

Летом 1826 года Полежаев окончил университет. Последовавшая вслед за этим расправа царя имела роковые последствия для всей дальнейшей жизненной судьбы поэта. Попав унтер-офицером в Бутырский пехотный полк, стоявший то в Москве, то в близлежащих губерниях, Полежаев столь тяжело переживал эту перемену в своей жизни, что, по его словам, был «не в силах переносить трудов военной службы» и летом 1827 года самовольно покинул полк с намерением пробраться в Петербург, чтобы испросить себе освобождение. До Петербурга он не добрался и, очевидно, в дороге понял, какая кара грозит ему за побег, и вернулся в полк. О бегстве Полежаева, разумеется, сообщили Николаю. Поэта судили военным судом, который приговорил его к разжалованию в рядовые. А Николай, утверждая решение суда, прибавил к нему лишение права выслуги. Это значило, что Полежаев обречен был оставаться рядовым на неопределенное время, что его могли подвергнуть телесным наказаниям и любой офицер или унтер-офицер мог издеваться над ним сколько угодно, как над любым бесправным солдатом.

Этот приговор показался Полежаеву — да так оно в действительности и было — предвестием его гибели. До этого он мог еще надеяться на какое-либо улучшение своей участи, но решение суда и роковое «без выслуги» положили конец всяким надеждам. Через два месяца после военного суда за побег Полежаева допрашивали по делу о тайном обществе братьев Критских. Следствием было установлено, что Полежаев передал одному из привлекавшихся по этому делу, Петру Пальмину, летом 1826 года «дерзкие стихи насчет правительства».[1] Это была одна из агитационных песен, написанная Рылеевым вместе с декабристом А. А. Бестужевым («Вдоль Фонтанки-реки. . .»).

20 октября 1827 года, согласно предписанию царя, Полежаев был освобожден из-под ареста. Однако в мае следующего, 1828 года про-

[1] Л. А. Мандрыкина. Цитированная статья, стр. 114.

тив поэта началось новое военно-судное дело: за нарушение военной дисциплины, по доносу фельдфебеля, поэта ожидало тяжелое наказание. Полежаев был снова арестован и до окончания следствия посажен в каземат — сырой и зловонный подвал Спасских казарм. На поэта были надеты кандалы и наручники. Здесь просидел он целый год. Возможно, что здесь началась у Полежаева чахотка, которая позже свела его в могилу.

В стихотворении «Александру Петровичу Лозовскому» (1828) поэт рассказал о своих невыносимо тяжелых переживаниях в тюрьме, которые едва не довели его до самоубийства.

Но следствие закончилось в декабре 1828 года сравнительно милостивым решением: «Хотя надлежало бы за сие к прогнанию сквозь строй шпицрутенами, но в уважение весьма молодых лет вменяется в наказание долговременное содержание под арестом, прощен без наказания с переводом в Московский полк».

8

Несмотря на невыносимые условия жизни в тот период, Полежаев не прекратил своей поэтической деятельности. В эти тягчайшие годы (1826—1828) он создает целый ряд замечательных стихотворений, как, например, «Вечерняя заря», «Цепи», «Валтасар», «Песнь пленного ирокезца», «Песнь погибающего пловца». В этих и некоторых других произведениях талант Полежаева развернулся со всей присущей ему силой. По словам Белинского, «отличительную черту характера и особенности поэзии Полежаева составляет необыкновенная сила чувства, свидетельствующая о необыкновенной силе его натуры и духа, и необыкновенная сила сжатого выражения, свидетельствующая о необыкновенной силе его таланта».[1] Указанные Белинским две важнейшие особенности таланта Полежаева вполне обозначились у него именно в это время.

В 1828 году поэт создает несколько стихотворений, в которых обрисовывает свою страшную судьбу, солдатскую тюрьму, ее узников, смело высказывает свои вольнолюбивые политические и философские убеждения. В стихотворениях «Песнь пленного ирокезца», «Песнь погибающего пловца», «Живой мертвец» воссоздан образ «неизменного друга свободы», смелого бойца, обреченного на гибель, но бесстрашно

[1] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 6. М., 1955, изд-во АН СССР, стр. 159. В дальнейшем ссылки на сочинения Белинского даются по этому изданию в тексте с указанием тома и страницы.

готового «встретить миг роковой». Распространенные в поэзии 20-х годов аллегорические образы «пленника», «погибающего пловца», «живого мертвеца» Полежаев сумел наполнить подлинными переживаниями людей своей эпохи, сумел романтическую отвлеченность образов оживить высокой политической мыслью, придав им тем самым живые, конкретно-исторические черты. Полежаев, например, использовал образ пленного индейца-ирокеза как символ политического борца и протестанта, влюбленного в свободу. И этот экзотический образ получает у поэта национально-историческое звучание:

Я умру! на позор палачам
Беззащитное тело отдам!

. . . .

И, как воин и муж,
Перейду в страну душ.
Перед сонмом теней воспою
Я бесстрашную гибель мою.
И рассказ мой пленит
Их внимательный слух,
И воинственный дух
Стариков оживит;
И пройдет по устам
Слава громким делам.
И рекут они в голос один:
«Ты достойный праправедов сын!»
Совокупной толпой
Мы на землю сойдем
И в родных разольем
Пыл вражды боевой;
Победим, поразим
И врагам отомстим!

Не исключена возможность и более конкретного толкования аллегорического смысла «Песни пленного ирокезца». В словах «старики», «прапрадедов сын» можно видеть скрытый намек на декабристов.

Не отказываясь от принципов романтической лирики, Полежаев нередко переосмысляет традиционно-романтические образы и мотивы, придавая им политически острое и вполне конкретное звучание. Так, в стихотворениях «Цепи» и «Рок» строки, заключающие энергичные выпады против царя, сообщают этим стихотворениям определенную политическую направленность. Интересно в этом отношении стихотво-

рение «Вечерняя заря». Судя по его началу, по образно-стилистической системе, это стихотворение могло быть принято за сентиментальную элегию, в которой поэт оплакивает безумие молодости, погубившее его:

Буйной жизнью убил
Я надежду мою...

Кроме того, это стихотворение изобилует романтическими штампами, обычными в поэзии той эпохи:

В мире странствую я,
Как вампир гробовой...

Но строки о борьбе с самовластьем и о родной стране, которая «палачу отдана», переключают все стихотворение в иной план — в план гражданской политической лирики с определенным конкретно-историческим адресатом.

Перечисленные стихотворения хотя и проникнуты настроениями грусти и тоски, обусловленными тяжелой личной судьбой поэта, в то же время очень далеки от безысходного пессимизма. За полными гнева и протеста стихами встает образ мужественного, борющегося, не сломленного гнетом и унижениями поэта, возвышающего свой полный гражданской скорби голос против царя, душителя свободы.

Стихотворения 1826—1828 годов свидетельствуют о развитии и прояснении политических взглядов Полежаева. Еще в «Сашке» поэт бросил резкий вызов в адрес «презренных палачей», но это был всего лишь один энергичный выпад против бюрократической верхушки. После 1826 года политическое сознание Полежаева возвысилось до прямого призыва к борьбе с нестерпимо тягостным деспотизмом царя. Антицаристские мотивы в то время уже составляли важнейшую тему поэзии Полежаева — тему самовластья, которая тогда особенно занимала поэта по вполне понятной причине: столкновение с живым деспотом, царем Николаем, естественно, усиливало его интерес к ней. Трактовка этой темы в стихах Полежаева той поры неопровержимо свидетельствует о том, что он не был сломлен преследованиями всесильного монарха. Так, в эти годы поэт написал антиправительственное стихотворение «Четыре нации», в котором сатирическое изображение крепостнической России было продиктовано глубоким чувством любви к родине, к русскому народу. В стихотворении «Валтасар» довольно прозрачно выражена идея гибели самовластья. Показательно, что именно так расценивалось это произведение некоторыми современниками, о чем свидетельствует донос И. В. Шервуда (1829), в котором

«Валтасар» значится в числе стихотворений Полежаева, «сочиненных против религии, государя, отечества...» [1]

Певцом свободы, продолжателем дела декабристов выступает Полежаев в своих произведениях 1826—1828 годов. В замечательном стихотворении «Осужденный», написанном, по всей вероятности, в те же годы, он перечисляет традиционные поэтические темы и, гордо заявляя о своем отказе от них, создает новый образ поэта, трагический образ человека, приговоренного к пытке и смертной казни:

Не розы светлого Пафóса,
Не ласки гурий в тишине,
Не искры яхонта в вине, —
Но смерть, секира и колеса
Всегда мне грезились во сне!

Эта поэтическая декларация, рисующая дело поэта как дело борца и мученика, обобщала целый этап пройденного Полежаевым пути, пути суровых испытаний и непрерывной борьбы.

9

В эволюции полежаевской поэзии велико значение большого стихотворения, обращенного к другу поэта Александру Петровичу Лозовскому (1828). Оно было создано в обстановке мрачной солдатской тюрьмы, где томился закованный в кандалы «узник и солдат» Полежаев:

Он смрадный воздух жизни пьет
И самовластие клянет, —

писал о себе поэт. Тема узника и тюрьмы неоднократно поднималась в русской поэзии того времени. Но полежаевский реальный, земной арестант, изображенный в сугубо бытовых условиях, без романтического ореола и без декоративных описаний, явно противостоял известным в литературе «узникам» и, в частности, широко распространенному в те годы «Шильонскому узнику» Байрона в переводе В. А. Жуковского. Больше того, романтический сюжет борьбы «честного разбойника» и бунтаря Полежаев наполнил политически острым содержанием: он показал необходимость борьбы с деспотизмом и со всем режимом самодержавия. На фоне личной драмы поэта-арестанта и его трагического столкновения с деспотом Полежаев раскрыл типическую

[1] В. Баранов. Судьба литературного наследства А. И. Полежаева. «Литературное наследство», т. 15. М., 1934, стр. 245.

судьбу многих прогрессивно настроенных людей 20—30-х годов, шедших, подобно ему, путем борьбы с царизмом и дерзавших думать о продолжении дела декабристов. Так, например, почти все участники антиправительственных кружков братьев Критских и Сунгурова, а позднее поэт Соколовский и художник Уткин были брошены в казематы, отправлены в ссылку. Такая же трагическая участь постигла и других молодых вольнодумцев, принадлежавших в большинстве случаев к разночинным кругам прогрессивной интеллигенции, причем далеко не все их имена сохранила история.

В стихотворении «Александру Петровичу Лозовскому» раскрывается трагический конфликт молодого поэта, певца вольности, с царем — душителем свободы и притеснителем народа. Царь — враг народа, нарушитель основных человеческих законов жизни и гонитель тех, кто сочувствует народным массам:

Поймешь ли ты, что ц<арский> долг
Есть не душить, как лютый волк,
По алчной прихоти своей
Мильоны страждущих людей...

Так обращается поэт к царю, который не слушает друзей народа и друзей свободы и обрекает продолжателей дела декабристов на мучения и смерть.

Высказывая свое негодование по адресу царя и обвиняя его в бедствиях народа, поэт сознает и горькое чувство своего бессилия в этой борьбе:

Бессилен звук в моих устах,
Как меч в заржавленных ножнах...

Лирический герой Полежаева, понимая неизбежность борьбы с самодержавием, грозит мщением тирану; он бунтует, не признавая самовластья, но не видит и не знает тех сил, на которые он мог бы опереться в этой борьбе.

У Полежаева есть острая критика крепостнического режима, есть стремление пробудить сознание угнетенных против деспота-царя, но нет представления о том, как перестроить жизнь и разрушить самовластье. Таков исторический удел борцов того времени. Но их великая заслуга в том, что они не молчали и бесстрашно осуждали самодержавие.

В том же стихотворении Полежаев возвышается до отрицания бога. Он пишет:

Одно из двух: иль он желал,
Чтобы невинно я страдал,

Или слепой, свирепый рок
В пучину бед меня завлек?..
Когда он видел, то хотел,
Когда хотел, то повелел,
Всё чрез него и от него,
А в заключенье из того:
Когда я волен — он тиран,
Когда я кукла — он болван.

Интересно отметить, что ход мысли Полежаева в приведенных строках его стихотворения во многом напоминает известное рассуждение Эпикура, опровергающее бытие божие. Не менее интересно и то, что это суждение Эпикура цитировал Поль Гольбах в своем антирелигиозном трактате «Здравый смысл, или Естественные идеи, противопоставленные идеям сверхъестественным». Вот полный текст упомянутого суждения: «Либо бог хочет препятствовать злу, но не может добиться этого; либо он может, но не хочет; либо он этого и не хочет, и не может; либо он это хочет и может. Если он хочет и не может, он бессилен; если он это может, но не хочет, следовательно он обладает злой волей, которую не следует ему приписывать. Если он и не может и не хочет, то он был бы одновременно и беспомощным и злым и поэтому не мог бы быть богом. Если он это и хочет и может, откуда же берется зло, и почему он не препятствует ему?» [1] Если учесть, что атеистические сочинения Гольбаха имели тогда широкое распространение в среде передовой русской интеллигенции, то можно предположить, что Полежаев был хорошо знаком с ними. [2] Вероятность этого тем более очевидна, что известно об успешных занятиях Полежаева философией в бытность в Московском университете. О знакомстве поэта с французскими материалистами и атеистами — деятелями французской революции XVIII века — свидетельствует сравнительно недавно опубликованное «Замечание» Полежаева к стихотворению «Осужденный», в котором говорится о Дантоне, читающем оду атеиста Грекура, когда ему произносят смертный приговор, и об Анахарсисе Клоотсе, проповедовавшем атеизм на гильотине.

Упоминание Полежаевым имен Дантона и Клоотса — смелого революционера, сторонника гебертистов («бешеных») и крайнего атеиста, — а также автора антицерковных и фривольных сказок Грекура свидетельствует о симпатиях поэта к таким деятелям французской революции, которые нанесли смелый и решительный удар по

[1] Поль Гольбах. Избранные антирелигиозные произведения, т. 1. М., 1934, стр. 46.

[2] Об этом см. также «Примечания», стр. 430.

религии и проявили подлинно гражданское мужество в борьбе с реакцией.

Полежаев, не имея возможности прямо высказывать свои мысли об атеизме в произведении, предназначенном для печати, попытался в замаскированной форме напомнить читателям об этих идеях, называя имена деятелей революции, провозглашавших борьбу с религией, но цензура все-таки запретила «Замечание» поэта.

Итак, если в раннем творчестве, например в поэме «Сашка», Полежаев направлял острие своей сатиры против духовенства, церковных обрядов, то теперь он философски обобщает свои размышления в духе взглядов передовых французских материалистов и их русских последователей, среди которых были, например, декабристы И. Якушкин, П. Борисов, А. Барятинский и др.

Стихотворение «Александру Петровичу Лозовскому» бесспорно свидетельствует об углублении политических взглядов поэта-разночинца. Общий идейный смысл этого произведения, реальный образ узника, волнующегося судьбами родины и народа, сломленного, но не побежденного, не прекращающего борьбы, хотя и понимающего бесплодность ее, — убедительное тому доказательство. Весьма примечательно, что именно в это стихотворение Полежаев вводит образы представителей протестующего народа, упоминая

Десять удалых голов,
Царя решительных врагов.

Они посылают царю проклятья «за то, что мастер он лихой за пустяки гонять сквозь строй». Полежаев не противопоставляет себя солдатам, своим собратьям по «броне сермяжной» (т. е. солдатской шинели), но он решительно отделяет себя от «знакомых щегольков, большого света знатоков», оставивших поэта в лихую годину.

Произведения Полежаева 1826—1828 годов свидетельствуют об идейном росте поэта, о расширении тематического диапазона его творчества и о дальнейшем развитии художественного мастерства.

10

С 1829 по 1833 год Полежаев участвовал в экспедициях, походах и боях на Северном Кавказе, в районе крепости Грозной, в горах Чечни и Дагестана. Облик поэта-солдата в годы кавказских походов запечатлен в следующих словах современника: «В рядах Московского полка с тяжелым солдатским ружьем, во всем походном снаряжении шел известный русский поэт Полежаев, — так рассказывает со слов

отца, генерала Потто, его сын, историк Кавказской войны. — Это был молодой человек, лет 24-х, небольшого роста, худой, с добрыми и симпатичными глазами. Во всей фигуре его не было ничего воинственного; видно было, что он исполнял свой долг не хуже других, но что военная служба вовсе не была его предназначением».[1]

На Кавказе Полежаев написал, помимо небольших стихотворений, отразивших впечатления и настроения от знакомства с новым для него краем и людьми, крупные произведения — поэмы «Эрпели» (1830), «Чир-Юрт» (1832) и большое стихотворение «Кладбище Герменчугское» (1832—1833).

Пребывание на Кавказе в солдатской шинели не только сблизило поэта с народными массами, но и помогло по-новому осмыслить жизнь солдата, увидеть войну глазами ее рядового участника, выносившего все военные превратности на своих плечах. Солдатский ранец и «ратная сума» позволили Полежаеву увидеть многое из того, чего не видели другие поэты, его современники.

В литературе 20—30-х годов господствовала романтическая традиция в восприятии и поэтическом изображении Кавказа. Полежаев выступает против этой традиции. В первой же своей кавказской поэме «Эрпели» он решительно отказывается от эстетической точки зрения на Кавказ. Кавказская экзотика, красота горных пейзажей — все это мало интересует одетого в солдатскую шинель поэта:

> Прошу пройтиться на Кавказ!..
> . . . .
> Не восхищался ли, как прежде,
> Одним названием Кавказ?
> Не дал ли крылышек надежде
> За чертовщиною лететь,
> Как то: черкешенок смотреть,
> Пленяться день и ночь горами...
> . . . .
> Эльбрусом, борзыми конями,
> Которых Пушкин описал...
> . . . .
> Вот эти дивные картины:
> Каскады, горы и стремнины...
> С окаменелою душой,

[1] В. Потто. Койсубулинская экспедиция (Поэт Полежаев). В кн. В. Потто. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях, т. 5, вып. 2. Тифлис, 1890, стр. 177.

Убитый горестною долей,
На них смотрю я поневоле,
И верь мне: вижу из всего
Уродство — больше ничего!

Полежаев объясняет, отчего проистекает это различие в восприятии красок Кавказа:

Мой милый! Очень натурально
Вам всем, столичным петушкам,
Из залы вышед танцевальной,
Дивиться здешним чудесам.
Вам всё здесь ново, всё забавно,
Я очень верю, потому
Что я и сам еще недавно
Облекся в ратную суму.

Изображая солдат в их ратном деле, Полежаев обращает внимание на опасности, непосильный труд, колоссальное напряжение сил и в то же время на те лишения и бытовые неустройства, которые каждодневно сопровождают многотрудную жизнь солдатской массы:

За переходом переход:
Степьми, аулами, горами
Московцы дружными рядами
Идут послушно, без забот.
Куда? Зачем? В огонь иль в воду?
Им всё равно: они идут...
. . . .
Их мочит дождь, их сушит пыль...
Идут — и живы, слава богу!
Друзья, поверьте, это быль!
Я сам, что делать, понемногу
Узнал походную тревогу,
И кто что хочет говори,
А я, как демон безобразный,
В поту, усталый и в пыли,
Мочил нередко сухари
В воде болотистой и грязной...

В кавказских поэмах Полежаев осознает целесообразность присоединения к России «воинственного Кавказа». Отдавая дань уважения горцам как достойным противникам русских солдат, Полежаев обращается к ним с горячим и искренним призывом понять бесполезность сопротивления, поверить в дружественные чувства русского

народа, не желающего кровопролития и стремящегося к мирной жизни. Поэт осуждает виновников братоубийственных войн и, посылая им проклятия, мечтает о том времени,

Когда воинственная лира,
Громовый звук печальных струн,
Забудет битвы и перун
И воспоет отраду мира.

(«Чир-Юрт», песнь вторая)

В поэмах «Эрпели» и «Чир-Юрт» выступает народ, жизнь которого теперь ближе узнал поэт. В обстановке походов и сражений он глубоко проник в национальный характер русского солдата. С любовью, а порой с лукавым юмором Полежаев убеждает читателя в том, что от солдат

Веселых, добрых, беззаботных
И завсегда словоохотных
Легко вы можете узнать
Такие вещи в белом свете,
О коих даже в кабинете
Не часто смеют рассуждать...

Поэт не отделяет себя от солдатской массы, его точка зрения на совершающиеся события во многом близка к солдатской. Не случайно в изображении бытовых солдатских сцен, в передаче солдатского диалога поэт широко использует элементы народной речи.

Нетрудно уловить своеобразие художественного стиля кавказских поэм, написанных в форме своего рода очерков — поэтических летописей военных событий, не имеющих последовательно развитого сюжета и резко индивидуализированных образов. Героем этих поэм выступает солдатская масса, собирательный образ солдата.

На Кавказе Полежаев уделил большое внимание народному поэтическому творчеству. Современные исследователи установили бесспорные факты связи поэзии Полежаева с песенным творчеством гребенского казачества. Увлечение жизнью и поэзией гребенцов отразилось в таких произведениях Полежаева, как «Казак», «Колыбельная», «Окно», «Песни», «Романсы». Жизнью терских станиц навеяны романсы: «Пышно льется светлый Терек...», «Одел станицу мрак глубокий...», «Утро жизни благодатной...», где пейзаж, быт

и нравы конкретно связаны с жизнью терского казачества.[1] Стихотворения Полежаева в духе народных песен еще полнее раскрывают связь его поэзии с народным сознанием. Белинский отметил в свое время творческое усвоение Полежаевым особенностей песенного народного творчества: «Есть у Полежаева, — говорил Белинский, — несколько пьес в народном тоне; тон их не везде выдержан; но они вообще показывают в нашем поэте большую способность к произведениям этого рода. Таковы: «У меня ль, молодца...», «Окно», «Долго ль будет вам без умолку идти...», «Там на небе высоко...» и «Узник» (VI, 153). Отзвуки народной поэзии присутствуют и в некоторых стихотворениях 1834—1836 годов («Русские песни», «Баю-баюшки-баю»).

И. Н. Розанов убедительно показал новаторство Полежаева как автора «русских песен», выразившееся, в частности, в оригинальном применении ассонансов, главным образом в дактилических окончаниях, и указал как на яркий пример такого новаторства на стихотворение «Тюрьма» («Узник»).[2]

Кавказский период творчества Полежаева, представляя собой важный этап творческой эволюции поэта, сыграл заметную роль и в развитии реализма в русской поэзии. Прочно закрепленный автором «Эрпели» и «Чир-Юрта» путь реалистической трактовки кавказской тематики, открытый Пушкиным, предвосхитил художественный метод Лермонтова и Л. Толстого в изображении Кавказа. Полежаева роднит с Лермонтовым и Л. Толстым тот глубокий и искренний гуманизм, который возвышал всех этих великих писателей до отрицания войны как зла и осуждения виновников разрушения жизни.

11

Полежаев пробыл на Кавказе около четырех лет, неоднократно участвовал в боях. В 1831 году он получил за отличия в сражениях унтер-офицерский чин. Условия жизни на Кавказе были неблаго-

---

[1] См. об этом В. И. Безъязычный. Кавказ в жизни и творчестве А. И. Полежаева (1829—1833). «Известия Грозненского областного института и музея краеведения», вып. 2—3, Грозный, 1950, стр. 97—102. Ср. Л. П. Семенов. Лермонтов и фольклор Кавказа. Пятигорск, 1941, стр. 8—9; Б. Н. Путилов. Русская народная песня у гребенских казаков. В кн.: Песни гребенских казаков, Грозный, 1946.

[2] Песни русских поэтов (XVIII — первая половина XIX века). Редакция, статья и комментарии И. Н. Розанова. «Библиотека поэта», Л., 1936, стр. 320—321.

приятными для творчества. В стихотворении «К друзьям» он колоритно изобразил, в каких условиях ему приходилось писать:

В дыму лучинных облаков
Среди горшков, бабья, посуды,
Полуразлегшись на доске
Иль на скамье, как вам угодно,
В избе негодной и холодной,
В смертельной скуке и тоске
Пишу к вам, ветреные други! ..

Сведений о пребывании Полежаева на Кавказе сохранилось очень мало, в частности точно не известно, встречался ли поэт с некоторыми из декабристов, служивших в тех местах, где в 1829—1833 годах бывал Полежаев.

В 1833 году Полежаев вернулся с полком в Россию и находился некоторое время в городе Коврове, Владимирской губернии, а затем, летом 1833 года, оказался вместе с полком в Москве. В Коврове Полежаев близко сошелся с местным довольно культурным разночинцем Н. И. Шагановым, пытавшимся организовать тайное общество.

Поэт подарил Шаганову несколько своих стихотворений, среди которых одно, судя по заглавию («Мир создал бог, но кто же создал бога. . .»), касалось важных вопросов; оно до сих пор не обнаружено и, по-видимому, окончательно утрачено. [1]

В Москве Полежаев познакомился с Герценом и Огаревым, возобновил дружеские связи с художником А. В. Уткиным, поэтами Л. А. Якубовичем и В. И. Соколовским, с литературными и театральными кругами, в том числе с кругом лиц, близких к великому русскому артисту П. С. Мочалову.

В то время Полежаев успел подготовить к изданию сборник своих стихотворений «Кальян» (1833), который представил в цензурный комитет ведавший всеми его издательскими делами Александр Петрович Лозовский. Это был третий и последний сборник поэтических произведений Полежаева, вышедший из печати при жизни поэта. Первый сборник под названием «Стихотворения А. Полежаева» вышел из печати в 1832 году. В том же году отдельной книжкой были изданы поэмы «Эрпели» и «Чир-Юрт». Все дальнейшие попытки

---

[1] А. В. Смирнов. Уроженцы и деятели Владимирской губернии, получившие известность на различных поприщах общественной пользы. Выпуск 3. Владимир, 1898, стр. 101.

поэта издать новые сборники своих стихотворений успехом не увенчались: один за другим они были запрещены цензурой.

Как проницательно отметил Белинский, в жизни Полежаева было время, когда он «пережил... период идеального чувства, но уже слишком не вовремя... И потому не удивительно, если не вовремя и не в пору явившееся мгновенье было для поэта не вестником радости и блаженства, а вестником гибели всех надежд на радость и блаженства» (VI, 128—129). Период «идеального чувства» — интересный в биографии поэта эпизод, который в настоящее время хорошо известен.

В Зарайске Полежаев встретился с отставным жандармским полковником И. П. Бибиковым, который выхлопотал ему неофициальный отпуск. В семье Бибикова, отдыхавшей в подмосковном селе Ильинском, поэт пережил сильное увлечение старшей дочерью его, Екатериной. Увлечение Бибиковой отразилось в ряде стихотворений («Черные глаза», «Зачем хотите вы лишить...», «Е... И... Б......й» и др.). Все они проникнуты глубоким лиризмом.

Полежаев, разумеется, не знал и не узнал никогда, что полковник Бибиков был тем самым лицом, которое в 1826 году написало в III Отделение донос о Московском университете. В этом доносе сообщалось, что воспитанники университета «не уважают закона, не почитают своих родителей и не признают над собой никакой власти»,[1] а в подтверждение цитировались отрывки из поэмы Полежаева «Сашка». Именно донос Бибикова был причиной вызова Полежаева к Николаю, после чего судьба поэта сложилась так трагично.

Две недели, проведенные в семье Бибиковых, были светлым периодом в последние годы жизни Полежаева. Тем трагичнее, тем тягостнее показалась ему жизнь, когда время отпуска истекло. Полежаев не вернулся в полк, он бежал по дороге из Ильинского. На этот раз дело замяли.

Бибиков всячески стремился облегчить участь Полежаева и ходатайствовал перед Бенкендорфом, с которым был в родстве, о представлении Полежаева к офицерскому званию.

В своем представлении Бибиков писал Бенкендорфу, что он нашел поэта «переродившимся», что «несмотря на неопытность и горячность, он остался непоколебимо чужд всем либеральным кружкам, и голос его никогда не звучал против правительства».[2] Но в III Отделении имелись о Полежаеве другие, компрометирующие его сведения. Здесь

---

[1] В. В. Баранов. А. И. Полежаев, стр. 70.
[2] Там же, стр. 115.

с 1829 года лежали представленные предателем декабристов Шервудом неопубликованные строфы Полежаева, явно опровергавшие заявление Бибикова. Стихи были направлены против правительства и никак не свидетельствовали ни о раскаянии, ни о «благонадежности» Полежаева. Имя Полежаева как автора антиправительственных сочинений фигурировало и в деле о кружке Сунгурова (1831) и в деле «О лицах, певших в Москве пасквильные песни» (1834).

Не удивительно, что дело с производством Полежаева в офицерский чин было задержано, царь приказал «повременить». Теперь поэту уже не на что было надеяться. Солдатчина по-прежнему давила на него, выматывала из него последние силы. Он стал много пить; процесс в легких, который начался, вероятно, во время тюремного заключения в 1828 году, теперь вспыхнул с новой силой.

Осенью 1834 года Тарутинский полк, в котором служил Полежаев, был переведен в Жиздринский уезд Калужской губернии. Летние месяцы следующих лет Полежаев проводил вместе с полком то под Москвой, в Клинском уезде, то в Калужской губернии.

Герцен осветил трагизм последних лет жизни поэта: «Годы шли и шли; безвыходное, скучное положение сломило его; сделаться полицейским поэтом и петь доблести Николая он не мог, а это был единственный путь отделаться от ранца.

Был, впрочем, еще другой, и он предпочел его; он пил для того, чтобы забыться» (VIII, 167).

Встречавшийся с поэтом офицер В. И. Ленц, нарисовавший акварельный портрет его, свидетельствовал, что «с 1836 года поэт начал часто хворать... Чахотка уже делала свое дело».[1]

Полежаев изнемогал и от цензурных преследований, особенно усилившихся в последние годы его жизни. Из-за постоянной нужды поэт был вынужден продавать свои рукописи спекулянтам-книгопродавцам.

25 сентября 1837 года Полежаева положили в Московский военный госпиталь, а 16(28) января 1838 года он умер на больничной койке. Офицерский чин ему был «пожалован» тогда, когда Полежаев находился в предсмертной агонии.

12

Вряд ли кто-либо из русских писателей XIX века прожил столь тяжелую жизнь, как Полежаев. Брошенный царем в казарму, а затем в тюрьму, мучительно переживавший подневольную солдатчину с ее

---

[1] К. Макаров. Воспоминания о поэте Полежаеве. «Исторический вестник», 1891, № 4, стр. 113.

тяготами и унижениями, поэт тем не менее устоял в этой неравной борьбе.

Трагическая судьба не сломила Полежаева. Он твердо и мужественно переносил обрушившиеся на него бедствия, оставался непреклонным противником самодержавия. Когда Бибиков намеревался послать к Бенкендорфу некоторые его стихи, умоляя поэта прибавить в конце стихотворения «Тайный голос» что-нибудь вроде просьбы о прощении, Полежаев наотрез отказался сделать это. Именно в тот период, когда Бибиков ходатайствовал за Полежаева и от своего имени заверял шефа жандармов, что поэт «раскаялся», из-под пера Полежаева выходят следующие строки в стихотворении «Негодование»:

Грустно видеть бездну черную
После неба и цветов,
Но грустнее жизнь позорную
Убивать среди рабов,
И, попранному обидою,
Видеть вечно за собой
С неотступной Немезидою
Безответственный разбой!
Где ж вы, громы-истребители,
Что ж вы кроетесь во мгле,
Между тем как притеснители
Торжествуют на земле!

В литературе о Полежаеве уже указывалось на возможную связь этого стихотворения с известными стансами Рылеева, обращенными к А. А. Бестужеву («Не сбылись, мой друг, пророчества...»).[1] В рылеевских стансах, как известно, преимущественно развит мотив трагического одиночества, переходящий в конце стихотворения в беспощадное осуждение праздных современников, равнодушных к судьбе отчизны:

Всюду встречи безотрадные!
Ищешь, суетный, людей,
А встречаешь трупы хладные
Иль бессмысленных детей...

---

[1] Впервые сопоставление «Негодования» со «Стансами» Рылеева было сделано в анонимной рецензии на издание «Стихотворений А. И. Полежаева» под редакцией П. А. Ефремова. Имя Рылеева при этом не было названо (см. «Северный вестник», 1889, № 2, стр. 82—88). Сообщено В. И. Безъязычным.

Как бы продолжая Рылеева, Полежаев аналогичный мотив трагического одиночества объединяет с энергичной тирадой по адресу самовластья, причем в своем стихотворении он использует интонационно-ритмическую структуру рылеевских стансов.

Следует отметить, что отзвуки декабристской поэзии в творчестве Полежаева вообще очень многочисленны. Поэт, в частности, нередко использовал специфические именно для декабристской поэзии жанры. В этом отношении интересно его стихотворение «Ай, ахти! ох, ура...», написанное под несомненным воздействием декабристских агитационных песен. Тема этого стихотворения непосредственно связана с восстанием декабристов. Полежаев выразил в нем мятежные настроения крестьянских масс, переодетых в солдатские шинели. Высказывая гневные упреки по адресу царя, солдаты, оставшиеся верными Николаю I 14 декабря 1825 года, горестно переживают свою ошибку и угрожают царю расправой:

П<равославный> наш ц<арь>,
Н<иколай> г<осударь>,
Ты б<олван> наших рук,
Мы склеили тебя,
И на тысячу штук
Разобьем, разлюбя!

Весьма значительное влияние на творчество Полежаева оказала пушкинская реалистическая поэзия. С Пушкиным, как уже отмечалось выше, было связано первое крупное произведение Полежаева — поэма «Сашка». Незадолго до смерти Полежаев пишет большое стихотворение, посвященное памяти великого поэта, — «Венок на гроб Пушкина». Подобно Лермонтову, он высоко оценил заслуги Пушкина и поставил его в ряду первостепенных гениев мировой литературы. Называя Пушкина «народным поэтом, ...мильонами любимым», Полежаев предрекает ему бессмертие: «Он будет жить бессмертной славой».

В литературном творчестве Полежаева заметное место занимают его переводы из Ламартина, В. Гюго, Байрона, Вольтера, Легуве и Панара. Разнообразие имен переводимых им поэтов свидетельствует о значительной осведомленности Полежаева в западноевропейской поэзии. Помимо перевода байроновской повести в стихах «Оскар Альвский», обращают на себя внимание переводы из В. Гюго и Панара. Из поэтического сборника В. Гюго «Оды и баллады» Полежаев отбирал для перевода преимущественно такие стихотворения, в центре которых стоял образ волевого человека с сильным характером и с участью гонимого страдальца. В целом же совершенно справедливо замечание Белинского о том, что Полежаев любил переводить «что-нибудь гармонировавшее с его духом» (VI, 157).

13

Поэтическое наследие Полежаева имело прогрессивное общественное и литературное значение. В тяжелый период николаевской реакции, в период между разгромом движения декабристов и теми годами, когда Герцен и Огарев широко развернули свою агитацию, а в России зазвучал призывный голос революционных демократов, Полежаев был одним из немногих, кто открыто высказывал свою ненависть к угнетателям народа, кто в стихах огромной поэтической энергии и силы воспевал мужество и твердость, необходимые подлинному борцу с самовластьем. В литературу и общественное сознание 20—30-х годов XIX века Полежаев вошел как продолжатель идей декабристов и как провозвестник, как один из ранних представителей нового разночинно-демократического этапа в развитии русской поэзии, вершиной которого явилось творчество Некрасова.

Не случайно, конечно, что поэтическое наследие Полежаева получило весьма высокую оценку в критике революционно-демократического направления. И Белинский и Добролюбов рассматривали личность и поэзию Полежаева как явление общественное, историческое, причем и тот и другой неизменно подчеркивали теснейшую связь между творчеством поэта и его житейской биографией. Добролюбов воспринял стихотворения Полежаева как его поэтическую автобиографию, исповедь, дневник. Эта исповедь отмечена такой эмоциональной силой и правдивостью, сама судьба, в ней описанная, была настолько трагична, что Добролюбов придал ей общее типическое значение, истолковал ее как некий символ человеческого существования в страшных условиях государства крепостников. Почти всю свою рецензию на книгу стихов Полежаева, вышедшую в 1857 году, Добролюбов посвятил именно теме трагической судьбы Полежаева и вопросу о причинах, ее обусловивших. В этой рецензии он писал: «Эта жизнь позора и стыда могла бы быть жизнью славы и величия. Человек, нашедший такие звуки для выражения отчаяния, умел бы проникнуться какими угодно возвышенными чувствами и найти для них выражение в слове и в деле. При другой жизненной обстановке не погиб бы этот энергический талант жертвою неравной и бесплодной борьбы. Не звуки проклятий и злобы, а роскошные звуки чистых, спокойных стремлений мог бы он завещать миру, потому что, кроме чрезвычайной силы, талант Полежаева отличается еще необыкновенной страстностью и стремительностью».[1] По мнению Добролюбова,

---

[1] Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений, т. 1. М., 1934, стр. 281.

Полежаев был жертвой самодержавного режима: «Пострадал ли Полежаев от судьбы, странно враждебной всем лучшим поэтам нашим, можно видеть при внимательном взгляде на его портрет, который приложен к нынешнему изданию его сочинений».[1] К изданию, которое рецензировал Добролюбов, приложен был портрет Полежаева в солдатской шинели. Таким образом, в рецензии прямо указаны причины гибели Полежаева, а все рассуждения Добролюбова сводятся к тому, чтобы показать читателю, кто был непосредственным виновником этой гибели.

Нужно, однако, указать, что в образе полежаевского лирического героя Добролюбов выделял главным образом черты мученичества, а в самой судьбе его подчеркивал тот факт, что она обусловлена была жестокостью режима, «общественными несправедливостями и людскими предрассудками».[2]

Другая сторона этого образа — его революционная ненависть к деспотизму, его политическая активность — хотя и нашла свое отражение в рецензии Добролюбова (критик говорит об «энергии и силе смелого бойца», которой отмечены стихотворения Полежаева), но в гораздо меньшей степени, нежели тема трагической гибели поэта.

Это объясняется прежде всего тем, что Добролюбов не мог многого сказать в подцензурной статье. Следует также учесть, что ни Белинскому, ни Добролюбову не был известен целый ряд стихотворений Полежаева, а иные были известны далеко не в полном виде. Достаточно указать хотя бы на то, что им обоим не был известен подлинный текст стихотворения «Александру Петровичу Лозовскому» — одного из самых значительных для характеристики политической позиции Полежаева произведений.

Далеко не многие «крамольные» стихи Полежаева можно было прочесть в списках, ходивших по рукам. Для Герцена и Огарева, которые знали поэта лично и были знакомы со многими из этих списков, которые сталкивались с людьми, близко знавшими отданного в солдаты поэта, — для них Полежаев, естественно, был прежде всего автором целого ряда стихотворений, проникнутых высоким пафосом политической борьбы. И не случайно, конечно, Огарев уделил Полежаеву очень видное место в сборнике «Русская потаенная литература XIX столетия», а Герцен не только посвятил Полежаеву отдельное «приложение» в «Былом и думах», но и многократно говорил о поэте и его трагической судьбе как об одном из самых характерных проявлений деспотизма Николая I.

---

[1] Там же, стр. 278.
[2] Там же.

По словам Огарева, Полежаев оставил после себя «резкий, жгучий след; погиб с тем воплем отчаяния, с которым мог погибнуть только человек, чувствовавший, что 14 декабря всякая русская свобода рухнула навеки и что помимо необузданного самозабвения в вечной оргии, — которая доконала бы тщетно живое тело чем скорей, тем лучше, — ничего не остается на свете. Полежаев заканчивает в поэзии первую неудавшуюся битву свободы с самодержавием».[1]

Не располагая теми сведениями о Полежаеве, которые были известны Герцену и Огареву, Добролюбов, естественно, не мог получить достаточно полного представления об антиправительственной направленности полежаевской поэзии. Между тем мотив ненависти к самодержавию — постоянный и настойчивый мотив в поэзии Полежаева.

За время литературной деятельности Полежаева его поэтический стиль претерпел значительные изменения. Как уже отмечалось выше, в начале творчества Полежаев отдал дань романтизму, увлекался темами, далекими от действительности, непосредственно не связанными с его жизненными впечатлениями.

Несмотря на общее тяготение поэтики Полежаева к конкретному, необходимо отметить, что поэт все-таки не смог до конца своей жизни полностью преодолеть влияние отживающих литературных стилей, не смог освободить свой стихотворный язык от риторики и изысканных выражений. Поэтому творческое наследие Полежаева далеко не равноценно в художественном отношении. Наряду с произведениями, отмеченными великолепными художественными достоинствами, есть у него стихотворения невыдержанные, недоработанные, которым недостает внутреннего единства, цельности. Еще Белинский, указывая на «безукоризненно прекрасные» лирические произведения музы Полежаева, отмечая «крепость и мощь стиха, сжатость и резкость выражения», говорил о «грубой смеси прекрасного с низким и безобразным, грациозного с безвкусным» в некоторых стихотворениях Полежаева и указал правильно, в чем причина этого явления: «. . .недостает отделки, точности в словах и выражениях» (VI, 146).

Слабые стороны поэзии Полежаева объясняются разными причинами объективного и субъективного характера. Лучшие годы жизни царь томил поэта в солдатской шинели, лишая его возможности свободно и быстро развиваться. Полежаеву приходилось писать всюду — в казарме, в тюремной «яме», в походах и в краткие моменты отдыха после стычек и битв на Кавказе. Такие условия, естественно, сказывались как на культурном развитии поэта, так и на качестве его

---

[1] Н. П. Огарев. Избранные произведения, т. 2. М., 1956, стр. 482.

стихов. Прав был анонимный критик «Московского телеграфа», который условиями жизни поэта объяснял причину слабых сторон кавказских поэм «Эрпели» и «Чир-Юрт»: «Досуг, необходимый для отделки изящного творения, мог бы улучшить поэмы г. Полежаева; но что делать, если вовсе нет досуга? Если и сегодня, и завтра, и через месяц, и через год — все одна перспектива лагерной *тревоги* и казарменной суматохи, разнообразимых *кровавыми стычками*... Между тем вдохновение не ждет: оно приходит к поэту и среди снегов и в жару пылкой битвы».[1]

Отрицательную роль сыграл также известный отрыв Полежаева от передовых литературных кругов его времени. Необходимо указать и на другую сторону дела. Натура необыкновенно эмоциональная, неуравновешенная, Полежаев не всегда мог управлять своими чувствами, сознательно анализировать их. В этом заключалась причина того, почему некоторые произведения поэта лишены внутренней цельности, собранности и перегружены натуралистическими деталями, риторикой, изысканными выражениями.

Тем не менее слабые стороны творчества поэта ни в какой мере, конечно, не могут повлиять на общую высокую оценку заслуг Полежаева в истории поэтического движения и общественной мысли 20—30-х годов. Следует, кстати, заметить, что заслуги эти и по сей день еще недостаточно оценены.

Полежаев был необыкновенно яркой, колоритной фигурой своей эпохи, а стихи его пользовались очень большой популярностью у современников. По свидетельству Белинского, «стихи Полежаева ходили по рукам в тетрадях, журналисты печатали их без спросу у автора, который был далеко...»[2] (VII, 121). Но поэзия Полежаева, оставившая, по меткому слову Огарева, «резкий, жгучий след» в русской литературе, волновала и читателей последующих поколений. Стихи поэта, гордо назвавшего себя «неизменным другом свободы» и «вольным певцом» в мрачные годы далекого прошлого, достойны внимания нашей современности.

Н. Бельчиков

---

[1] «Московский телеграф», 1832, № 16, стр. 567.

[2] Это свидетельство приобретает особый интерес ввиду того, что еще в студенческие годы сам Белинский списывал в свои тетради вольнолюбивые стихотворения поэта. Поэзия Полежаева, нужно думать, вообще сыграла известную роль в формировании литературно-общественных взглядов молодого Белинского. См. В. С. Нечаева. В. Г. Белинский. Начало жизненного пути и литературной деятельности. М., 1949, стр. 376—377, и ее же монографию: В. Г. Белинский. Учение в университете и работа в «Телескопе» и «Молве». М., 1954, стр. 97—98, 136—140.

СТИХОТВОРЕНИЯ

НЕПОСТОЯНСТВО

Он удалился, лицемерный,
Священным клятвам изменил,
И эхо вторит: легковерный!
Он Нину разлюбил!
Он удалился!
Могу ли я, в моей ли власти
Злодея милого забыть?
Крушись, терзайся, жертва страсти!
Удел твой — слезы лить:
Он удалился!
В какой пустыне отдаленной,
В какой неведомой стране
Сокрою стыд любви презренной!
Везде всё скажет мне:
Он удалился!
Одна, чужда людей и мира,
При томной песне соловья,
При легком веяньи зефира
Невольно вспомню я:
Он удалился!
Он удалился — всё свершилось!
Минувших дней не возвратить.
Как призрак, счастие сокрылось...
Зачем мне больше жить?
Он удалился!

<1825>

ВОСПОМИНАНИЕ

Исчезли, исчезли веселые дни,
Как быстрые воды умчались;
Увы! но в душе охладелой они
С прискорбною думой остались.
Как своды лазурного неба мрачит,
Облекшися в бури, ненастье,
Так грусть мое сердце и дух тяготит.
Полина, отдай мое счастье!
Полина! О боги! почто я узрел
Твои красоты несравненны?
Любовь без надежды — мой грозный удел.
Безумец слепой, дерзновенный,
Чтоб видеть улыбку на милых устах,
Я жертвовал каждой минутой
И пил не блаженство в прелестных очах,
Но яд смертоносный и лютый.
Невольно кипела горячая кровь
В мечтаниях нежных и страстных,
Невольно в груди волновалась любовь
И пламя желаний опасных.
Приятное иго почувствовал я,
В душе родилась перемена,
Исчезла свобода, подруга моя;
Не мог избежать я от плена.
Но что, о прекрасная, сталось со мной,
Волшебная прелестей сила!
Когда тебя обнял я пылкой рукой,
Когда ты, мой друг, приклонила
На перси лилейные робко главу
И в страсти взаимной призналась?
И всё совершилось... Почто ж я живу?
Минута любви миновалась!
Далеко, Полина, далеко оно,
Восторгов живых упоенье;
Быть может, навек и навек мне одно
В награду осталось мученье...
Исчезли, исчезли веселые дни,
Как быстрые воды умчались;

Увы! но в душе охладелой они
С прискорбною думой остались.

<1825>

ЛЮБОВЬ

Свершилось Лилете
Четырнадцать лет;
Милее на свете
Красавицы нет.
Улыбкою радость
И счастье дарит;
Но счастия сладость
Лилеты бежит.
Не лестны унылой
Толпы женихов,
Не радостны милой
Веселья пиров.
В кругу ли бывает
Подруг молодых —
И томность сияет
В очах голубых;
Одна ли в приятном
Забвеньи она —
Везде непонятным
Желаньем полна;
В природе прекрасной
Чего-то ей нет,
Какой-то неясный
Ей мнится предмет:
Невольная скука
Девицу крушит,
И тайная мука
Волнует, томит.
Ах, юные лета!
Ах, пылкая кровь!
Лилета, Лилета!
Ведь это — любовь.

<1825>

ГЕНИЙ

Кто сей блестящий серафим,
Одетый облаком лазури,
Лучом <струистым> огневым,
Быстрее молнии и бури
Парящий гордо к небесам?..
Я зрел: возникнувши из праха,
В укор судьбе, в укор векам,
Он разорвал оковы страха,
Удел ничтожный бытия,
Он бросил взор негодованья
На сон природы, на себя,
На омертвелые созданья.
«Я жив, — он рек, — я человек,
Я неразрывен с небесами!»
И глубь эфирную рассек
Одушевленными крылами.
Се он, божественный, летит,
Душевных сил и славы полный,
И под собой с улыбкой зрит
И твердь и океанов волны.
Уже он там, достиг небес,
Мелькнул незрим в дали туманной,
И легкий след его исчез,
Как ветр долин благоуханный,
Как метеор во тьме ночной,
Как сон <от дневных> впечатлений...
Кто ж он, сей странник неземной?
Великий ум, блестящий гений!
Раздайся, вечность, предо мной!
Покровы мрачные, спадите!
И в<след> за истиной святой,
Душа и разум мой, парите!
О гений мира и любви,
Первоначальный жизни датель,
Не ты ли неба и земли
Непостижимый есть создатель?
Не ты ли радужным перстом
Извлек вселенную из бездны,
Не ты ль в пространстве голубом
Рассеял ночь и день подзвездный.

Гений

Кто сей, [illegible] вещий [illegible] дух

Окруженный [illegible] рукой [illegible]

[illegible] отселе

Быстрый [illegible] пламенный, [illegible]

Ползущий горе к небесам? —

Я зрел: [illegible] прах

Звуки [illegible]

Оно рисовалось [illegible] страх —

[illegible]; — [illegible]

Оно бросил взор негодованья

[illegible]

[illegible] создавши —

[illegible] — и рек: [illegible]

Я праздновал с небесами, —

И звук серафов разлетясь

Одушевленный мы брегами —

С его благодатного лета.

Высоких сил и славы полный

[illegible]

[illegible] волн. —

Уже он знал — у сих небес,

Терпел, [illegible] в дом [illegible]

И [illegible] следы его искус

Как ветер [illegible] благоухающий,

Как метеор во тьме ночной

Как [illegible] Славный. —

Не ты ль Гармонию низвел
На безобразные атомы
<И в хор пле>нительный привел
<Дыханья малые и> громы
Чья невидимая рука
Могла <ничто> и всё устроить:
И смертного и червяка
Создать, взрастить и успокоить?
Кто есть начало и конец
Непостижимых устроений,
Ты добродетели отец,
Ты правота, могущий Гений.
О, дел бессмертных красота!
Венец премудрости глубокой,
Святой дар неба — правота,
Великих душ удел высокой.
В какой стране, в каких веках
Ты не была превозносимой?
В каких чувствительных сердцах
Ты не была боготворимой!
Надежду, счастье с тишиной,
Покой — отраду, мир приятный —
Всё, всё ты сыплешь под луной
Твоей рукою благодатной.
Пускай бестрепетный герой,
В кровавых битвах знаменитый,
Увенчан звучною молвой
И меч свой, лавром перевитый,
Во храм бессмертия несет,
Когда он чужд был сожаленья,
Что Правота произнесет?
Над ним достойное решенье:
«Герой! Повергни меч твой в прах!..»
Пускай вельможа горделивый,
Имея власть царя в руках,
Гнетет ярмом несправедливым
Пред ним трепещущий народ,
И сей, низринутый во прахе,
Его отцом своим зовет,
Окамененья в рабском страхе...
Раздайся, Правды приговор!
«Он был Злодей», — речет потомство,

И вечный, гибельный позор
Накажет лесть и вероломство.
Пускай блестящий лжемудрец
Своею славою надменной
Присвоит сам себе венец
К стыду обманутой вселенной.
«Ты — лживый гений!» — Правота
Ему речет, как глас громовый,
И где твой блеск и красота,
Венец лжегения лавровый?
Так, божий дар, ты возгремишь
Умам кичливым в наказанье,
И ложь и злобу разразишь.
Так, правда — бога достоянье!
Восторг в груди моей кипит,
Я полн возвышенных мечтаний,
Творец, твой дух со мною спит,
Я исполин твоих созданий!

1825

НОВАЯ БЕДА

Беда вам, попадьи, поповичи, поповны!
Попались вы под суд и причет весь церковный!
За что ж? За чепчики, за блонды, кружева,
За то, что и у вас завита голова,
За то, что ходите вы в шубах и салопах,
Не в длинных саванах, а в нынешних капотах,
За то, что носите с мирскими наряду
Одежды светлые себе лишь на беду,
А ваши дочери от барынь не отстали:
В корсетах стянуты, турецки носят шали,
Вы стали их учить искусству танцевать,
Знакомить с музыкой, французский вздор болтать.
К чему отличное давать им воспитанье?
Внушили б им любить свое духовно званье.
К чему их вывозить на балы, на пиры?
Учили б их варить кутью, печь просвиры.
Коль правду вам сказать, вы, матери, неправы,
Что глупой модою лишь портите их нравы.
Что пользы? Вот они, пускаясь в шумный мир,

Глядят уж более на фрак или мундир
Не оттого ль, что их по моде воспитали,
А грамоте учить славянской перестали?
Бывало, знали ль вы, что значит мода, вкус?
А нынче шьет на вас иль немец, иль француз.
Бывало в простоте, в безмолвии вы жили,
А нынче стали знать мазурку и кадрили.
Ну, право, тяжкий грех, оставьте этот вздор;
Смотрите, вот на вас составлен уж собор.
Вот скоро Фотий сам с вас мерку нову снимет,
Нарядит в кофты всех, а лишнее всё скинет.
Вот скоро, дайте лишь собрать владыкам ум,
Они вам выкроят уродливый костюм!
Задача им дана, зарылись все в архивы.
В пыли отцы, в поту! Вот как трудолюбивы:
Один забрался в даль под Авраамов век
Совета требовать у матушек Ревекк,
Другой перечитал обряды назореев,
Исчерпал Флавия о древностях евреев,
Иной всей Греции костюмы перебрал,
Другой славянские уборы отыскал.
Собрали образцы, открыли заседанье
И мнят, какое ж дать поповнам одеянье,
Какое — попадьям, какое — детям их?
Решите же, отцы! Но спор возник у них:
Столь важное для всех, столь чрезвычайно дело
Возможно ль с точностью определить так смело?
Без споров обойтись отцам нельзя никак,
Иначе попадут в грех тяжкий и просак.
О чем же этот спор? Предмет его преважный:
Ходить ли попадьям в материи бумажной,
Иметь ли шелковы на головах платки,
Носить ли на ногах козловы башмаки?
Чтоб роскошь прекратить, столь чуждую их лицам,
Нельзя ли обратить их к древним власяницам;
А чтоб не тратиться по лавкам, по швеям,
Не дать ли им покров пустынный, сродный нам?
Нет нужды, что они в нем будут как шутихи,
Зато узнает всяк, что это не купчихи,
Не модны барыни, а меж церковных жен.
Беда вам, матушки, дождались перемен!
Но успокойтесь, страх велик лишь издали бывает:

Вас Шаликов своей улыбкой ободряет:
Молчите, говорит, я сам войду в синод,
Представлю свой журнал, и, верно, в новый год
Повеет новая приятная погода
Для вашей участи и моего дохода.
Как ни кроить убор на вас святым отцам,
Не быть портными им, коль мысли я не дам.

1825

НОЧЬ

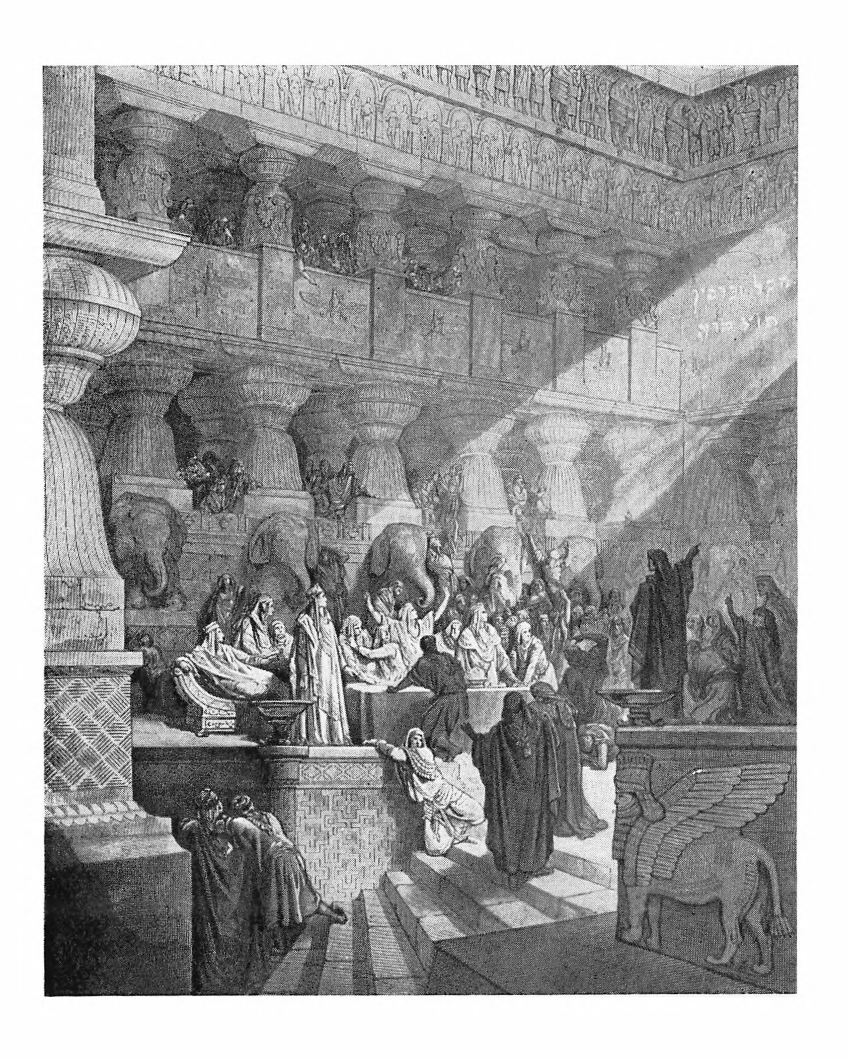
Умолкло всё вокруг меня;
Природа в сладостном покое;
Едва блестит светило дня;
В туманах небо голубое.
Печальной думой удручен,
Я не вкушу отрады ночи
И не сомкнет приятный сон
Слезой увлаженные очи.
Как жаждет капли дождевой
Цветок, увянувший от зноя,
Так жажду, мучимый тоской,
Сего желанного покоя.
Мальвина, радость прежних дней!
Мальвина, друг мой несравненный!
Он жив еще в душе моей,
Твой образ милый, незабвенный.
Так всюду зрю его черты:
В луне задумчивой и томной,
В порыве пламенной мечты,
В виденьях ночи благотворной.
Твоя невидимая тень
Летает тайно надо мною;
Я зрю ее — но зрю, как день
За этой мрачной пеленою...
Я с ней — и от нее далек.
И легкий ветер из долины
Или журчащий ручеек —
Мне голос сладостный Мальвины!
Я с ней — и блеска сих очей,
На мне покоившихся страстно,

В сияньи радужных лучей
Ищу в замену я напрасно;
Я с ней — и милые уста
Целую в розе ароматной;
Я с ней и нет — и всё мечта,
И пылких чувств обман приятный!
Как светозарная звезда
Мальвина в мире появилась,
Пленила мир — и навсегда
Звездой падучею сокрылась.
Мальвины нет! исчезли с ней
Любви, надежд очарованье,
И скорбной участи моей
Одна отрада — вспоминанье!

<1826>

ПОГРЕБЕНИЕ

Я видел смерти лютой пир —
Обряд унылый погребенья:
Младая дева вечный мир
Вкусила в мгле уничтоженья.
Не длинный ряд экипажéй,
Не черный флер и не кадилы
В толпе придворных и пажей
За ней теснились до могилы.
Ах, нет! Простой дощатый гроб
Несли чредой ее подруги,
И без затейливой услуги
Шел впереди приходский поп.
Семейный круг и в день печали
Убитый горестью жених,
Среди ровесниц молодых,
С слезами гроб сопровождали.
И вот уже духовный врач
Отпел последнюю молитву,
И вот сильнее вопль и плач...
И смерть окончила ловитву!
Звучит протяжно звонкий гвоздь,
Сомкнулась смертная гробница —
И предалась, как новый гость,



Земле бесчувственной девица...
Я видел всё; в немой тиши
Стоял у пагубного места
И в глубине моей души
Сказал: «Прости, прости, невеста!»
Невольно мною овладел
Какой-то трепет чудной силой,
И я с таинственной могилой
Расстаться долго не хотел.
Мне приходили в это время
На мысль невинные мечты,
И грусти сладостное бремя
Принес я в память красоты.
Я знал ее — она, играя,
Цветок недавно мне дала,
И вдруг, бледнея, увядая,
Как цвет дареный, отцвела.

1826 (?)

ЧЕТЫРЕ НАЦИИ

I

Британский лорд
Свободой горд —
Он гражданин,
Он верный сын
Родной земли.
Ни к<ороли>,
Ни происк п<ап>
Звериных лап
На смельчака
Исподтишка
Не занесут.
Как новый Брут,
Он носит меч,
Чтоб когти сечь.

II

Француз — дитя,
Он вам, шутя,

Разрушит трон
И даст закон;
Он царь и раб,
Могущ и слаб,
Самолюбив,
Нетерпелив.
Он быстр, как взор,
И пуст, как вздор.
И удивит
И насмешит.

III

Германец смел,
Но перепрел
В котле ума;
Он, как чума
Соседних стран,
Мертвецки пьян,
Сам в колпаке,
Нос в табаке,
Сидеть готов
Хоть пять веков
Над кучей книг,
Кусать язык
И проклинать
Отца и мать
Над парой строк
Халдейских числ,
Которых смысл
Понять не мог.

IV

В <России> чтут
Царя и к<нут>;
В ней <царь> с к<нутом>,
Как п<оп> с к<рестом>:
Он им живет,
И ест и пьет,
А р<усаки>,
Как дураки,

Разиня рот,
Во весь народ
Кричат: «Ура!
Нас бить пора!
Мы любим кнут!»
Зато и бьют
Их как ослов,
Без дальних слов,
И ночь и день,
Да и не лень:
Чем больше бьют,
Тем больше жнут,
Что вилы в бок,
То сена клок!
А без побой
Вся Русь хоть вой —
И упадет
И пропадет!

1827

ВЕЧЕРНЯЯ ЗАРЯ

Я встречаю зарю
И печально смотрю,
Как кропинки дождя,
По эфиру слетя,
Благотворно живят
Попираемый прах,
И кипят и блестят
В серебристых звездах
На увядших листах
Пожелтевших лугов.
Сила горней росы,
Как божественный зов,
Их младые красы
И крепит и растит.
Что ж, кропинки дождя,
Ваш бальзам не живит
Моего бытия?
Что в вечерней тиши,
Как приятный обман,

Не исцелит он ран
Охладелой души?
Ах, не цвет полевой
Жжет полдневной порой
Разрушительный зной:
Сокрушает тоска
Молодого певца,
Как в земле мертвеца
Гробовая доска...
Я увял — и увял
Навсегда, навсегда!
И блаженства не знал
Никогда, никогда!
И я жил — но я жил
На погибель свою...
Буйной жизнью убил
Я надежду мою...
Не расцвел — и отцвел
В утре пасмурных дней;
Что любил, в том нашел
Гибель жизни моей.
Изменила судьба...
Навсегда решена
С самовластьем борьба,
И родная страна
Палачу отдана.
Дух уныл, в сердце кровь
От тоски замерла;
Мир души погребла
К шумной воле любовь...
Не воскреснет она!
Я надежду имел
На испытных друзей,
Но их рой отлетел
При невзгоде моей.
Всем постылый, чужой,
Никого не любя,
В мире странствую я,
Как вампир гробовой...
Мне противно смотреть
На блаженство других

И в мучениях злых,
Не сгораючи, тлеть...
Не кропите ж меня
Вы, росинки дождя:
Я не цвет полевой;
Не губительный зной
Пролетел надо мной!
Я увял — и увял
Навсегда, навсегда!
И блаженства не знал
Никогда, никогда!

Между 1826—1828

ЦЕПИ

Зачем игрой воображенья
Картины счастья рисовать,
Зачем душевные мученья
Тоской опасной растравлять?
Убитый роком своенравным,
Я вяну жертвою страстей
И угнетен ярмом бесславным
В цветущей юности моей!..
Я зрел: надежды луч прощальный
Темнел и гаснул в небесах,
И факел смерти погребальный
С тех пор горит в моих очах!
Любовь к прекрасному, природа,
Младые девы и друзья,
И ты, священная свобода,
Всё, всё погибло для меня!
Без чувства жизни, без желаний,
Как отвратительная тень,
Влачу я цепь моих страданий
И умираю ночь и день!
Порою огнь души унылой
Воспламеняется во мне,
С снедающей меня могилой
Борюсь, как будто бы во сне;
Стремлюсь, в жару ожесточенья,
Мои оковы раздробить

И жажду сладостного мщенья
Живою кровью утолить!
Уже рукой ожесточенной
Берусь за пагубную сталь,
Уже рассудок мой смущенный
Забыл и горе и печаль!..
Готов!.. Но цепь порабощенья
Гремит на скованных ногах,
И замирает сталь отмщенья
В холодных, трепетных руках!
Как раб испуганный, бездушный,
Тогда кляну свой жребий я
И вновь взираю равнодушно
На цепи [нового цар]я.

Между 1826—1828

РОК

Зари последний луч угас
В природе усыпленной;
Протяжно бьет полночный час
На башне отдаленной.
Уснули радость и печаль
И все заботы света;
Для всех таинственная даль
Завесой тьмы одета.
Всё спит... Один свирепый рок
Чужд мира и покоя,
И столько ж страшен и жесток
В тиши, как в вихре боя.
Ни свежей юности красы,
Ни блеск души прекрасной
Не избегут его косы,
Нежданной и ужасной!
Он любит жизни бурной шум,
Как любят рев потока,
Или как любит детский ум
Игру калейдоскопа.
Пред ним равны — рабы, цари;
Он шутит над султаном,

Равно как шучивал Али
Янинский над фирманом.
Он восхотел — и Крез избег
Костра при грозном Кире,
И Кир, уснув на лоне нег,
Восстал в подземном мире.
Велел — и Рима властелин —
Народный гладиатор,
И Русь, как кур, передушил
Ефрейтор-император.

Между 1826—1828

ВАЛТАСАР

(Подражание V главе пророка Даниила)

Царь на троне сидит;
Перед ним и за ним
С раболепством немым
Ряд сатрапов стоит.
Драгоценный чертог
И блестит и горит,
И земной полубог
Пир устроить велит.
Золотая волна
Дорогого вина
Нежит чувства и кровь;
Звуки лир, юных дев
Сладострастный напев
Возжигают любовь.
Упоен, восхищен,
Царь на троне сидит —
И торжественный трон
И блестит и горит...
Вдруг неведомый страх
У царя на челе,
И унынье в очах,
Обращенных к стене.
Умолкает звук лир
И веселых речей,
И расстроенный пир
Видит (ужас очей!):

Огневая рука
Исполинским перстом,
На стене пред царем,
Начертала слова...
И никто из мужей
И царевых гостей,
И искусных волхвов
Силы огненных слов
Изъяснить не возмог.
И земной полубог
Омрачился тоской...
И еврей молодой
К Валтасару предстал
И слова прочитал:
Мáни, фéкел, фарéс!
Вот слова на стене;
Волю бога небес
Возвещают оне.
Мáни значит: монарх,
Кончил царствовать ты!
Град у персов в руках —
Смысл середней черты;
Фарес — третье — гласит:
Ныне будешь убит!..
Рек — исчез... Изумлен,
Царь не верит мечте;
Но чертог окружен,
И — он мертв на щите!..

Между 1826—1828

ПЕСНЬ ПЛЕННОГО ИРОКЕЗЦА

Я умру! на позор палачам
Беззащитное тело отдам!
    Равнодушно они
    Для забавы детей
    Отдирать от костей
    Будут жилы мои!
    Обругают, убьют
    И мой труп разорвут!

Но стерплю! Не скажу ничего,
Не наморщу чела моего!
И, как дуб вековой,
Неподвижный от стрел,
Неподвижен и смел,
Встречу миг роковой
И, как воин и муж,
Перейду в страну душ.
Перед сонмом теней воспою
Я бесстрашную гибель мою.
И рассказ мой пленит
Их внимательный слух,
И воинственный дух
Стариков оживит;
И пройдет по устам
Слава громким делам.
И рекут они в голос один:
«Ты достойный прапрадедов сын!»
Совокупной толпой
Мы на землю сойдем
И в родных разольем
Пыл вражды боевой;
Победим, поразим
И врагам отомстим!
Я умру! на позор палачам
Беззащитное тело отдам!
Но, как дуб вековой,
Неподвижный от стрел,
Я недвижим и смел
Встречу миг роковой!

Между 1826—1828

РЕНЕГАТ

(Отрывок из поэмы «Гарем»)

Кто любит негу чувств, блаженство сладострастья
И не парит в края азийские душой?
Кто, пылкий юноша, который в мире счастья
Не жаждет век утратить молодой?

Пусть он летит туда, чалмою крест обменит
И населит красой блестящий свой гарем!
Там жизни радость он познает и оценит,
И снова обретет потерянный эдем!..
Там пир для чувств и ока!
Красавицы Востока,
Одна другой милей,
Одна другой резвей,
Послушные рабыни,
Умрут с ним каждый миг!
С душой полубогини
В восторгах огневых
Душа его сольется,
Заснет — и вновь проснется,
Чтоб снова утонуть
В пучине наслажденья!
Там пламенная грудь
Манит воображенье;
Там белая рука
Влечет его слегка
И страстно обнимает;
Одна его лобзает,
Горит и изнывает,
Одна ему поет,
И сладостно....
Прелестные подруги,
Воздушны, как зефир,
Порхают, стелют круги,
То вьются, то летят,
То быстро станут в ряд.
Меж тем в дыму кальяна,
На бархате дивана
Влюбленный сибарит
Роскошно возлежит
И, взором пожирая
Движенья гурий рая,
Трепещет и кипит,
И к деве сладострастья,
Залог желанный счастья,
Платок его летит...
О, прочь с груди моей, исчезни, знак священный,
Отцов и дедов древний крест!

Где пышная чалма, где алкоран пророка?
Когда в сады прелестного Востока
Переселюсь от пагубных мне мест?
Что мне закон? . . . .
Карателя блаженства моего
Приятней в ад цветущая дорога,
Чем в рай, когда мне жить не должно для него.
Погибло всё! Перуны грома,
Гремите над моей главой!
Очарования Содома,
Я ваш до сени гробовой!..
Но где гарем, но где она,
Моя прекрасная рабыня?
Кто эта юная богиня,
Полунагая, как весна,
Свежа, пленительна, статна,
Резвится в бане ароматной?
На чьи небесные красы
С досадной ревностью власы
Волною падают приятной?
Чья сладострастная нога
В воде играет благовонной
И слишком вольная рука
Шалит над тайной благосклонной?
Кого усердная толпа
Рабынь услужливых лелеет?
Чья кровь горячая замлеет
В объятьях девы огневой?
Кто сей счастливец молодой?..
Ах, где я? Что со мною стало?
Она надела покрывало,
Ее ведут — она идет:
Ее любовь на ложе ждет...
Он дышит
На томной груди,
Он слышит
Признанье в любви,
Целует
Блаженство свое,
Милует
И нежит ее,

Лобзает
Прелестный цветок,
Срывает
И пьет ее вздох.
Так жрец любви, игра страстей опасных,
Пел наслажденья чуждых стран
И оживлял в мечтаньях сладострастных
Чувств очарованных обман.
Он пел... Души его кумиры
Носились тайно вкруг него,
И в этот миг на все порфиры
Не променял бы он гарема своего.

Между 1826—1828

ЖИВОЙ МЕРТВЕЦ

Кто видел образ мертвеца,
Который демонскою силой,
Враждуя с темною могилой,
Живет и страждет без конца?
В час полуночи молчаливой,
При свете сумрачном луны,
Из подземельной стороны
Исходит призрак боязливый.
Бледно, как саван роковой,
Чело отверженца природы,
И неестественной свободы
Ужасен вид полуживой.
Унылый, грустный, он блуждает
Вокруг жилища своего,
И — очарован — за него
Переноситься не дерзает.
Следы минувших, лучших дней
Он видит в мысли быстротечной,
Но мукой тяжкою и вечной
Наказан в ярости своей,
Проклятый небом раздраженным,
Он не приемлется землей,
И овладел мучитель злой
Злодея прахом оскверненным.

Вот мой удел! Игра страстей,
Живой стою при дверях гроба,
И скоро, скоро месть и злоба
Навек уснут в груди моей!
Кумиры счастья и свободы
Не существуют для меня,
И, член ненужный бытия,
Не оскверню собой природы!
Мне мир — пустыня, гроб — чертог!
Сойду в него без сожаленья,
И пусть за миг ожесточенья
Самоубийцу судит бог!

Между 1826—1828

ПРОВИДЕНИЕ

Я погибал...
Мой злобный гений
Торжествовал!..
Отступник мнений
Своих отцов,
Враг угнетений,
Как царь духов,
В душе безбожной
Надежды ложной
Я не питал
И из Эреба
Мольбы на небо
Не воссылал.
Мольба и вера
Для Люцифера
Не созданы, —
Гордыне смелой
Они смешны.
Злодей созрелый,
В виду смертей
В когтях чертей —
Всегда злодей.
Порабощенье,

Как зло за зло,
Всегда влекло
Ожесточенье.
Окаменен,
Как хладный камень,
Ожесточен,
Как серный пламень,
Я погибал
Без сожалений,
Без утешений...
Мой злобный гений
Торжествовал!
Печать проклятий —
Удел моих
Подземных братий,
Тиранов злых
Себя самих —
Уже клеймилась
В моем челе;
Душа ко мгле
Уже стремилась...
Я был готов
Без тайной власти
Сорвать покров
С моих несчастий.
Последний день
Сверкал мне в очи;
Последней ночи
Встречал я тень, —
И в думе лютой
Всё решено;
Еще минута
И... свершено!..
Но вдруг нежданный
Надежды луч,
Как свет багряный,
Блеснул из туч:
Какой-то скрытый,
Но мной забытый
Издавна бог
Из тьмы открытой
Меня извлек!

Рукою сильной
Остов могильный
Вдруг оживил, —
И Каин новый
В душе суровой
Творца почтил.
Непостижимый,
Неотразимый,
Он снова влил
В грудь атеиста
И лжесофиста
Огонь любви!
Он снова дни
Тоски печальной
Озолотил
И озарил
Зарей прощальной!
Гори ж, сияй,
Заря святая!
И догорай,
Не померкая!

Между 1826—1828

* * *

Притеснил мою свободу
Кривоногий штабс-солдат:
В угождение уроду
Я отправлен в каземат.
И мечтает блинник сальный
В черном сердце подлеца
Скрыть под лапою нахальной
Имя вольного певца.
Но едва ль придется шуту
Отыграться без стыда:
Я — под спудом на минуту,
Он — в болоте навсегда.

1828

АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВИЧУ ЛОЗОВСКОМУ

Plus tôt que je n'ai dû je reviens dans la lice;
Mais tu le veux, amis!
Ton bras m'a reveillé; c'est toi qui m'a dit: va!

H⟨ugo⟩.[1]

Ты мне чужой, не с давних лет
Знаком душе твоей поэт!
Не симпатйя двух сердец —
Святого дружества венец —
В счастливой жизни нам вила
И друг для друга родила.
Быть может, раз сойтись с тобой
Мне предназначено судьбой —
И мы сошлись... Ты — в красоте
Цветущих дней, я — в наготе
Позорных уз... Добро иль зло
Тебя к страдальцу привело,
Боюсь понять... под игом бед
Мне подозрителен весь свет;
Погибшей истины черты
В глазах моих — одни мечты...
Уму свирепому она
И ненавистна и смешна!
Быть может, ветреник младой,
Смеясь над глупой добротой,
Вменяя шалости в закон
И быстрым чувством увлечен,
Ты ложной жалостью хотел
Смягчить ужасный мой удел
Иль осмеять мою тоску;
Быть может, лестью простаку
Желал о прежнем вспомянуть
И беспощадно обмануть...
Но пусть, игралище страстей,
Я буду куклой для людей,
Пусть их коварства лютый яд
В моей груди умножит ад...
И ты не лучше их ничем...

---

[1] Раньше чем должно я возвращаюсь в бой;
Но таково твое желанье, друг!
Твоя рука меня разбудила; ведь это ты сказал мне: выходи! Г<юго> (франц.). — *Ред.*

Не знаю сам, за что, зачем
Я полюбил тебя... Твой взор
Не есть несчастному укор.
Твой голос, звук твоих речей
Мне мил, как сладостный ручей...
Так соловей в ночной тиши
Поет для горестной души,
Так Аббадоне Уриил [1]
Во тьме геенны говорил...
Глаза печальные мои
Слезу приязни и любви
В твоих заметили очах...
Ты любишь сам меня — но ах!
Твое участие ко мне,
Как легкий пепел на огне,
На миг возникнет, оживет —
И вместе с ветром пропадет.
Я не виню тебя!.. Жесток
Ко мне не ты, а злобный рок,

---

[1] Давно прошли времена Орестов и Пиладов. Кто-то сказал, кажется справедливо, что ныне:

Любовь и дружба — пара слов,
А жалость — мщение врагов.

И после добавил, что:

Одно под солнцем есть добро:
Неочиненное перо...

Но — так как нет правил без исключений — и под солнцем, озаряющим неизмеримую темную бездну, в которой, будто в хаосе, вращаются, толпятся и пресмыкаются миллионы двуногих созданий, называемых человеками, встречаемся мы иногда с чем-то благородным, отрадным, не заклейменным печатью нелепости и ничтожества, — то провидению угодно было, чтоб и я на колючем пути моего земного поприща встретил это благородное, это отрадное в лице истинного моего друга А.... П.... Л..... Часто подносил он бальзам утешения к устам моим, отравленным желчию жизни; никогда не покидал меня в минуты горести. К нему относятся стихи:

Я буду — он, он будет — я;
В одном из нас сольются оба,
И пусть тогда вражда и злоба,
И смерть и заступ гробовой
Шумят над нашей головой!

Может быть, кто-нибудь с лукавой улыбкой спросит: кто такой этот Л...? Не знатный ли покровитель?.. О нет! Он более, он — человек.

И ты простишь в пылу страстей
Обидной вольности моей...

. . . .

Я снова узник и солдат!..
Вот тайный дар моих стихов...
Проникни в силу этих слов...
Прочти, коль вздумаешь, спиши
И не забудь меня в глуши...
Когда ж забудешь — бог с тобой!
Но знай, что я навеки твой...

Спасские казармы, 1828

I

Ты хочешь, друг, чтобы рука
Времен прошедших чудака,
Вооруженная пером,
Черкнула снова кой о чем?
Увы! Старинный жар стихов,
И след сатир и острых слов
Исчезли в буйной голове,
Как след дриады на траве,
Иль запах розы молодой
Под недостойною пятой.
Поэт пленительных страстей
Сидит живой в когтях чертей.
Атласных ж.... не поет
И чуть по-волчьи не ревет...
Броня сермяжная и штык —
Удел того, кто был велик
На поле перьев и чернил;
Солдатский кивер осенил
Главу, достойную венка...
И Чайльд-Гарольдова тоска
Лежит на сердце у того,
Кто не боялся никого...
Но на призывный дружный глас
Отвечу я в последний раз,
Еще до смерти согрешу —
И лист бумаги испишу...
Прочти его и согласись,
Что если средства нет спастись

От угнетенья и цепей,
То жизнь страшнее ста смертей —
И что свободный человек
Свободно кончить должен век...
. . . .
. . . . опыт злой
Завесу с глаз моих сорвал
И ясно, ясно доказал,
Что добродетель есть мечта,
. . . . суета.
Любовь и дружба — пара слов,
А жалость — мщение врагов...
Одно под солнцем есть добро —
Неочиненное перо...

II

В столице русских городов
Мо<щей>, мон<ахов> и попов,
На славном Вале Земляном
Стоит странноприимный дом;
И рядом с ним стоит другой,
Кругом обстроенный, большой —
И этот дом известен нам,
В Москве, под именем казарм;
В казармах этих тьма людей
И ночью множество.....
На нарах с воинами спят,
И веселятся, и шумят;
И на огромном том дворе,
Как будто в яме иль дыре,
Издавна выдолблено дно,
Иль гаубвахта, всё равно...
И дна того на глубине
Еще другое дно в стене,
И называется тюрьма;
В ней сырость вечная и тьма,
И проблеск солнечных лучей
Сквозь окна слабо светит в ней;
Растреснутый кирпичный свод
Едва-едва не упадет
И не обрушится на пол,

Который снизу, как Эол,
Тлетворным воздухом несет
И с самой вечности гниет...
В тюрьме жертв на пять или шесть
Ряд малых нар у печки есть.
И десять удалых голов,
<Царя> решительных врагов,
На малых нарах тех сидят,
И кандалы на них гремят...
И каждый день повечеру,
Ложася спать, и поутру
В м<олитве> к г<осподу> Х<ристу>
<Царя российского> в ...
Они ссылают наподряд
И все сл<ужить> ему хотят
За то, что мастер он лихой
За п<устяки> г<онять> скв<озь> с<трой>.
И против нар вдоль по стене
Доска, подобная скамье,
На двух столпах утверждена.
И на скамье той у окна,
Броней сермяжною одет,
Лежит вербованный поэт.
Броня на нем, броня под ним,
И всё одна и та же с ним,
Как верный друг, всегда лежит,
И согревает, и хранит;
Кисет с негодным табаком
И полновесным пятаком
На необтесанном столе
Лежат у узника в угле.
Здесь триста шестьдесят пять дней
В кругу плутоновых людей
Он смрадный воздух жизни пьет
И <самовластие> клянет.
Здесь он во цвете юных лет,
Обезображен, как скелет,
С полуостриженной брадой,
Томится лютою тоской...
Он не живет уже умом —
Душа и ум убиты в нем;

И замеръ Свѣтъ въ его рукахъ.
Надежду, радость — всё убила
Молніеносная стрѣла! —

IV. —

О ты, который возведёнъ.
Погибшей В......ю Т.....
Или прощѣ говоря:
О.... Д...... Ц....
Постигъ-ли, звукъ мирныхъ рѣчей
Твоихъ обманутыхъ ушей!

Но, как бродячий автомат
Или бесчувственный солдат,
Штыком рожденный для штыка,
Он дышит жизнью дурака:
Два раза на день ест и пьет
И долг природе отдает...

III

Воспоминанья старины,
Как соблазнительные сны,
Его тревожат иногда;
В забвеньи горестном тогда
Он воскресает бытием:
Безумным, радостным огнем
Тогда глаза его горят,
И слезы крупные блестят,
И, очарованный мечтой,
Надежды жизни молодой
Несчастный видит, ловит вновь.
Опять — поэт; опять любовь
К свободе, к миру в нем кипит!
Он к ней стремится, он летит;
Он полон милых сердцу дум...
Но вдруг цепей железных шум
Иль хохот глупый беглецов,
Тюрьмы бессмысленных жильцов,
Раздался в сводах роковых —
И рой видений золотых,
Как легкий утренний туман,
Унес души его обман...
Так жнец на пажити родной,
Стрелой сраженный громовой,
Внезапно падает во прах —
И замер серп в его руках...
Надежду, радость — всё взяла
Молниеносная стрела!..

IV

О ты, который возведен
Погибшей в<ольности> на трон,
Или, простее говоря,

О<соба> р<усского> ц<аря>!
Коснется ль звук моих речей
Твоих обманутых ушей?
Узришь ли ты, прочтешь ли ты
Сии правдивые черты?..
Поймешь ли ты, как мудрено
Сказать в душе: всё решено!
Как тяжело сказать уму:
«Прости, мой ум, иди во тьму»;
И как легко черкнуть перу:
«Ц<арь> Н<иколай>. Б<ыть>
по с<ему>».
Поймешь ли ты, что твой народ
Есть пышный сад, а ты — Ленотр,
Что должен ты его беречь
И ветви свежие не сечь...
Поймешь ли ты, что ц<арский> долг
Есть не душить, как лютый волк,
По алчной прихоти своей
Мильоны страждущих людей...
Но что?.. К чему напрасный гнев,
Он не сомкнет Молохов зев:
Бессилен звук в моих устах,
Как меч в заржавленных ножнах...
И я в тюрьме...
Ватага спит;
Передо мной едва горит
Фитиль в разбитом черепке;
С ружьем в ослабленной руке,
На грудь склонившись головой,
У двери дремлет часовой;
Вблизи усталый караул
Глаза бессонные сомкнул.
На гаубвахте тишина...
Бог винограда, бог вина,
Сын пьяный пьяного отца,
Зачем приятный глас певца,
В часы полуночных пиров,
Не веселит твоих сынов?
Зачем на лире золотой
Перед волшебницей младой
В восторге чувств он не гремит

И бледный, пасмурный сидит
Без возлияний и друзей
В руках едва ль полулюдей...
Не он ли свежесть ранних сил
Тебе на жертву приносил
Во дни беспечной старины?
Не он ли розами весны
Твой благодетельный покал
Рукой покорной украшал?
Свершилось!.. Нет его!.. Ударь
Поблекшим тирсом в свой алтарь!
Пролей вино из томных глаз!
Твой жрец, твой верный жрец угас!
Угас, как факел буйных дев,
Исчез, как громкий их напев:
«Эван, Эвое, сильный Вакх!»,
Как разум скучный на пирах!..
Вторый Н<ерон>, Ис<кариот>,
У<дав> Б<разильский> и Н<емврод>
Его враждой своей почтил
И, лобызая, удушил!

V

Mais qu'importe? accompli
ta mission sacrée. [1]

Оставлен всеми, одинок,
Как в море брошенный челнок
В добычу яростной волне,
Он увядает в тишине...
. . . .
Участье верное друзей,
Которых шумные рои,
Под ложной маскою любви,
Всегда готовы для услуг,
Когда есть денежный сундук
Или подобное тому, —
Не в тягость более ему:
Из ста знакомых щегольков,

[1] Ну, так что же? Завершай свою священную миссию (фран.). — *Ред.*

Большого света знатоков,
Никто ошибкою к нему
Не залетал еще в тюрьму...
Да и прекрасно... Для чего?..
Там нет ни водки, ничего...
Чутье животных, модный тон
Или приличия закон —
Вот тайна дружественных уз...
А нежность сердца, тонкий вкус —
Причина важная забыть
Того, кто слезы должен лить:
«Ах, как он жалок, cependant,
C'était naguère un bon enfant!»[1] —
Лепечет милый фанфарон,
И долг приязни заплачен...
И что пенять? Они умны,
Их рассуждения верны:
Так должно было; наперед
Судьба нам сделала расчет:
Им наслаждение дано,
А мне страданье суждено!
И правы мрачный фаталист
И всем довольный оптимист...

VI

Система звезд, прыжок сверчка,
Движенья моря и смычка —
Всё воля творческой руки...
Иль вера в бога пустяки?
Сказать, что нет его — смешно;
Сказать, что есть он — мудрено.
Когда он есть, когда он — ум,
Превыше гордых наших дум,
Правдивый, вечный и благой,
В себе живущий сам собой,
Омега, альфа бытия...
Тогда он нам не судия:
Возможно ль то ему судить,
Что вздумал сам он сотворить?

[1] А хороший парень был когда-то (франц.). — *Ред.*

Свое творенье осудя,
Он опровергнет сам себя!..
Твердить преданья старины,
Что мы в делах своих вольны,
Есть перекорствовать уму,
И, значит, впасть в иную тьму...
Его предведенье могло
Моей свободы видеть зло —
Он должен был из тьмы веков
Воззвать атом мой для оков.
Одно из двух: иль он желал,
Чтобы невинно я страдал,
Или слепой, свирепый рок
В пучину бед меня завлек?..
Когда он видел, то хотел,
Когда хотел, то повелел,
Всё чрез него и от него,
А заключенье из того:
Когда я волен — он тиран,
Когда я кукла — он болван.

VII

Так и забвение друзей.
Оно не есть коварство змей;
Так пусть же тягостной руки
Меня снедающей тоски
Не испытают на себе,
В угодность ветреной судьбе;
Страдалец давний, но не злой
Постыдной зависти чертой
Чужого счастья не смутит!
. . . .
А ты, примерный человек,
Души высокой образец,
Мой благодетель и отец,
О Струйский, можешь ли когда,
Добычу гнева и стыда,
Певца преступного простить?..
Неблагодарный из людей,
Как погибающий злодей

Перед секирой роковой,
Теперь стою перед тобой! ..
Мятежный век свой погубя,
В слезах раскаянья тебя
Я умоляю! . . . .
Священным именем отца
Хочу назвать тебя! .. Зову...
И на покорную главу
За преступления мои
Прошу прощения любви! ..
Прости! .. прости! .. моя вина
Ужасной местью отмщена!
. . . .

VIII

Завеса вечности немой
Упала с шумом предо мной...
Я вижу . . . .
. . . . мой стон
Холодным ветром разнесен,
Мой труп . . . .
Добыча вранов и червей
. . . .
И нет ни камня, ни к<реста>,
Ни огородного шеста
Над гробом узника тюрьмы —
Жильца ничтожества и тьмы...

1828

КРЕМЛЕВСКИЙ САД

Люблю я позднею порой,
Когда умолкнет гул раскатный
И шум докучный городской,
Досуг невинный и приятный
Под сводом неба провождать;
Люблю задумчиво питать
Мои беспечные мечтанья
Вкруг стен кремлевских вековых,
Под тенью липок молодых

И пить весны очарованье
В ароматических цветах,
В красе аллей разнообразных,
В блестящих зеленью кустах.
Тогда, краса ленивцев праздных,
Один, не занятый никем,
Смотря и ничего не видя,
И, как султан, на лавке сидя,
Я созидаю свой эдем
В смешных и странных помышленьях.
Мечтаю, грежу как во сне,
Гуляю в выспренних селеньях —
На солнце, небе и луне;
Преображаюсь в полубога,
Сужу решительно и строго
Мирские бредни, целый мир,
Дарую счастье миллионам...
(Весы правдивые законам)
И между тем, пока мой пир
Воздушный, легкий и духовный
Приемлет всю свою красу,
И я себя перенесу
Гораздо дальше подмосковной, —
Плывя, как лебедь, в небесах,
Луна сребрит седые тучи;
Полночный ветер на кустах
Едва колышет лист зыбучий;
И в тишине вокруг меня
Мелькают тени проходящих,
Как тени пасмурного дня,
Как проблески огней блудящих.

<1829>

НА СМЕРТЬ ТЕМИРЫ

Быстро, быстро пролетает
Время наш подлунный свет,
Всё разит и сокрушает,
И ему препятствий нет.
Ах, давно ль весна златая
Расцветала на полях?

Час пробил — зима седая
Мчится в вихрях и снегах!
Лишь возникла юна роза,
Развернула стебельки —
Дуновением мороза
Опустилися листки.
Так и ты, моя Темира,
Нежный друг души моей,
Быв красой недавно мира,
Вдруг увяла в цвете дней!
Лишь блеснула, как явленье,
И — сокрылася опять...
Ах, одно мне утешенье —
О тебе воспоминать!

<1829>

ТАБАК

Курись, табак мой! Вылетай
  Из трубки, дым приятный,
И облаками расстилай
  Свой запах ароматный!
Не столько персу мил кальян
  Или шербет душистый,
Сколь мил душе моей туман
  Твой легкий и волнистый!
Тиран лишил меня всего —
  И чести и свободы,
Но всё курю, назло его,
  Табак, как в прежни годы;
Курю и мыслю: как горит
  Табак мой в трубке жаркой,
Так и меня испепелит
  Рок пагубный и жалкой...
Курись же, вейся, вылетай
  Из трубки, дым приятный,
И, если можно, исчезай
  И жизнь с ним невозвратно!

<1829>

НАДЕНЬКЕ

Смейся, Наденька, шути!
Пей из чаши золотой
Счастье жизни молодой,
Милый ангел во плоти!
Быстро волны ручейка
Мчат оторванный цветок;
Видит резвый мотылек
Листик алого цветка,
Вьется в воздухе, летит,
Ближе... вот к нему прильнул...
Ветер волны колыхнул —
И цветок на дне лежит...
Где же, где же, мотылек,
Роза нежная твоя?
Ах, не может для тебя
Возвратить ее поток!..
Смейся, Наденька, шути!
Пей из чаши золотой
Счастье жизни молодой,
Милый ангел во плоти!
Было время, как и ты,
Я глядел на божий свет;
Но прошли пятнадцать лет —
И рассеялись мечты.
Хладной бурною рекой
Рой обманов пролетел,
И мой дух окаменел
Под свинцовою тоской!
Где ты, радость? Где ты, кровь?
Где огонь бывалых дней?..
Ах, из памяти моей
Истребила их любовь!
Смейся, Наденька, шути!
Пей из чаши золотой
Счастье жизни молодой,
Милый ангел во плоти!
Будет время, как и я,
Ты о прежнем воздохнешь
И печально вспомянешь:
«Где ты, молодость моя?..»

Молчалива и одна,
Будешь сердце поверять
И, уныния полна,
Втайне слезы проливать.
Потемнеют небеса
В ясный полдень для тебя,
Не узнаешь ты себя —
Пролетит твоя краса...
Смейся ж, смейся и шути!
Пей из чаши золотой
Счастье жизни молодой,
Милый ангел во плоти!

<1830>

КАЗАК

Под Черные горы на злого врага
Отец снаряжает в поход казака.
Убранный заботой седого бойца
Уж трам абазинский стоит у крыльца.
Жена молодая, с поникшей главой,
Приносит супругу доспех боевой,
И он принимает от белой руки
Кинжал Базалая, булат Атаги
И труд Царяграда — ружье и пистоль.[1]
На скатерти белой прощальная соль,
И хлеб, и вино, и Никола святой...
Родителю в ноги... жене молодой —
С таинственной бурей таинственный взор
И брови на шашку — вине приговор,
Последнего слова и ласки огонь!..
И скрылся из виду и всадник и конь!
Счастливый казак!
От вражеских стрел, от меча и огня
Никола хранит казака и коня.
Враги заплатили кровавую дань,
И смолкла на время свирепая брань.
И вот полунощною тихой порой
Он крадется к дому глухою тропой,

[1] На Кавказе между казаков пистолет так всегда называется.

Он милым готовит внезапный привет,
В душе его мрачного предчувствия нет.
Он прямо в светлицу к жене молодой —
И кто же там с нею? .. Казак холостой!
Взира́ет обманутый муж на жену
И слышит в руке и душе сатану:
«Губи лицемерку — она неверна!»
Но вскоре рассудком изгнан сата́на...
Казак изнуренные силы собрал
И, крест сотворивши, Николе сказал:
«Никола, Никола, ты спас от войны,
Почто же не спас от неверной жены?»
Несчастный казак!

1830, Кавказ

ТАРКИ

Я был в горах —
Какая радость!
Я был в Тарках —
Какая гадость!
Скажу не в смех:
Аул Шамхала
Похож немало
На русский хлев.
Большой и длинный,
Обмазан глиной,
Нечист внутри,
Нечист снаружи;
Мечети с три,
Ручьи да лужи,
Кладбище, ров
Да рыбный лов,
Духан, пять лавок,
И, наконец,
Всему вдобавок
Вверху дворец
Преавантажный
И двухэтажный,
Где князь Шамхал
. . . .

Сидит и судит
Всех наповал.
В большой папахе,
В цветной рубахе,
Румян и дюж,
Счастливый муж
По царству ходит
И юных дев
И в стыд и в гнев
Нередко вводит.
А как в Тарках
Прелестны девы —
Прекрасней Евы!
Всегда в штанах
Из красной ткани,
Ни разу в год
Не ходят в бани.
Рублей пятьсот —
И ни полслова!
Любая мать
Сейчас готова
Вам дочь отдать —
Ложитесь спать,
И как угодно...
Хоть навсегда!
Но, господа,
Не так свободно
Торгует тот,
Кто не сочтет
Пето в кармане:
Тому на хвост
Тавлинки пост,
Как в рамазане!
И щеголек
Из зал московских
От дев тарковских
Услышит: «йок!»
О «йок!». С бельмесом
Вас выдумал
Сам дьявол с бесом
И передал
Потом черкесам

Назло повесам:
Сердись и плачь
От неудач!
Набрел я ночью
На сущий клад
Лет в пятьдесят.
Геройской мочью,
Зажав ей рот
И не стыдясь,
По старой вере
Старушью честь
Уже принесть
Хотел Венере...
Вдруг «йок!» кричит
Моя злодейка,
В висок летит
Мне прямо лейка,
С которой — срам! —
Шла к воротам
Прелюбодейка!
«Тахта! Постой!» —
Я слышу ясно,
И, с бородой,
Как пламень, красной,
Передо мной
Мужик ужасный —
О день несчастный!
Сначала я,
Как воин смелый,
Хотел шутя
Окончить дело —
Словцом, другим
Отговориться,
Но помириться
Пришлось иным.
«Тахта!» — спокойно
Он бормотал
И непристойно
Меня вязал.
К чему рассказы?
Мои проказы
Окончить мог

Лишь кошелек
Да бер-абазы! ..

. . . .

Она прийдет,
Как было прежде,
Ко мне одна
В ночной одежде.
Сперва, стыдясь,
Сапожки скинет,
Потом, смеясь,
Меня обнимет!

. . . .

Май 1831

ЧЕРНАЯ КОСА

Там, где свистящие картечи
Метала бранная гроза,
Лежит в пыли, на поле сечи,
В три грани черная коса.
Она в крови и без ответа,
Но тайный голос произнес:
«Булат, противник Магомета,
Меня с главы девичьей снес!
Гордясь красой неприхотливой,
В родной свободной стороне
Чело невинности стыдливой
Владело мною в тишине.
Еще за час до грозной битвы
С врагом отечественных гор
Пылал в жару святой молитвы
Звезды Чир-Юрта ясный взор.
Надежда храбрых на Пророка
Отваги буйной не спасла,
И я во прах веленьем рока
Скатилась с юного чела!
Оставь меня! .. Кого лелеет
Украдкой нежная краса,
Тому на сердце грусть навеет
В три грани черная коса...»

1831

ПЕСНИ

I

Зачем задумчивых очей
С меня, красавица, не сводишь?
Зачем огнем твоих речей
Тоску на душу мне наводишь?
Не припадай ко мне на грудь
В порывах милого забвенья, —
Ты ничего в меня вдохнуть
Не можешь, кроме сожаленья!
Меня не в силах воспалить
Твои горячие лобзанья,
Я не могу тебя любить —
Не для меня очарованья!
Я был любим, и сам любил —
Увял на лоне сладострастья,
И в хладном сердце схоронил
Минуты горестного счастья;
Я рано сорвал жизни цвет,
Всё потерял, всё отдал Хлое, —
И прежних чувств и прежних лет
Не возвратит ничто земное!
Еще мне милы красота
И девы пламенные взоры,
Но сердце мучит пустота,
А совесть — мрачные укоры!
Люби другого: быть твоим
Я не могу, о друг мой милый!..
Ах, как ужасно быть живым,
Полуразрушась над могилой!

<1831>

II

У меня ль, молодца,
Ровно в двадцать лет
Со бела со лица
Спал румяный цвет,

Черный волос кольцом
Не бежит с плеча;
На ремне золотом
Нет грозы-меча,
За железным щитом
Нет копья-огня,
Под черкесским седлом
Нет стрелы-коня;
Нет перстней дорогих
Подарить милой!
Без невесты жених,
Без попа налой...
Расступись, расступись,
Мать сыра земля!
Прекратись, прекратись,
Жизнь-тоска моя!
Лишь по ней, по милой,
Красен белый свет;
Без милой, дорогой
Счастья в мире нет!

<1832>

III

Там, на небе высоко
Светит солнце без лучей, —
Так от друга далеко
Гаснет свет моих очей!..
У косящата окна
Раскрасавица сидит;
Призадумавшись, она
Буйну ветру говорит:
«Не шуми ты, не шуми,
Буйный ветер, под окном;
Не буди ты, не буди
Грусти в сердце ретивом;
Не тверди мне, не тверди
Об изменнике моем!
Изменил мне, изменил
Мой губитель роковой;

Насмеялся, пошутил
Над моею простотой,
Над моею простотой,
Над девичьей красотой!
Я погибла бы, душа
Красна девка, от ножа,
Я погибла б от руки,
А не с горя и тоски.
Ты убей меня, убей,
Ненавистный мой злодей!
Я сказала бы ему,
Милу другу своему:
„Не жалею я себя,
Ненавижу я тебя!
Лей и пей ты мою кровь,
Утуши мою любовь!"
Не шуми ж ты, не шуми,
Буйный ветер, надо мной;
Полети ты, полети
Вдоль дороги столбовой!
По дороге столбовой
Скачет воин молодой;
Налети ты на него,
На тирана моего;
Просвищи, как жалкий стон,
Прошепчи ему поклон
От высоких от грудей,
От заплаканных очей, —
Чтоб он помнил обо мне
В чужедальней стороне;
Чтобы с лютою тоской,
Вспоминая, воздохнул,
И с горючею слезой
На кольцо мое взглянул;
Чтоб глядел он на кольцо,
Как на друга прежних дней,
Как на белое лицо
Бедной девицы своей!..»

<1832>

ПЕСНЬ ПОГИБАЮЩЕГО ПЛОВЦА

I

Вот мрачится
Свод лазурный!
Вот крутится
Вихорь бурный!
Ветр свистит,
Гром гремит,
Море стонет —
Путь далек...
Тонет, тонет
Мой челнок!

II

Всё чернее
Свод надзвездный,
Всё страшнее
Воют бездны.
Глубь без дна —
Смерть верна!
Как заклятый
Враг грозит,
Вот девятый
Вал бежит!..

III

Горе, горе!
Он настигнет:
В шумном море
Челн погибнет!
Гроб готов...
Треск громов
Над пучиной
Ярых вод —
Вздох пустынный
Разнесет!

IV

Дар заветный
Провиденья,
Гость приветный
Наслажденья —
Жизнь иль миг!
Не привык
Утешаться
Я тобой —
И расстаться
Мне с мечтой!

V

Сокровенный
Сын природы,
Неизменный
Друг свободы, —
С юных лет
В море бед
Я направил
Быстрый бег
И оставил
Мирный брег!

VI

На равнинах
Вод зеркальных,
На пучинах
Погребальных
Я скользил;
Я шутил
Грозной влагой —
Смертный вал
Я отвагой
Побеждал!

VII

Как минутный
Прах в эфире,
Бесприютный
Странник в мире,
Одинок,
Как челнок,
Уз любови
Я не знал,
Жаждой крови
Не сгорал!

VIII

Парус белый
Перелетный,
Якорь смелый
Беззаботный,
Тусклый луч
Из-за туч,
Проблеск дали
В тьме ночей —
Заменяли
Мне друзей!

IX

Что ж мне в жизни
Безызвестной?
Что в отчизне
Повсеместной?
Чем страшна
Мне волна?
Пусть настигнет
С вечной мглой,
И погибнет
Труп живой!..

X

Всё чернее
Свод надзвездный;
Всё страшнее
Воют бездны;
Ветр свистит,
Гром гремит,
Море стонет —
Путь далек...
Тонет, тонет
Мой челнок!

<1832>

ОЖЕСТОЧЕННЫЙ

О, для чего судьба меня сгубила?
Зачем из цепи бытия
Меня навек природа исключила,
И страшно вживе умер я?
Еще в груди моей бунтует пламень
Неугасаемых страстей,
А совесть, как врага заклятый камень,
Гнетет отверженца людей!
Еще мой взор, блуждающий, но быстрый,
Порою к небу устремлен,
А божества святой отрадной искры,
Надежды с верой, я лишен!
И дышит всё в создании любовью,
И живы червь, и прах, и лист,
А я, злодей, как Авелевой кровью
Запечатлен! Я атеист!..
И вижу я, как горестный свидетель,
Сиянье утренней звезды,
И с каждым днем твердит мне добродетель:
«Страшись, страшись готовой мзды!..»
И грозен он, висящей казни голос,
И стынет кровь во мне, как лед,
И на челе стоит невольно волос,
И выступает градом пот!

Бежал бы я в далекие пустыни,
Презрел бы ужас гробовой!
Душа кипит, но не руке, рабыне,
Разбить сосуд свой роковой!
И жизнь моя мучительнее ада,
И мысль о смерти тяжела...
А вечность... ах! она мне не награда —
Я сын погибели и зла!
Зачем же я возник, о провиденье,
Из тьмы веков перед тобой?
О, обрати опять в уничтоженье
Атом, караемый судьбой!
Земля, раскрой несытую утробу,
Горящей Этной протеки
И, бурный вихрь, тоску мою и злобу
И память с пеплом развлеки!

<1832>

ЗВЕЗДА

Она взошла, моя звезда,
Моя Венера золотая;
Она блестит как молодая
В уборе брачном красота!
Пустынник мира безотрадный,
С ее таинственных лучей
Я не свожу моих очей
В тоске мучительной и хладной.
Моей бездейственной души
Не оживляя вдохновеньем,
Она небесным утешеньем
Ее дарит в ночной тиши.
Какой-то силою волшебной
Она влечет меня к себе,
И, перекорствуя судьбе,
Врачует грусть мечтой целебной.
Предавшись ей, я вижу вновь
Мои потерянные годы,
Дни счастья, дружбы и свободы,
И помню первую любовь.

<1832>

КОЛЬЦО

Я полюбил ее с тех пор,
Когда печальный, тихий взор
Она на мне остановила,
Когда безмолвным языком
Очей, пылающих огнем,
Она со мною говорила.
О, как безмолвный этот взор
Был для души моей понятен,
Как этот тайный разговор
Был восхитительно приятен!
Пронзенный тысячами стрел
Любви безумной и мятежной,
Я, очарованный, смотрел
На милый образ девы нежной;
Я весь дрожал, я трепетал,
Как злой преступник перед казнью, —
Непостижимою боязнью
Мой дух смущенный замирал...
Полна живейшего вниманья
К моей мучительной тоске,
Она с улыбкой состраданья,
Как ропот арфы вдалеке,
Как звук волшебного напева,
Мне чувства сердца излила.
И эта речь, о дева, дева,
Меня, как молния, пожгла!..
Властитель мира, царь небесный!

. . . .

Она, мой ангел, друг прелестный,
Она — не может быть моей!..
Едва жива, она упала
Ко мне на грудь; ее лицо
То вдруг бледнело, то пылало, —
Но на руке ее сверкало,
Ах, обручальное кольцо!..
Свершилось всё!.. Кровавым градом
Кольцо невесты облило
Мое холодное чело...

Я был убит землей и адом...
Я встал, отбросил от себя
Ее обманчивую руку
И, сладость жизни погубя,
Стеснив в груди любовь и муку,
Ей на ужасную разлуку
Сказал: «Прости, забудь меня!
Прости, невеста молодая,
Любви торжественный залог!
Прости, прекрасная, чужая!
Со мною смерть — с тобою бог!
Спеши на лоно сладострастья,
На лоно радостей земных,
Где ждет тебя в минуту счастья
Нетерпеливый твой жених;
Где он, с владычеством завидным,
Твой пояс девственный сорвет
И, с самовластием обидным,
Своею милой назовет...
Люби его: тебя достоин
Судьбою избранный супруг;
Но помни, дева, — я покоен;
Твой долг — мучитель, а не друг...
Печально, быстро вянут розы
На зное летнем без росы;
В темнице душной моют слезы
Порабощенные красы...»
Далеко, долго раздавался
Стон бедной девы над кольцом
И с шумной радостью примчался
За нею суженый с попом.
Напрасно я забыть былое
Хочу в далекой стороне:
Мне часто видится во сне
Кольцо на пальце золотое.
Хочу забыть мою тоску,
Твержу себе: она чужая!..
Но бесполезно изнывая,
Забыть до гроба не могу.

<1832>

БУКЕТ

К груди твоей, Эмма,
Приколот букет;
Он жизни эмблема,
Но розы в нем нет.
Узорней, алее
Есть много цветов;
Но краше, милее
Царица лугов.
Эфирный влетает
В окно мотылек,
На персях лобзает
Он каждый цветок,
Над ландышем вьется,
К лилее прильнул,
Кружится, несется —
И быстро вспорхнул.
Куда ж ты, бесстрастный
Любовник цветов?
Иль ищешь прекрасной
Царицы лугов?
О Эмма, о Эмма!
Вот блеск красоты!..
Как роза, эмблема
Невинности ты.

<1832>

К ДРУЗЬЯМ

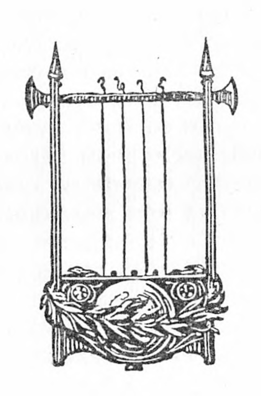
Игра военных суматох,
Добыча яростной простуды,
В дыму лучинных облаков,
Среди горшков, бабья, посуды,
Полуразлегшись на доске
Иль на скамье, как вам угодно,
В избе негодной и холодной,
В смертельной скуке и тоске
Пишу к вам, ветреные други!
Пишу — и больше ничего, —
И от поэта своего
Прошу не ждать другой услуги.

СТИХОТВОРЕНІЯ

А. ПОЛЕЖАЕВА.

Honny soit qui mal y pense

Montaigne.



МОСКВА.

Въ Типографіи Лазаревыхъ

Института Восточныхъ языковъ.

1832.

Я весь — расстройство... Я дышу,
Я мыслю, чувствую, пишу,
Расстройством полный; лишь расстройство
В моем рассудке и уме...
В моем посланьи и письме
Найдете вы лишь беспокойство!

. . . . : .

. . . .

И этот приступ неприродный
Вас удивит, наверно, вдруг.
Но, не трактуя слишком строго,
Взглянув в себя самих немного,
Мое безумство не виня,
Вы не осудите меня.
Я тот, чем был, чем есть, чем буду,
Не пременюсь, непременим...
Но ах! когда и где забуду,
Что роком злобным я гоним?
Гоним, убит, хотя отрада
Идет одним со мной путем,
И в небе пасмурном награда
Мне светит радужным лучом.
«Я пережил мои желанья!» —
Я должен с Пушкиным сказать,
«Минувших дней очарованья»
Я должен вечно вспоминать.
Часы последних сатурналий,
Пиров, забав и вакханалий,
Когда, когда в красе своей
Изменят памяти моей?
Я очень глуп, как вам угодно,
Но разных прелестей Москвы
Я истребить из головы
Не в силах... Это превосходно!
Я вечно помнить буду рад:
«Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманный наряд».
Моя душа полна мечтаний,
Живу прошедшей суетой,
И ряд несчастий и страданий

Я заменять люблю игрой
Надежды ложной и пустой.
Она мне льстит, как льстит игрушка
Ребенку в праздник годовой,
Или как льстит бостон и мушка
Девице дряхлой и седой, —
Хоть иногда в тоске бессонной
Ей снится образ жениха;
Или как запах благовонный
Льстит вялым чувствам старика.
Вот всё, что гадкими стихами
Поэт успел вам написать,
И за небрежными строками
Блестит безмолвия печать...
В моей избе готовят ужин,
Несут огромный чан ухи,
Стол ямщикам голодным нужен —
Прощайте, други и стихи!
Когда же есть у вас забота
Узнать, когда и где охота
Во мне припала до пера, —
В деревне *Лысая гора.*

<1832>

НОЧЬ НА КУБАНИ

Весенний вечер на равнины
Кавказа знойного слетел;
Туман медлительный одел
Гор дальних синие вершины.
Как море розовой воды,
Заря слилась на небе чистом
С мерцаньем солнца золотистым,
И гаснет всё; и с высоты
Необозримого эфира,
Толпой видений окружен,
На крыльях легкого зефира
Спустился друг природы — сон...

Его влиянию покорный,
Забот и воли мирный сын,

Покой вкушает благотворный
Трудолюбивый селянин.
Богатый духом безмятежным,
Он спит в кругу своей семьи,
Под кровом верным и надежным
Давно испытанной любви.
И счастлив в незавидной доле!
Его всегда лелеют сны:
Он видит вечно луг и поле,
И поцелуй своей жены.
И он — заране утомленный
Слепой фортуной сибарит, —
И он от бедного сокрыт
На ложе неги утонченной!
Напрасно голос гробовой
Страданья тяжкого взывает:
Он никогда не возмущает
Его души полуживой!
И пусть таит глухая совесть
Свою докучливую повесть:
Ее ужасно прочитать
Во глубине души убитой!
Ужасно небо призывать
Деснице, кровию облитой!..

Едва заметною грядой —
Громад воздушных ряд зыбучий —
Плывут во тьме седые тучи,
И месяц бледный, молодой,
Закрытый их печальной тканью,
Прорезал дальний горизонт
И над гремучею Кубанью
Глядится в новый Геллеспонт...
Бывало, бодрый и безмолвный,
Казак на пагубные волны
Вперяет взор сторожевой:
Нередко их знакомый ропот
Таил коней татарских топот
Перед тревогой боевой;
Тогда винтовки смертоносной
Нежданный выстрел вылетал —

И хищник смертию поносной
На бреге русском погибал;
Или толпой ожесточенной
Врывались злобные враги
В шатры Защиты изумленной —
И обагряли глубь реки
Горячей кровью казаки.
Но миновало время брани,
Смирился дерзостный джигит,
И редко-редко на Кубани
Свинец убийственный свистит.
Молчаньем мрачным и печальным
Окрестность битв обложена,
И будто миром погребальным
Убита бранная страна...

Всё дышит негою прохладной,
Всё спит... Но что же сон отрадный,
В тиши таинственных ночей,
Не посетит моих очей?
Зачем зову его напрасно?
Иль в самом деле так ужасно
Утратить вольность и покой?..

Ужель они невозвратимы,
Кумиры юности моей,
И никогда не укротимы
Порывы сильные страстей?..
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Ах, кто мечте высокой верил,
Кто почитал коварный свет
И на заре весенних лет
Его ничтожество измерил;
Кто погубил, подобно мне,
Свои надежды и желанья;

Пред кем разрушились вполне
Грядущей жизни упованья;
Кто сир и чужд перед людьми,
Кому дадут из сожаленья
Иль ненавистного презренья
Когда-нибудь клочок земли, —
Один лишь тот меня оценит,
Моей тоски не обвинив,
Душевным чувствам не изменит
И скажет: «Так, ты несчастлив!»
Как брат к потерянному брату,
С улыбкой нежной подойдет,
Слезу страдальную прольет
И разделит мою утрату!..
. . . .
Лишь он один постигнуть может,
Лишь он один поймет того,
Чье сердце червь могильный гложет!
Как пальма в зеркале ручья,
Как тень налетная в лазури,
В нем отразится после бури
Душа унылая моя!..
Я буду — он, он будет — я,
В одном из нас сольются оба,
И пусть тогда вражда и злоба,
И смерть, и заступ гробовой
Шумят над нашей головой!..
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
Но где же он, воображенье
Очаровавший идеал —
Мое прелестное виденье
Среди пустых, туманных скал?
Подобно грозным исполинам,
Они чернеют по равнинам
В своей бесстрастной красоте;
Лишь иногда на высоте
Или в развалинах кремнистых,
Мелькая парой глаз огнистых,
Кабан свирепый пробежит;

Или орлов голодных стая,
С пустынных мест перелетая,
На время сон их возмутит.
А я на камне одиноком,
Рушитель общей тишины,
Сижу в забвении глубоком,
Как дух подземной стороны.
И пронесутся дни и годы
Своей обычной чередой,
Но мне покоя и свободы
Не возвратят они с собой!

<1832>

ОЖИДАНИЕ

Как долго ждет
Моя любовь —
Зачем нейдет
Моя Любовь?
Пора давно!
Часы летят
И все одно
Любви твердят:
Скорей, скорей
Ловите нас,
Пока Морфей
Скрывает вас
От зорких глаз!..
Поет петух,
Пропел другой —
И пылкий дух
Убит тоской:
Всё нет и нет!
Редеет тень
И брезжит свет,
И скоро день...
Спеши, спеши,
Моя Любовь,
И утуши
Мою любовь!..

<1832>

МОРЕ

Я видел море, я измерил
Очами жадными его;
Я силы духа моего
Перед лицом его поверил.
«О море, море! — я мечтал
В раздумье грустном и глубоком, —
Кто первый мыслил и стоял
На берегу твоем высоком?
Кто, не разгаданный в веках,
Заметил первый блеск лазури,
Войну громов и ярость бури
В твоих младенческих волнах?
Куда исчезли друг за другом
Твоих владельцев племена,
О коих весть нам предана
Одним злопамятным досугом?
. . . .
. . . .
Всегда ли, море, ты почило
В скалах, висящих надо мной?
Или неведомая сила,
Враждуя с мирной тишиной,
Не раз твой образ изменила?
Что ты? Откуда? Из чего?
Игра случайная природы
Или орудие свободы,
Воззвавшей всё из ничего?
Надолго ль влажная порфира
Твоей бесстрастной красоты
Осуждена блистать для мира
Из недр бездонной пустоты?»
Вот тайный плод воображенья
Души, волнуемой тоской,
За миг невольный восхищенья
Перед пучиною морской!..
Я вопрошал ее... Но море,
Под знойным солнечным лучом,
Сребрясь в узорчатом уборе,
Меж тем лелеялось кругом
В своем покое роковом.

Через рассыпанные волны
Катились груды новых волн,
И между них, отваги полный,
Нырял пред бурей утлый челн.
Счастливец, знаешь ли ты цену
Смешного счастья твоего?
Смотри на челн — уж нет его:
В отваге он нашел измену!..
В другое время на брегах
Балтийских вод, в моей отчизне,
Красуясь цветом юной жизни,
Стоял я некогда в мечтах;
Но те мечты мне сладки были:
Они приветно сквозь туман,
Как за волной волну, манили
Меня в житейский океан.
И я поплыл... О море, море!
Когда увижу берег твой?
Или, как челн залетный, вскоре
Сокроюсь в бездне гробовой?

<1832>

ВОДОПАД

Между стремнин с горы высокой
Ручьи прозрачные журчат,
И вдруг, сливаясь в ток широкой,
Являют грозный водопад.
Громады волн буграми хлещут
В паденьи быстром и крутом
И, разлетевшись, ярко блещут
Вокруг серебряным дождем;
Ревет и стонет гул протяжный
По разорвавшейся реке
И, исчезая с пеной влажной,
Смолкает глухо вдалеке.
Вот наша жизнь! вот образ верный
Погибшей юности моей! —
Она в красе нелицемерной
Сперва катилась, как ручей;

Потом, в пылу страстей безумных,
Быстра, как горный водопад,
Исчезла вдруг при плесках шумных,
Как эха дальнего раскат.
Шуми, шуми, о сын природы!
Ты безотрадною порой
Певцу напомнил блеск свободы
Своей свободною игрой!

<1832>

РОМАНСЫ

1

Пышно льется светлый Терек
В мирном лоне тишины;
Девы юные на берег
Вышли встретить пир весны.

Вижу игры, слышу ропот
Сладкозвучных голосов,
Слышу резвый, легкий топот
Разноцветных башмачков.

Но мой взор не очарован
И блестит не для побед —
Он тобой одним окован,
Алый шелковый бешмет!

Образ девы недоступной,
Образ строгой красоты
Думой грустной и преступной
Отравил мои мечты.

Для чего у страсти пылкой
Чародейной силы нет —
Превратиться невидимкой
В алый шелковый бешмет?

Для чего покров холодный,
А не чувство, не любовь,
Обнимает, жмет свободно
Гибкий стан, живую кровь?

<1832>

II

Утро жизнью благодатной
Освежило сонный мир,
Дышит влагою прохладной
Упоительный зефир.

Нега, радость и свобода
Торжествуют юный день;
Но в моих очах природа
Отуманена, как тень.

Что мне с жизнью, что мне с миром?
На душе моей тоска
Залегла, как над вампиром
Погребальная доска.

Вздох волшебный сладострастья
С стоном девы пролетел,
И в груди за призрак счастья
Смертный хлад запечатлел.

Уж давно огонь объятий
На злодее не горит,
Но над ним, как звук проклятий,
Этот стон ночной гремит.

О, исчезни, стон укорный,
И замри, как замер ты
На устах красы упорной
Под покровом темноты!

<1832>

III

Одел станицу мрак глубокой...
Но я казачкой осужден
Увидеть снова прежний сон
На ложе скуки одинокой.

И знаю я, приснится он,
Но горе деве непреклонной!
Приснится завтра ей, не сонной,
Коварный сон, мятежный сон.

Моей любви нетерпеливость
Утушит детскую боязнь,
Узнает счастие и казнь
Ее упорная стыдливость.

Станицу скроет темнота,
Но уж не мне во мраке ночи,
А ей предстанет перед очи
Неотразимая мечта.

И юных персей трепетанье,
И ропот уст, и жар ланит —
Всё сладко, сладко наградит
Меня за тайное страданье.

<1832>

ЧЕРКЕССКИЙ РОМАНС

Под тенью дуба векового,
В скале пустынной и крутой,
Сидит враг путника ночного —
Черкес красивый и младой.
Но он не замысел лукавый
Таит во мраке тишины,
Не дышит гибельною славой,
Не жаждет сечи и войны.
Томимый негой сладострастной,
Черкес любви минуту ждет
И так, в раздумье о прекрасной,
Свою тоску передает:

«Близка, близка пора свиданья!
Давно кипит и стынет кровь,
И просит верная любовь
Награды сладкой за страданья.
Где ты? спеши ко мне, спеши,
Джембе, душа моей души!
Покойно всё в ауле сонном,
Оставь ревнивых стариков:
Они узреть твоих следов
Не могут в мраке благосклонном!
Где ты? спеши ко мне, спеши,
Джембе, душа моей души!
Звезда любви родного края,
Ты — целый мир в моих очах!
В твоей груди, в твоих устах
Заключена вся прелесть рая!
Взошла луна... Спеши, спеши,
О дева, жизнь моей души!»
И вдруг, как ветер тиховейный,
Она явилась перед ним —
И обняла рукой лилейной
С восторгом пылким и немым!
И лобызает с негой томной
И шепчет: «Милый, я твоя!..»
И вздох невольный и нескромный
Волнует сильно грудь ее...
Она его!..
                Но что мелькнуло
В седой ущелине скалы?
Что зазвенело и сверкнуло
Среди густой, полночной мглы?
Кто блещет шашкой обнаженной,
Внезапно с юношей сразясь?
Чей слышен голос разъяренный:
«Умри, с злодейкой не простясь!..»
Ее отец!.. Отрады ночи
Старик бессонный не вкусил,
Он подозрительные очи
С преступной девы не сводил;
Он замечал ее движенья,
Ее таинственный побег,

И в первый пыл ожесточенья
Дни обольстителя пресек...
Но где она? какую долю
Ей злобный рок определил?
Ужель на вечную неволю
Отец жестокий осудил,
И, изнывая в заточеньи,
Добычей гнева и стыда
Погибнет в жалком погребеньи
Любви виновной красота?..
Что с ней?.. Увы! вот дикий камень
Стоит над гробом у скалы:
Там светлых дней несчастный пламень
Давно погас — для вечной тьмы!
В тот самый миг, как друг прекрасный
В крови к ногам ее упал,
Последний вздох, прощальный, страстный,
Стеснил в груди ее кинжал!..

<1832>

МЕРТВАЯ ГОЛОВА

Из-за черных облаков
Блещет месяц в вышине,
Видны в стане казаков
Десять копий при луне.
Отчего ж она темна,
Что не светится она,
Сталь десятого копья?
Что за призрак вижу я
При обманчивой луне
На таинственном копье?
О, не призрак — наяву
Вижу вражеский укор —
Безобразную главу
Сына брани, сына гор.
Вечный сон — ее удел
На отеческих полях;
На убийственных мечах
Он к ней рано прилетел.

Пять ударов острия
Твердый череп разнесли;
Муку смерти затая,
Очи кровью затекли.
Силу дивную бойца
Злобный гений превозмог, —
Труп холодный мертвеца
В землю с честию не лег.
И глава его темнит
Сталь десятого копья,
И душа его парит
К новой сфере бытия...

. . . .

<1832>

АКТАШ-АУХ

На высоте пустынных скал,
Под ризой инеев пушистых,
Как сторож пасмурный, стоял
Дуб старый, царь дубов ветвистых.
Сражаясь с хладом облаков,
Встречая гордо луч денницы,
Один, далеко от дубров,
Служил он кровом хищной птицы.
Молниеносный ураган
Сверкнул в лазуревой пучине —
И разлетелся великан,
Как прах по каменной твердыне.
В вертепах дикой стороны,
Для чужеземца безотрадной,
Гнездились буйные сыны
Войны и воли кровожадной.
Долины мира возмущал
Брегов Акташа лютый житель;
Коварный гений охранял
Его преступную обитель.
Но где ты, сон минувших дней?
Тебя сменила жажда мщенья,

И сильный вождь богатырей
Рассеял сонм злоумышленья!
Акташа нет!.. Пробил конец
Безумству жалкого народа,
И не спасли тебя, беглец,
Твои кинжалы и природа!..
Где блещет солнце, где заря
Едва мелькает за горами —
Предстанет всюду пред врагами
Герой полночного царя.

<1832>

* * *

Бесценный друг счастливых дней,
Вина святого упованья
Души измученной моей
Под игом грусти и страданья.
Мой верный друг, мой нежный брат,
По силе тайного влеченья
Кого со мной не разлучат
Времен и мест сопротивленья.
Кто для меня и был и есть
Один и все, кому до гроба
Не очернят меня ни лесть,
Ни зависть черная, ни злоба;
Кто овладел, как чародей,
Моим умом, моею думой,
Кем снова ожил для людей
Страдалец мрачный и угрюмый, —
Бесценный друг, прими плоды
Моих задумчивых мечтаний,
Минутной резвости следы
И цепь печальных вспоминаний!
Ты не найдешь в моих стихах
Волшебных звуков песнопенья:
Они родятся на устах
Певцов любви и наслажденья...
Уже давно чуждаюсь я
Их благодатного привета,

Давно в стихии шумной света
Не вижу радостного дня...
Пою, рассеянный, унылый,
В степях далекой стороны
И пробуждаю над могилой
Давно утраченные сны...
Одну тоску о невозвратном,
Гонимый лютою судьбой,
В движеньи грустном и приятном,
Я изливаю пред тобой!
Но ты, понявши тайну друга,
Оценишь сердце выше слов
И не сменишь моих стихов
Стихами резвыми досуга
Других счастливейших певцов.

7 февраля 1832
Крепость Грозная

ФЕДОРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ КОНИ

Was sein soll — muss geschehen![1]

Я не скажу тебе, поэт,
Что греет грудь мою так живо,
И не открою сердца, — нет!
И поэтически, игриво.
Я гармоническим стихом,
В томленьи чувств перегорая,
Не выскажу тебе о том,
Чем дышит грудь полуживая,
Что движет мыслию во мне,
Как глас судьбины, глас пророка
И часто, часто в тишине
Огнем пылающего ока
Так и горит передо мной!
О, как мне жизнь тогда светлеет!
Мной всё забыто — и покой
В прохладе чувств меня лелеет.
За этот мир я б всё отдал,
За этот миг я бы не взял
И гурий неги Гаафица —

[1] Чему быть — тому не миновать! (немецк.). — *Ред.*

Он мне нужнее, чем денница,
Чем для рожденного птенца
Млеко родимого сосца!
Так... Не испытывай напрасно,
Поэт, волнения души
И искры счастия прекрасной
В ее начале не туши!
Она угаснет — и за нею
Мои глаза закрою я,
Но за могилою моею
Еще услышишь ты меня.
Лишь с гневом яростного мщенья
Оно далеко перейдет,
А всё врага найдет
В веках, грядущих поколеньях!

19 февраля 1832

ДЕМОН ВДОХНОВЕНЬЯ

Так, это он, знакомец чудный
Моей тоскующей души,
Мой добрый гость в толпе безлюдной
И в усыпительной глуши!
Недаром сердце угнетала
Непостижимая печаль:
Оно рвалось, летело вдаль,
Оно желанного искало.
И вот, как тихий сон могил,
Лобзаясь с хладными крестами,
Он благотворно осенил
Меня волшебными крылами,
И с них обильными струями
Сбежала в грудь мне крепость сил;
И он бесплотными устами
К моим бесчувственным приник,
И своенравным вдохновеньем
Душа зажглася с исступленьем,
И проглаголал мой язык:
«Где я, где я? Каких условий
Я был торжественным рабом?

Над Аполлоновым жрецом
Летает демон празднословий!»
Я вижу — злая клевета
Шипит в пыли змеиным жалом
И злая глупость, мать вреда,
Грозит мне издали кинжалом.
Я вижу, будто бы во сне,
Фигуры, тени, лица, маски;
Темны, прозрачны и без краски,
Густою цепью по стене
Они мелькают в виде пляски...
Ни па, ни такта, ни шагов
У очарованных духов...
То нитью легкой и протяжной,
Подобно тонким облакам,
То массой черной стоэтажной
Плывут, как волны по волнам...
Какое чудо! Что за вид
Фантасмагории волшебной!..
Все тени гимн поют хвалебный;
Я слышу, страшный хор гласит:
«О Ариман! О грозный царь
Теней, забытых Оризмадом!
К тебе взывает целым адом
Твоя трепещущая тварь!..
Мы не страшимся тяжкой муки:
Давно, давно привыкли к ней
В часы твоей угрюмой скуки,
Под звуком тягостных цепей;
С печальным месячным восходом
К тебе мы мрачным хороводом
Спешим, восставши из гробов,
На крыльях филинов и сов!
Сыны родительских проклятий,
Надежду вживе погубя,
Мы ненавидим и себя,
И злых и добрых наших братий!..
Когтями острыми мы рвем
Их изнуренные составы;
Страдая сами — зло за злом
Изобретаем мы, царь славы,
Для страшной демонской забавы,

Для насладженья твоего!..
Воззри на нас кровавым оком:
Есть пир любимый для него!
И в утешении жестоком,
Сквозь мрак геенны и огни
Уста улыбкой проясни!
О Ариман! О грозный царь
Теней, забытых Оризмадом!
К тебе взывает целым адом
Твоя трепещущая тварь!»
И вдруг: и треск,
И гром, и блеск —
И Ариман,
Как ураган,
В тройной короне
Из черных змей,
Предстал на троне
Среди теней!
Умолкли стоны,
И миллионы
Волшебных лиц
Поверглись ниц!..
«Рабы мои, рабы мои,
Отступники небесного светила!
Над вами власть моей руки
От вечности доныне опочила,
И непреложен мой закон!..
Настанет день неотразимой злобы —
Пожрут, пожрут неистовые гробы
И солнце, и луну, и гордый небосклон:
Всё грозно дань заплатит разрушенью —
И на развалинах миров
Узрите вы опять по тайному веленью
Во мне властителя страдающих духов!..»
И вновь: и треск,
И гром, и блеск —
И Ариман,
Как ураган,
В тройной короне
Из черных змей,
Исчез на троне
Среди теней...

Всё тихо! .. Страшные виденья,
Как вихрь, умчались по стене,
И я, как будто в тяжком сне,
Опять с своей тоской сижу наедине...
Зачем ты улетел, о демон вдохновенья! ..

<1833>

ЦЫГАНКА

Кто идет перед толпою
По широкой площади́
С загорелой красотою
На щеках и на груди?
Под разодранным покровом
Проницательна, черна,
Кто в величии суровом
Эта дивная жена? ..
Вьются локоны небрежно
По нагим ее плечам,
Искры наглости мятежно
Разбежались по очам, —
И, страшней ударов сечи,
Как гремучая река,
Льются сладостные речи
У бесстыдной с языка.
Узнаю тебя, вакханка
Незабвенной старины:
Ты коварная цыганка,
Дочь свободы и весны!
Под узлами бедной шали
Ты не скроешь от меня
Ненавистницу печали,
Друга радостного дня!
Ты знакома вдохновенью
Поэтической мечты,
Ты дарила наслажденью
Африканские цветы!
Ах, я помню... Но ужасно
Вспоминать лукавый сон;
Фараонка, не напрасно
Тяготит мне душу он!

Пронеслась с годами сила,
Я увял, — и наяву
Мне рука твоя вручила
Приворотную траву...

<1833>

РАСКАЯНИЕ

Я согрешил против рассудка,
Его на миг я разлюбил:
Тебе, степная незабудка,
Его я с честью подарил.
Я променял святую совесть
На мщенье буйного глупца,
И отвратительная повесть
Гласит безумие певца.
Я согрешил против условий
Души и славы молодой,
Которых демон празднословий
Теперь освищет с клеветой.
Кинжал коварный сожаленья
Притворной дружбы и любви
Теперь потонет без сомненья
В моей бунтующей крови.
Толпа знакомцев вероломных,
Их шумный смех, и строгий взор
Мужей значительно безмолвных,
И ропот дев неблагосклонных —
Всё мне и казнь и приговор!
Как чад неистовый похмелья,
Ты отлетела наконец,
Минута злобного веселья!
Проснись, задумчивый певец!
Где гармоническая лира,
Где барда юного венок?
Ужель повергнул их порок
К ногам ничтожного кумира?
Ужель бездушный идеал
Неотразимого разврата
Тебя, как жертву каземата,
Рукой поносной оковал?

О нет! .. Свершилось! .. Жар мятежный
Остыл на пасмурном челе...
Как сын земли, я дань земле
Принес чредою неизбежной:
Узнал бесславие, позор
Под маской дикого невежды, —
Но пред лицом Кавказских гор
Я рву нечистые одежды!
Подобный гордостью горам,
Заметным в безднах и лазури,
Я воспарю, как фимиам
С цветов пустынных к небесам,
И передам моим струнам
И рев и вой минувшей бури.

<1833>

СОН ДЕВУШКИ

Чего не видит во сне
тринадцатилетняя девушка?

Скучно девушке с старушкой
Длинный вечер просидеть наедине;
Скучно с глупою болтушкой
Песни петь о незабвенной старине.
Спится бедной за рассказом
О каком-то колдуне,
И над слухом и над глазом
Сон зацарствовал вполне.
Вот уснула — и виденья
Под Морфеевым крылом
Разнесли благотворенья
Над пылающим челом.
Видит дева сон мятежный,
Плод томительных годов,
Тайный отзыв думы нежной:
Трех красивых женихов.
Юны, пламенны и страстны,
К ней приблизились они,
Просят трое у прекрасной
Ласки девственной любви!

Пышет пламень сладострастья
В соблазнительных очах,
Ропот неги, ропот счастья
Замирает на устах.
Бьется сердце у Нанины;
Труден выбор для души:
Женихи, как три картины,
Миловидны, хороши...
Наконец, невольной силой
К одному привлечена,
Говорит она: «Мой милый,
Я тебе обречена!»
Поцелуй любви трепещет
На счастливце молодом...
Вдруг струистый пламень блещет;
Загремел подземный гром...
Всё исчезло... Засверкало
Что-то яркое в углу,
Зашумело, зажужжало,
И, как будто наяву,
Перед ней козел рогатый,
Старец с книгою в руках
И петух большой, мохнатый,
В красно-бурых завитках...
Обмерла моя Нанина,
Нет защитника нигде...
«Пресвятая Магдалина,
Не оставь меня в беде!..»
. . . .
. . . .
Снова молния сверкнула;
Призрак пагубный исчез...
Дева — «Ах!». Открыла очи, —
Вкруг постели тишина,
Лишь над ней во мраке ночи,
Как туманная луна,
Шепчет бабушка седая
Что-то с книгой и крестом:
«Пробудись, моя родная!
Ты в волнении живом:
Соблазнил тебя лукавый
Окаянною мечтой...

Призови рассудок здравый
В помощь с верою святой;
Мне самой мечтались прежде
И козлы и петухи,
Но не бойся — верь надежде:
Нам они не женихи».

<1833>

АХАЛУК

Ахалук мой, ахалук,
Ахалук демикотонный,
Ты работа нежных рук
Азиатки благосклонной!
Ты родился под иглой
Атагинки чернобровой,
После робости суровой
И любви во тьме ночной.
Ты не пышной пестротою,
Цветом гордых узденей,
Но смиренной простотою,
Цветом северных ночей
Мил для сердца и очей...
Черен ты, как локон длинный
У цыганки кочевой;
Мрачен ты, как дух пустынный —
Сторож урны гробовой;
И серебряной тесьмою,
Как волнистою струею
Дагестанского ручья,
Обвились твои края.
Никогда игра алмаза
У Могола на чалме,
Никогда луна во тьме,
Ни чело твое, о База —
Это бледное чело,
Это чистое стекло,
Споря в живости с опалом,
Под ревнивым покрывалом, —
Не сияли так светло.

Ах, серебряная змейка,
Ненаглядная струя —
Это ты, моя злодейка,
Ахалук суровый — я!

<1833>

ПРИЗВАНИЕ

В душе горит огонь любви,
Я жажду наслажденья, —
О милый мой, лови, лови
Минуту заблужденья!
Явись ко мне — явись как дух
Нежданный, беспощадный,
Пока томится, ноет дух
В надежде безотрадной,
Пока играет на челе
Румянец прихотливый,
И вижу я в туманной мгле
Звезду любви счастливой!
Я жду тебя — я вся твоя,
Покрой меня лобзаньем,
И полно жить, — и тихо я
Сольюсь с твоим дыханьем!
В душе горит огонь любви,
Я жажду наслажденья, —
О милый мой, лови, лови
Минуту заблужденья!

<1833>

СТЕПЬ

Светлый месяц из-за туч
Бросил тихо ясный луч
По степи безводной;
Как янтарная слеза,
Блещет влажная роса
На траве холодной.
Время, девица-душа!..
Из-под сени шалаша
Пролети украдкой;

Улови, прелестный друг,
От завистливых подруг
Миг любови краткой!
Не звенит ли за холмом
Милый голос?
Не сверкнул ли над плечом
Черный волос?
Не знакомое ли мне
Покрывало
В благосклонной тишине
Промелькало?
Сердце вещее дрожит;
Дева юная спешит
К тайному приюту.
Скройся, месяц золотой,
Над счастливою четой,
Скройся на минуту!
Миг волшебный пролетел,
Как виденье,
И осталось мне в удел
Сожаленье!
Скоро ль, девица-краса,
От желанья
Потемнеют небеса
Для свиданья?..

<1833>

ПЕСНЬ ГОРСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ

Зашумел орел двуглавый
Над враждебною рекой;
Прояснился путь кровавый
Перед дружною толпой.
Ты заржавел, меч булатный,
От бездейственной руки;
Заждались вы славы ратной,
Троегранные штыки!
Завизжит свинец летучий
Над бесстрашной головой,
И нагрянет черной тучей
На врага зловещий бой.

Разорвет ряды злодея
Смертоносный ураган,
И исчезнет, цепенея,
Ненавистный мусульман.
Распадутся с ярым треском
Неприступные скалы,
И зажжется новым блеском
Грозный день Гебек-Калы. [1]

<1833>

ОКНО

Там, над быстрою рекой,
Есть волшебное окно;
Белоснежною рукой
Открывается оно.
Груди полные дрожат
Из-под тени полотна;
Очи светлые блестят
Из волшебного окна...
. . . .
. . . .
И, склонясь на локоток,
Под весенний вечерок,
Миловидна, хороша
Смотрит девица-душа.
Улыбнется — и природа расцветет,
И приятней соловей в саду поет,
И над ручкою лилейной
Вьется ветер тиховейный,
И порхает,
И летает
С сладострастною мечтой
Над девицей молодой.
Но лишь только опускает раскрасавица окно,
Всё над Тереком суровым и мертво и холодно.

---

[1] Гебек-Кала, или Святая гора, хребет Салатавских гор, где генерал-лейтенант Вельяминов после упорного сражения разбил наголову Кази-Муллу, который без туфель, трубки и бурки бежал с поля сражения и едва не был захвачен в плен с своею любовницею, армянкою из города Кизляра.

Улыбнись, душа-девица,
Улыбнись, моя любовь,
И вечерняя зарница
Осветит природу вновь!
Нет! жестокая не слышит
Робкой жалобы моей
И в груди ее не пышет
Пламень неги и страстей.
Будет время, равнодушная краса,
Разнесется от печали светло-русая коса!
Сердце пылкое, живое
Загрустит во тьме ночной,
И страдание чужое
Ознакомится с тобой;
И откроешь ты ревниво
Потаенное окно,
Но любви нетерпеливой
Не дождется уж оно!

<1833>

ОТРЫВОК ИЗ ПОСЛАНИЯ К А. П. Л. . . . . у

И нет их, нет! промчались годы
Душевных бурь и мятежей,
И я далек от рубежей
Войны, разбоя и свободы...
И я, без грусти и тоски,
Покинул бранные станицы,
Где в вечной праздности девицы,
Где в вечном деле казаки;
Где молоканки очень строги
Для целомудренных невест;
Где днем и стража и разъезд,
А ночью шумные тревоги;
Где бородатый богатырь,
Всегда готовый на сраженье,
Меняет важно на чихирь
В горах отбитое именье;
Где беззаботливый старик
Всегда молчит благопристойно,

Лишь только б сварливый язык
Не возмущал семьи покойной;
Где день и ночь седая мать
Готова дочери стыдливой
Седьмую заповедь читать;
Где дочь внимает терпеливо
Совету древности болтливой,
И между тем в тринадцать лет,
В глазах святоши боязливой,
Полнее шьет себе бешмет;
. . . .
Где безукорная жена
Глядит скосясь на изувера,[1]
. . . .
. . . .
Где муж, от сабли и седла
Бежав, как тень, в покое кратком,
Под кровом мирного угла
Себе растит в забвеньи сладком
Красу оленьего чела;
Где всё живет одним развратом;[2]

Где за червонец можно быть
Жене — сестрой, а мужу братом;
Где можно резать и душить
Проезжих с солнечным закатом;
Где яд, кинжал, свинец и меч
Всегда сменяются пожаром,
И голова катится с плеч
Под неожиданным ударом;
Где, наконец, Кази-Мулла,

---

[1] Изувер — почетное титло, которым величают иногда закоренелые старообрядки воинов.

[2] Частые необходимые сношения казаков с горцами служат невольною причиною беспорядков, происходящих иногда в станицах. Кому не известны хищные, неукротимые нравы чеченцев. Кто не знает, что миролюбивейшие меры, принимаемые русским правительством для смирения буйства сих мятежников, никогда не имели полного успеха; закоренелые в правилах разбоя, они всегда одинаковы. Близкая неминуемая опасность успокаивает их на время, после опять то же вероломство, то же убийство в недрах своих благодетелей. Черты безнравственности, приведенные в сем отрывке, относятся, собственно, к этому жалкому народу.

Свирепый воин исламизма,
В когтях полночного орла
Растерзан с гидрой фанатизма,
И пал коварный Бей-Булат,[1]
И кровью злобы и раздора
Запечатлел дела позора
Отважный русский ренегат...[2]
И всё утихло: стон проклятий,
Громов победных торжество —
И сéло мира божество
На трупах недругов и братий...
Таков сей край, от древних лет,
Свидетель казни Прометея,
Войны Лукулла и Помпея
И Тамерлановых побед.

<1833>

ИВАН ВЕЛИКИЙ

Опять она, опять Москва!
Редеет зыбкий пар тумана,
И засияла голова
И крест Великого Ивана!
Вот он — огромный Бриарей,
Отважно спорящий с громами,
Но друг народа и царей
С своими ста колоколами!
Его набат и тихий звон
Всегда приятны патриоту;
Не в первый раз, спасая трон,
Он влек злодея к эшафоту!
И вас, Реншильд и Шлиппенбах,
Встречал привет его громовый,
Когда, с улыбкой на устах,
Влачились гордо вы в цепях
За колесницею Петровой!
Дела высокие славян,

[1] Бей-Булат — важное лицо в истории горских революций.
[2] Ренегат Каплунóв — беглый русский солдат, прославивший себя в горах разбоем и непримиримой ненавистью к соотечественникам.

Прекрасный век Семирамиды,
Герои Альпов и Тавриды —
Он был ваш верный Оссиан,
Звучней, чем Игорев Баян.
И он, супруг твой, Жозефина,
Железный волей и рукой,
На векового исполина
Взирал с невольною тоской!
Москва под игом супостата,
И ночь, и бунт, и Кремль в огне —
Нередко нового сармата
Смущали в грустной тишине.
Еще свободы ярой клики
Таила русская земля;
Но грозен был Иван Великий
Среди безмолвного Кремля;
И Святослава меч кровавый
Сверкнул над буйной головой,
И, избалованная славой,
Она склонилась величаво
Перед торжественной судьбой!..
Восстали царства; пламень брани
Под небом Африки угас,
И звучно, звучно с плеском дланей
Слился Ивана шумный глас!..
И где ж, когда в скрижаль отчизны
Не вписан доблестный Иван?
Всегда, везде без укоризны
Он русской правды алкоран!..
Люблю его в войне и мире,
Люблю в обычной простоте
И в пышной пламенной порфире,
Во всей волшебной красоте,
Когда во дни воспоминаний
Событий древних и живых,
Среди щитов, огней, блистаний,
Горит он в радугах цветных!..
Томясь желаньем ненасытным
Заняться важно суетой,
Люблю в раздумье любопытном
Взойти с народною толпой
Под самый купол золотой

И видеть с жалостью оттуда,
Что эта гордая Москва,
Которой добрая молва
Всегда дарила имя чуда —
Песку и камней только груда.
Без слов коварных и пустых
Могу прибавить я, что лица,
Которых более других
Ласкает матушка-столица,
Оттуда видны без очков,
Поверьте мне, как вереница
Обыкновенных каплунов...
А сколько мыслей, замечаний,
Философических идей,
Филантропических мечтаний
И романтических затей,
Всегда насчет других людей,
На ум приходит в это время!
Какое сладостное бремя
Лежит на сердце и душе!
Ах, это счастье без обмана,
Оно лишь жителя Монблана
Лелеет в вольном шалаше!
Один крестьянин полудикий
Недаром вымолвил в слезах:
«Велик господь на небесах,
Велик в Москве Иван Великий!»
Итак, хвала тебе, хвала,
Живи, цвети, Иван Кремлевский,
И, утешая слух московский,
Гуди во все колокола!..

<1833>

ИМЕНИННИКУ

Что могу тебе, Лозовский,
Подарить для именин?
Я, по милости бесовской,
Очень бедный господин!

В стоицизме самом строгом,
Я живу без серебра,
И в шатре моем убогом
Нет богатства и добра,
Кроме сабли и пера.
Жалко споря с гневной службой,
Я ни гений, ни солдат,
И одной твоею дружбой
В доле пагубной богат!
Дружба — неба дар священный,
Рай земного бытия!
Чем же, друг неоцененный,
Заплачу за дружбу я?
Дружбой чистой, неизменной,
Дружбой сердца на обмен:
Плен торжественный за плен!..
Посмотри: невольник страждет
В неприятельских цепях
И напрасно воли жаждет,
Как источника в степях.
Так и я, могучей силой
Предназначенный тебе,
Не могу уже, мой милый,
Перекорствовать судьбе...
Не могу сказать я вольно:
«Ты чужой мне, я не твой!»
Было время — и довольно...
Голос пылкий и живой
Излетел, как бури вой,
Из груди моей суровой...
Ты услышал дивный звук,
Громкий отзыв жизни новой —
И уста и пламень рук,
Будто с детской колыбели,
Навсегда запечатлели
В нас святое имя: друг!
В чем же, в чем теперь желанье
Имениннику души:
Это верное признанье
Глубже в сердце запиши!..

30 августа 1833
На Лубянке, дом Лухманова



В АЛЬБОМ Ф. А. КОНИ

Что написать, ей-ей, не знаю —
Девиц и женщин не терплю,
Лишь душу, чувство уважаю,
И ум я искренно люблю...

<1834>

ДУХИ ЗЛА

Есть духи зла — неистовые чада
Благословенного отца;
Удел их — грусть, отчаянье — отрада,
А жизнь — мученье без конца.

В великий час рождения вселенной,
Когда извлек всевышний перст
Из тьмы веков эфир одушевленный
Для хора солнцев, лун и звезд;

Когда творец торжественное слово
В премудрой благости изрек:
«Да будет прах величия основой!»
И встал из праха человек...

Тогда ему, светлы, необозримы,
Хвалу воспели небеса,
И юный мир, как сын его любимый,
Был весь — волшебная краса...

И ярче звезд и солнца золотого,
Как иорданские струи,
Вокруг его, властителя святого,
Вились архангелов рои.

И пышный сонм небесных легионов
Был ясен, свят перед творцом,
И на скрижаль божественных законов
Взирал с трепещущим челом.

Но чистый огнь невинности покорной
В сынах бессмертия потух —
И грозно пал, с гордынею упорной,
Высокий ум, высокий дух.

Свершился суд! .. Могучая десница
Подъяла молнию и гром —
И пожрала подземная темница
Богоотверженный Содом!

И плач, и стон, и вопль ожесточенья
Убили прелесть бытия,
И отказал в надежде примиренья
Ему правдивый судия.

С тех пор враги прекрасного созданья
Таятся горестно во мгле,
И мучит их, и жжет без состраданья
Печать проклятья на челе.

Напрасно ждут преступные свободы:
Они противны небесам,
Не долетит в объятия природы
Их недостойный фимиам!

8 июля 1834
Село Ильинское

* * *

Судьба меня в младенчестве убила!
Не знал я жизни *тридцать лет*,
Но ваша кисть мне вдруг проговорила:
«Восстань из тьмы, живи, поэт!»
И расцвела холодная могила,
И я опять увидел свет...

Июль 1834

К Е.....И......Б......Й

Таланты ваши оценить
Никто не в силах, без сомненья!
Того ни с чем нельзя сравнить,
Что выше всякого сравненья!..
Вы рождены пленять сердца
Душой, умом и красотою
И чувств высоких полнотою
Примерной матери и редкого отца.
О, тот постигнул верх блаженства,
Кто высшей цели идеал,
Кто все земные совершенства
В одном созданье увидал.
Кому же? Мне, рабу несчастья,
Приснился дивный этот сон —
И с тайной силой самовластья
Упал, налег на душу он.
Я вижу! нет, не сновиденье
Меня ласкает в тишине!
То не волшебное явленье
Страдальцу в дальней стороне!
Не гармоническая лира
Звучит и стонет надо мной
И из вещественного мира
Зовет, зовет меня с собой
К моей отчизне неземной!..
Нет — это вы! Не очарован
Я бредом пылкой головы...
Цепями грусти не окован
Мой дух свободный... Это вы!..
Кто, кроме вас, творящими перстами,
Единым очерком холодного свинца
Дает огонь и жизнь, с минувшими страстями,
Чертам бездушным мертвеца?
Чья кисть, назло природе горделивой,
Враждует с ней на лоске полотна
И воскрешает прихотливо,
Как мощный дух, века и времена?
Так это вы!.. Я перед вами...
Вы мой рисуете портрет —

И я мирюсь с жестокими врагами,
Мирюсь с самим собой! Я вижу новый свет!
Простите смелости безумной
Певца, гонимого судьбой,
Который, после бури шумной,
В эмали неба голубой
Следит звезду надежды благосклонной
И, счастливый, в тени приветливой садов
Пьет жадно воздух благовонный
Ароматических цветов!..

11 июля 1834
Село Ильинское

* * *

Зачем хотите вы лишить
Меня единственной отрады —
Душой и сердцем вашим быть
Без незаслуженной награды?

Вы наградили всем меня —
Улыбкой, лаской и приветом,
И если я ничто пред целым светом,
То с этих пор — я дорог для себя.

Я не забуду вас в глуши далекой,
Я не забуду вас в мятежной суете;
Где б ни был я, везде с тоской глубокой
Я буду помнить вас — везде!..

Июль 1834

ЧЕРНЫЕ ГЛАЗА

О грустно мне!.. Вся жизнь моя — гроза!
Наскучил я обителью земною!
Зачем же вы горите предо мною,
Как райские лучи пред сатаною,
Вы — черные волшебные глаза?

Увы! давно печален, равнодушен,
Я привыкал к лихой моей судьбе,
Неистовый, безжалостный к себе,
Презрел ее в отчаянной борьбе
И гордо был несчастию послушен!..

Старинный раб мучительных страстей,
Я испытал их бремя роковое;
И буйный дух и сердце огневое —
Я всё убил в обманчивом покое,
Как лютый враг покоя и людей!

В моей тоске, в неволе безотрадной
Я не страдал, как робкая жена:
Меня несла противная волна,
Несла на смерть — и гибель не страшна
Казалась мне в пучине беспощадной.

И мрак небес, и гром, и черный вал
Любил встречать я с думою суровой,
И свисту бурь, под молнией багровой,
Внимать, как муж отважный и готовый
Испить до дна губительный фиал.

И, погрузясь в преступные сомненья
О цели бытия, судьбу кляня,
Я трепетал, чтоб истина меня,
Как яркий луч, внезапно осеня,
Не извлекла из тьмы ожесточенья.

Мне страшен был великий переход
От дерзких дум до света провиденья;
Я избегал невинного творенья,
Которое б могло, из сожаленья,
Моей душе дать выспренний полет.

И вдруг оно, как ангел благодатный...
О нет! как дух карающий и злой,
Светлее дня, явилось предо мной
С улыбкой роз, пылающих весной
На мураве долины ароматной.

Явилось... всё исчезло для меня:
Я позабыл в мучительной невзгоде
Мою любовь и ненависть к природе,
Безумный пыл к утраченной свободе
И всё, чем жил, дышал доселе я...

В ее очах алмазных и приветных
Увидел я с невольным торжеством
Земной эдем! .. Как будто существом
Других миров, как будто божеством
Исполнен был в мечтаниях заветных.

И дева-рай, и дева-красота
Лила мне в грудь невыразимым взором
Невинную любовь с таинственным укором,
И пела в ней душа небесным хором:
«Люби меня... и в очи и в уста

Лобзай меня, певец осиротелый,
Как мотылек лилею поутру!
Люби меня, как милую сестру,
И снова я и к небу и к добру
Направлю твой рассудок омертвелый!»

И этот звук разгаданных речей,
И эта песнь души ее прекрасной,
В восторге чувств и неги сладострастной,
Гремели в ней, волшебнице опасной,
Сверкали в зеркале ее очей! ..

Напрасно я мой гений горделивый,
Мой злобный рок на помощь призывал:
Со мною он как друг изнемогал,
Как слабый враг пред мощным трепетал:
И я в цепях пред девою стыдливой.

В цепях! .. Творец! .. Бессильное дитя
Играет мной по воле безотчетной,
Казнит меня с улыбкой беззаботной,
И я, как раб, влачусь за ним охотно,
Всю жизнь мою страданью посвятя! ..

Но кто она, прелестное созданье?
Кому любви беспечной и живой
Приносит дар, быть может, роковой?
Увы! где тот, кто девы молодой
Вопьет в себя невинное дыханье?..

Гроза и гром!.. Ужель мои уста
Произнесут убийственное слово?
Ужели всё в подсолнечной готово
Лишить меня прекрасного земного?..
Так! я лишен, лишен — и навсегда!..

Кто видел терн колючий и бесплодный
И рядом с ним роскошный виноград?
Когда ж и где равно их оценят
И на одной гряде соединят?
Цветет ли мирт в Лапландии холодной?..

Вот жребий мой! Благие небеса!
Быть может, я достоин наказанья;
Но я с душой — могу ли без роптанья
Сносить мои жестокие страданья?
Забуду ль вас, — о черные глаза?

Забуду ль те бесценные мгновенья,
Когда с тобой как друг, наедине,
Как нежный друг, при солнце и луне
Я заводил беседы в тишине
И изнывал в тоске, без утешенья!

Когда между развалин и гробов
Блуждали мы с унылыми мечтами,
И вечный сон над мирными крестами,
И смерть, и жизнь летали перед нами,
И я искал покоя мертвецов, —

Тогда одной рассеянною думой
Питали мы знакомые сердца...
О, как близка могила от венца!
И что́ любовь — не прах ли мертвеца?..
И я склонял к могилам взор угрюмый.

И ты, бледна, с потупленной главой,
Следила ход мой, быстрый и неровный:
Ты шла за мной, под тению дубровной
Была со мной... и я наш мир духовный
Не променял на счастливый земной...

И сколько раз над нежной Элоизой
Я находил прекрасную в слезах,
Иль, затая дыханье на устах,
Во тьме ночной стерег ее в волнах,
Где иногда, под сумрачною ризой,

Бела, как снег, волшебные красы
Она струям зеркальным предавала,
А между тем стыдливо обнажала
И грудь и стан, и ветром развевало
И флер ее и черные власы...

Смертельный яд любви неотразимой
Меня терзал и медленно губил;
Мне снова мир, как прежде, опостыл...
Быть может... нет! мой час уже пробил,
Ужасный час, ничем не отвратимый!

Зачем гневить безумно небеса?
Ее уж нет!.. Она цветет и ныне...
Но где?.. Для чьей цветет она гордыни?
Чей фимиам курится для богини?..
Скажите мне, — о черные глаза!

Июль 1834

НЕГОДОВАНИЕ

Где ты, время невозвратное
Незабвенной старины?
Где ты, солнце благодатное
Золотой моей весны?
Как видение прекрасное,
В блеске радужных лучей,
Ты мелькнуло, самовластное,
И сокрылось от очей!

Ты не светишь мне по-прежнему,
Не горишь в моей груди —
Предан року неизбежному
Я на жизненном пути.
Тучи мрачные, громовые
Над главой моей шумят;
Предвещания суровые
Дух унылый тяготят.
Ах, как много драгоценного
Я в сей жизни погубил!
Как я идола презренного —
Жалкий мир — боготворил!
С силой дивной и кичливою
Добровольного бойца
И с любовию ревнивою
Исступленного жреца
Я служил ему торжественно,
Без раскаянья страдал
И рассудка луч божественный
На безумство променял!
Как преступник, лишь окованный
Правосудною рукой, —
Грозен ум, разочарованный
Светом истины нагой!
Что же?.. Страсти ненасытные
Я таил среди огня,
И друзья — злодеи скрытные —
Злобно предали меня!
Под эгидою ласкательства,
Под личиною любви
Роковой кинжал предательства
Потонул в моей крови!
Грустно видеть бездну черную
После неба и цветов,
Но грустнее жизнь позорную
Убивать среди рабов,
И, попранному обидою,
Видеть вечно за собой
С неотступной Немезидою
Безответственный разбой!
Где ж вы, громы-истребители,

Что ж вы кроетесь во мгле,
Между тем как притеснители
Торжествуют на земле!
Люди, люди развращенные —
То рабы, то палачи, —
Бросьте, злобой изощренные,
Ваши копья и мечи!
Не тревожьте сталь холодную —
Лютой ярости кумир!
Вашу внутренность голодную
Не насытит целый мир!
Ваши зубы кровожадные
Блещут лезвием косы —
Так грызитесь, плотоядные,
До последнего, как псы! ..

<1835>

НА БОЛЕЗНЬ ЮНОЙ ДЕВЫ

Ты ли, ангел ненаглядный,
Ты ли, дева — алый цвет, —
Изнываешь безотрадно
В полном блеске юных лет?
На тебя ль недуг туманный,
В пышном празднике весны,
Налетел, как враг нежданный,
Из далекой стороны?
Скучен, грустен взор печальный
Голубых твоих очей —
Он, как факел погребальный,
Блещет в сумраке ночей.
Развился пушистый волос
На увядших раменах;
Нет улыбки, томный голос
Слабо ропщет на устах.
И для чувства наслажденья,
И для неги и любви
Ты мертва, огонь мученья
Пробежал в твоей крови! ..
И когда ж бальзам природы —
Утешитель бытия —

Воскресит и для свободы
И для счастия тебя?

Верь мне, дева, с ранним утром,
В те часы, когда росой,
Будто светлым перламутром,
Будто яркою слезой
Окристаллятся поляны
И весенние цветы,
И денницы луч багряный
Блещет мирно с высоты,
И тогда, как ночью сонной
Осенен безмолвный мир
И прохладно, благовонно
Веет сладостный зефир, —
Я дремотою отрадной
Не сомкну моих очей
И встречаю с грустью хладной
Свет зари и тьму ночей!..
Что́ мне солнце, что́ мне звезды!
Что́ мне ясная лазурь!
Я в груди, как в лоне бездны,
Затаил весь ужас бурь...
Дева-солнце, дева-радость,
Ты явилась мне в тиши,
И слетела жизни сладость
В глубину моей души!
Я знакомые страданья
На мгновенье позабыл —
И любви и упованья
Чашу полную испил.
Я мечтал... но дух упорный,
Мой гонитель на земле,
Луч надежды благотворной
Потопил в глубокой мгле.
Где ты, что ты, образ милый?
Я ищу тебя, но ты —
Только призрак лишь унылый
Изнуренной красоты!..

<1835>

БАЮ-БАЮШКИ-БАЮ

В темной горнице постель;
Над постелью колыбель;
В колыбели с полуночи
Бьется, плачет что есть мочи
Беспокойное дитя...
Вот, лампаду засветя,
Черноброва молодая
Суетится, припадая
Белой грудью к крикуну,
И лелеет, и ко сну
Избалованного клонит,
И поет, и тихо стонет
На чувствительный распев
Девяностолетних дев:

Усыпительная песня

«Да усни же ты, усни,
Мой хороший молодец!
Угомон тебя возьми,
О постылый сорванец!
Баю-баюшки-баю!

Уж и есть ли где такой
Сизокрылый голубок,
Ненаглядный, дорогой,
Как мой миленький сынок?
Баю-баюшки-баю!

Во зеленом во саду
Красно вишенье растет;
По широкому пруду
Белый селезень плывет.
Баю-баюшки-баю!

Словно вишенье румян,
Словно селезень он бел —
Да усни же ты, буян!
Не кричи же ты, пострел!
Баю-баюшки-баю!

Я на золоте кормить
Буду сына моего;
Я достану, так и быть,
Царь-девицу для него...
Баю-баюшки-баю!

Будет важный человек
Будет сын мой генерал...
Ну, заснул... хоть бы навек!
Побери его провал!
Баю-баюшки-баю!»

Свет потух над генералом;
Чернобровка покрывалом
Обвернула колыбель —
И ложится на постель...
В темной горнице молчанье,
Только тихое лобзанье
И неясные слова
Были слышны раза два...
После, тенью боязливой,
Кто-то, чудилося мне,
Осторожно и счастливо,
При мерцающей луне,
Пробирался по стене.

<1835>

АВТОР И ЧИТАТЕЛЬ

Автор

Позвольте вам поднесть
Тетрадь моих стихов...

Читатель

Извольте.

Автор

Прикажете прочесть
С полдюжины листов?

Читатель

Увольте!

А в т о р
Статейки хороши —
Вот эти, например...

Ч и т а т е л ь
Прекрасны.

А в т о р
А сколько в них души!
А рифмы, а размер!

Ч и т а т е л ь
Ужасны!

А в т о р
Хочу, чтобы меня
Князь Шаликов хвалил.

Ч и т а т е л ь
Отрадно.

А в т о р
Почтеннейшему я
Две книги подарил.

Ч и т а т е л ь
Ну, ладно.

А в т о р
Я вижу, от стихов
Вы любите зевать?

Ч и т а т е л ь
Безмерно

А в т о р
Плодом моих трудов
Нельзя пренебрегать.

Ч и т а т е л ь
О, верно...

Автор
Желаю вас спросить:
Вы шутите иль нет?

Читатель
Немного.

Автор
Прошу не позабыть,
Что колкий я поэт...

Читатель
Как строго!

Автор
Сатиру в целый том
И сотню эпиграмм...

Читатель
О боже!

Автор
Во гневе роковом
Готовлю я врагам...

Читатель
И что же?

Автор
Узнаете же вы,
Что значу я между...

Читатель
Глупцами?

Автор
Восплещет пол-Москвы
Правдивому суду...

Читатель
Над вами!

<1835>

РАЗОЧАРОВАНИЕ

Была пора — за милый взгляд
Очаровательно-притворный
Платить я жизнию был рад
Красе обманчиво-упорной!
Была пора — и ночь и день
Я бредил хитрою улыбкой,
И трудно было мне, и лень
Расстаться с жалкою ошибкой.
Теперь пора веселых снов
Прошла, рассорилась с поэтом —
И я за пару нежных слов
Себя безумно не готов
Отправить в вечность пистолетом.
Теперь хранит меня судьба:
Пленяюсь женщиной, как прежде,
Но разуверился в надежде
Увидеть розу без шипа.

<1835>

САРАФАНЧИК

Мне наскучило, девице,
Одинешенькой в светлице
Шить узоры серебром!
И без матушки родимой
Сарафанчик мой любимый
Я надела вечерком —
Сарафанчик,
Расстеганчик!

В разноцветном хороводе
Я играла на свободе
И смеялась, как дитя!
И в светлицу до рассвета
Воротилась; только где-то
Разорвала я, шутя,
Сарафанчик,
Расстеганчик!

Долго мать меня журила,
И до свадьбы запретила
Выходить за ворота;
Но за сладкие мгновенья
Я тебя без сожаленья
Оставляю навсегда,
Сарафанчик,
Расстеганчик!

<1835>

КАРТИНА

О толстый муж, и поздно ты и рано
С чахоточной женой сидишь за фортепьяно,
И царствует тогда и смех и тишина...
О, толстый муж! о, тонкая жена!
Приходит мне на мысль известная картина:
Танцующий медведь с наряженной козой...
О, если б кто-нибудь увидел господина,
Которого теперь я вижу пред собой,
То верно бы сказал: премудрая природа,
Ты часто велика, но часто и смешна!
Простите мне, но вы — два страшные урода,
О, толстый муж! о, тонкая жена!

<1835>

ГЛУПОЙ КРАСАВИЦЕ

Как бюст Венеры, ты прекрасна;
Но, без души и без огня,
Как хладный мрамор, для меня
Ты, к сожаленью, не опасна.
Ты рождена, чтобы служить
В лукавой свите Купидона, —
Но прежде должно оживить
Тебя резцом Пигмалиона.

<1835>

АТЕИСТУ

Не оглушайте вы меня
Ни вашим карканьем, ни свистом
Против начала бытия!
Смотря внимательно на вас,
Я не могу быть атеистом:
Вы без души, ума и глаз!

<1835>

НАПРАСНОЕ ПОДОЗРЕНИЕ

«Нет! это, друг, не сновиденье:
Я вижу, у тебя есть женский туалет!
Женат ты?» — «Нет...» —
«Не может быть!» — «Какое подозренье!
Ты знаешь сам: я женщин не терплю». —
«Откуда ж у тебя явились папильотки?» —
«О милый мой! поверь, не от красотки:
Нередко завивать собачку я люблю!»

<1835>

НА ПАМЯТЬ О СЕБЕ

Враждуя с ветреной судьбой,
Всегда я ветреностью болен,
И своенравно не доволен
Никем, — а более собой.
Никем — за то, что черным ядом
Сердца людей напоены;
Собой — за то, что вечным адом
Душа и грудь моя полны.
Но есть приятные мгновенья!..
Я испытал их между вас,
И, верьте, с чувством сожаленья
Я вспомяну о них не раз.

1835 или 1836

ОТЧАЯНИЕ

Он ничего не потерял, кроме надежды.
А. П<ушкин>

О, дайте мне кинжал и яд,
Мои друзья, мои злодеи!
Я понял, понял жизни ад,
Мне сердце высосали змеи!..
Смотрю на жизнь, как на позор —
Пора расстаться с своенравной
И произнесть ей приговор
Последний, страшный и бесславный!
Что в ней? Зачем я на земле
Влачу убийственное бремя?..
Скорей во прах!.. В холодной мгле
Покойно спит земное племя:
Ничто печальной тишины
Костей иссохших не тревожит,
И череп мертвой головы
Один лишь червь могильный гложет.
Безумство, страсти и тоска,
Любовь, отчаянье, надежды
И всё, чем славились века,
Чем жили гении, невежды, —
Всё праху, всё заплатит дань,
До той поры, пока природа
В слух уничтоженного рода
Речет торжественно: «Восстань!»

<1836>

РУССКИЕ ПЕСНИ

I

Разлюби меня, покинь меня,
Доля, долюшка железная!
Опротивела мне жизнь моя,
Молодая, бесполезная!

Не припомню я счастливых дней —
Не знавал я их с младенчества!

Для измученной души моей
Нет в подсолнечной отечества!

Слышал я, что будто божий свет
Я увидел с тихим ропотом,
А потом житейских бурь и бед
Не избегнул горьким опытом.

Рано-рано ознакомился
Я на море с непогодою;
Поздно-поздно приготовился
В бой отчаянный с невзгодою!

Закатилася звезда моя,
Та ль звезда моя туманная,
Что следила завсегда меня,
Как невеста нежеланная!

Не ласкала, не лелеяла,
Как любовница заветная,
Только холодом обвеяла,
Как изменница всесветная!

<1836>

II

Долго ль будет вам без умолку идти,
Проливные, безотрадные дожди?
Долго ль будет вам увлаживать поля?
Осушится ль скоро мать-сыра-земля?
Тихий ветер свежий воздух растворит —
И в дуброве соловей заголосит.
И придет ко мне, мила и хороша,
Юный друг мой, красна-девица-душа.

Соловей мой, соловей,
Ты от бури и дождей,
Ты от пасмурных небес
Улетел в дремучий лес.
Ты не свищешь, не поешь —
Солнца ясного ты ждешь!

Дева-девица моя,
Ты от бури и дождя
И печальна и грустна,
В терему схоронена!
К другу милому нейдешь —
Солнца ясного ты ждешь!

Перестаньте же без умолку идти,
Проливные, безотрадные дожди!
Дайте вёдру, дайте солнцу проглянуть!
Дайте сердцу после горя отдохнуть!
Пусть, как прежде, и прекрасна и пышна,
Воцарится благотворная весна,
Разольется в звонкой песне соловей —
И я снова, сладострастней и звучней,
Расцелую очи девицы моей!

<1836>

КРАСНОЕ ЯЙЦО

А. П. Лозовскому

1

В те времена, когда вампир
Питался кровию моей,
Когда свобода, мой кумир,
Узнала ужасы цепей;
Когда, поверженный во мгле,
С клеймом проклятья на челе,
В последний раз на страшный бой,
На беспощадную борьбу,
Пылая местью роковой,
Я вызывал свою судьбу;
Когда, сурова и грозна,
Секиру тяжкую она
Уже подъяла надо мной —
И разлетелся бы мой щит,
Как вал девятый и седой,
Ударясь смело о гранит;
Когда в печальной тишине
Я лютой битвы ожидал, —

Тогда как вестник мира мне
Ты неожиданно предстал!
Мою бунтующую кровь
С умом мятежным помирил
И в душу мрачную любовь
К постыдной жизни водворил...
Так солнца ясного лицо
Рассеивает ночи тень,
Так узнику в великий день
Даруют красное яйцо!

2

Всему в природе есть закон:
Луна сменяется луной,
И годы мчит река времен
Невозвратимою волной!
Лучи обманчивых надежд
Еще горят во тьме ночей...
. . . .
. . . .
Моя судьба — то иногда
Мне улыбнется вдалеке,
То, как знакомая мечта,
Опять с секирою в руке
И опершись на эшафот,
Мне безотрадно предстает...
Тоска, отчаянье и грусть
Мрачат лазурный небосклон
Певца, который наизусть
Врагом и другом затвержен...
Безмолвен, мрачен и угрюм,
Я дань бесславию плачу
И, в вечном вихре черных дум,
Оковы тяжкие влачу!..
. . . .
Лишь ты один меня постиг...
Кому, скажи, как не тебе,
Знаком в убийственной судьбе
Прямой души моей язык?..
Не ты ль один моих страстей
Прочел заветную скрижаль

И разгадал, быть может, в ней
Туманной будущности даль?
Не ты ли дикий каземат
Преобразил, волшебник мой,
В цветник приятный и живой,
В весенний скромный вертоград?

3

И пронеслося много лет
С тех пор, когда явился ты,
Как животворный тихий свет
Ко мне, в обитель темноты...
И где воинственный Кавказ
С его суровой красотой,
Где я с унылою мечтой
Бродил, страдал, но не угас!
Где дни отрады, новых мук,
Свиданий новых и разлук,
Минуты дружеских бесед,
Порывы бешеных страстей
И все и всё?.. Их больше нет,
Они лишь в памяти моей.
Но сам я здесь, опять с тобой,
С тобою, верный, милый друг,
Как гул протяжный, тихий звук
Иль эхо с арфой золотой!..

Апрель 1836
Москва

ТРИ НАЦИИ

I

Британский лорд
Свободой горд,
Упрям и тверд,
Как патриот.
Он любит честь,
Он любит есть,
И после сесть
На пароход.

II

Француз — герой!
Он вам порой
Грозит бедой.
Как великан
Встает, как лев,
Откроет зев,
И... прямо в хлев,
Баран, баран!

III

Германец смел,
Но поседел
От важных дел.
Заботы тьма:
Сиди кури,
Пиши да ври —
Да и умри!
Сошел с ума!

<1837>

ОН И ОНА

Il lui dit une sottise —
elle lui répond par une autre.

N. M.[1]

О н

В последний раз, прекрасная, скажи:
Любим ли я хоть несколько тобою?

О н а

О, милый друг! мне суждено судьбою
Быть от тебя без сердца и души.

О н

Творец, я жив! — Но, ангел лучезарный,
Зачем же ты не хочешь доказать? ..

[1] Он сказал ей глупость — она ему ответила другой. Н. М. (франц.). — *Ред.*

Она

Моей любви? Злодей неблагодарный!
Давно бы мог об этом мне сказать!

Он

Иди за мной: в тени густой дубровы
Узнаешь ты миг счастья золотой!

Она

Иду, и знай: Лукреции суровой
Ты не найдешь во мне, Тарквиний молодой!

<1837>

УДИВИТЕЛЬНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ОДНОГО СТИХОТВОРЦА

«Enfant, pourquoi pleurez vous?» —
«J'ai brisé mon miroir».

V.[1]

Два дня, две ночи он писал,
На третью наконец устал;
Уснул — и что ж? О, удивленье!
Окончил сонный сочиненье.
Вдруг видит он
Престрашный сон,
Что будто демонская сила
Со всех сторон
Его в постели окружила,
И будто сам верховный бес,
Мохнатый,
Как уголь черный и рогатый,
Под занавес
К нему залез...
Вот он встает, творит молитву —
И вызвал демона на битву.
Не знаю, долго или нет
Продлилось грозное явленье;

[1] «Почему вы плачете, дитя?» — «Я разбила свое зеркало». В. (франц.). — *Ред.*

Но только выиграл поэт
Великое сраженье:
Всю крепость мышц своих собрал
И черта бедного на части разорвал...
Но с кем он именно сражался?
Ужель никто не угадал?
Ему нечистым показался
Его стихов оригинал!
Что, если бы в жару подобных сновидений
Кончались точно так
И многие из русских сочинений?
Но нет! умен лукавый враг,
И в этой жизни он никак
Не хочет нас оставить без мучений!

<1837>

КОГДА-ТО

Hélas![1]

Когда-то много кой-чего
Она с улыбкой мне сулила,
И после — что же? Ничего!..
Как всем, с улыбкой изменила!
Когда-то с ней наедине,
Мечтой волшебной упоенный,
Я предавался, весь в огне,
Порывам страсти исступленной!

<1837>

К М...Е А....Е Я.....Й

К чему вам служит ум, когда вы так прекрасны?
Зачем вам красота, когда вы так умны?
И ум и красота природой вам даны...
Скажите ж, для чего вы сердца не опасны?

<1837>

[1] Увы! (франц.). — *Ред.*

КАРТИНА

Chaque étoile à son tour vient
apparaître au ciel.

H⟨ugo⟩[1]

Как ты божественно прекрасна,
О дева, рай моих очей!
Как ты без пламенных речей
Красноречиво сладострастна!
Для наслажденья и любви
Ты создана очарованьем;
Сама любовь своим дыханьем
Зажгла огонь в твоей крови!
Свежее розы благовонной
Уста румяные твои;
Лилейный пух твоей груди
Трепещет негой благосклонной!
И этой ножки белизна,
И эта темная волна
По лоску бархатного тела,
И этот стан зыбучий, смелый —
Соблазн и взора и руки —
Манят и мучат, и терзают,
И безотрадно растравляют
Смертельный яд моей тоски!
Друзья мои! (Я своевольно
Хочу везде иметь друзей,
Хоть друг, предатель и злодей —
Одно и то же! Очень больно,
Но так и быть!) Друзья мои!
Я вижу часто эту пери:
Она моя! замки и двери
Меня не разлучают с ней!..
И днем и позднею порою,
В кругу заветном и один
Любуюсь я, как властелин,
Ее волшебною красою!
Могу лобзать ее всегда

[1] Каждая звездочка в свою очередь показывается на небе. Г<юго> (франц.). — *Ред.*

В чело, и в очи, и в уста
И тайны грации стыдливой
Ласкать рукою прихотливой.
«Счастливец!» — скажете вы мне.
Напрасно... Всё мое блаженство,
Всё милой девы совершенство
И вся она — *на полотне!*

<1837>

ОЖИДАНИЕ

I

Напрасно маменька при мне
Всегда бывает безотлучно:
Мне на пятнадцатой весне
При ней, ей-богу, что-то скучно!

II

Нельзя природу обмануть,
Я это очень замечаю
И уж давно кого-нибудь
Я будто жду — и не встречаю!

III

Но он, желаемый, придет,
Рассеет думу роковую,
И роза бледная вопьет
В себя росинку дождевую!

<1837>

ТЮРЬМА

«Воды, воды! ..» Но я напрасно
Страдальцу воду подавал...

А. П<ушкин>

1

За решеткою, в четырех стенах,
Думу мрачную и любимую
Вспомнил молодец, и в таких словах
Выражал он грусть нестерпимую:

2

«Ох ты, жизнь моя молодецкая!
От меня ли, жизнь, убегаешь ты,
Как бежит волна москворецкая
От широких стен каменно́й Москвы!

3

Для кого же, недоброхотная,
Против воли я часто ратовал,
Иль, красавица беззаботная,
День обманчивый тебя радовал?

4

Кто видал, когда на лихом коне
Проносился я степью знойною?
Как сдружился я, при седой луне,
С смертью раннею, беспокойною?

5

Как таинственно заговаривал
Пулю верную и метелицу,
И приласкивал и умаливал
Ненаглядную красну-девицу?

6

Штофы, бархаты, ткани цветные
Саблей острою ей отмеривал,
И заморские вина светлые
В чашах недругов после пенивал?

7

Знали все меня — знал и стар и млад,
И широкий дол, и дремучий лес...
А теперь на мне кандалы гремят,
Вместо песен я слышу звук железа...

8

Воля-волюшка драгоценная!
Появись ты мне, несчастливому,
Благотворная, обновленная —
Не отдай судье нечестивому!..»

9

Так он, молодец, в четырех стенах,
Страже передал мысль любимую;
Излилась она, замерла в устах —
И кто понял грусть нестерпимую?..

<1837>

ОСУЖДЕННЫЙ

Нас было двое — брат и я...
А. П<ушкин>

1

Я осужден! К позорной казни
Меня закон приговорил!
Но я печальный мрак могил
На плахе встречу без боязни,
Окончу дни мои, как жил.

2

К чему раскаянье и слезы[1]
Перед бесчувственной толпой,
Когда назначено судьбой
Мне слышать вопли и угрозы
И гул проклятий за собой?

3

Давно душой моей мятежной
Какой-то демон овладел,
И я зловещий мой удел,
Неотразимый, неизбежный,
В дали туманной усмотрел...

4

Не розы светлого Пафоса,
Не ласки гурий в тишине,
Не искры яхонта в вине, —
Но смерть, секира и колеса
Всегда мне грезились во сне!

5

Меня постигла дума эта
И ознакомилась со мной,
Как холод с южною весной,
Или фантазия поэта
С унылой северной луной.

---

[1] К чему раскаянье и слезы и проч...
Это язык человека, закоренелого в злодействах. Отчаяние, верный спутник целой его жизни, оскверненной преступлениями, не оставляет своего любимца и на ступенях эшафота. Дантон, среди Конвента, читает оду Грекура, тогда как ему произносят смертный приговор; Анахарсис Клоц проповедует атеизм на гильотине, окруженный отрубленными головами его сообщников. Редко великие злодеи перед смертью говорят языком праведника.

6

Мои утраченные годы
Текли, как бурные ручьи,
Которых мутные струи
Не серебрят, а пенят воды
На лоне илистой земли.

7

Они рвались, они бежали
К неверной цели без препон;
Но быстрый бег остановлен,
И мне размах холодной стали
Готовит праведный закон.

8

Взойдет она, взойдет, как прежде,
Заутра ранняя звезда,
Проснется неба красота, —
Но я, я небу и надежде
Скажу: «Простите навсегда!»

9

Взгляну с улыбкою печальной
На этот мир, на этот дом,
Где я был с счастьем незнаком,
Где я, как факел погребальный,
Горел в безмолвии ночном;

10

Где, может быть, суровой доле
Я чем-то свыше обречен,
Где я страстями заклеймен,
Где чем-то свыше, поневоле
Я был на время заключен;

11

Где я... Но что? .. Толпа народа
Уже кипит на площади...
Я слышу: «Узник, выходи!»
Готов — иду! .. Прости, природа!
Палач, на казнь меня веди! ..

<1837>

ИЗ VIII ГЛАВЫ ИОАННА
(ГРЕШНИЦА)

И говорят ему: «Она
Была в грехе уличена
На самом месте преступленья.
А по закону мы ее
Должны казнить без сожаленья:
Скажи нам мнение свое!»

И на лукавое воззванье
Храня глубокое молчанье,
Он нечто — грустен и уныл —
Перстом божественным чертил!

И наконец сказал народу:
«Даю вам полную свободу
Исполнить древний ваш закон;
Но где тот праведник, где он,
Который первый на блудницу
Поднимет тяжкую десницу?»

И вновь писал он на земле...
Тогда, с печатью поношенья
На обесславленном челе,
Сокрылись дети ухищренья,
И пред лицом его одна
Стояла грешная жена!

И он, с улыбкой благотворной,
Сказал: «Покинь твою боязнь!

Где обвинитель твой упорный?
Кто осудил тебя на казнь?»

Она в ответ: «Никто, учитель!» —
«Итак, и я твоей души
Не осужу, — сказал Спаситель, —
Иди в свой дом и не греши!»

<1837>

К НАБЕЛЕННОЙ КРАСАВИЦЕ

Я говорил вам, и не раз,
Скажу опять: вы милы,
Особенно когда у вас
Не в милости белилы!
К чему невинная рука,
Рабыня вялой моды,
Таит и крадет два цветка
Любимые природы?
Давно ли яркой белизне,
Не радующей взоры,
Придать позволено весне
Генварские узоры?
Ужели ландыш снеговой
И роза Гулистана
Растут по воле роковой
Искусства и обмана?
О нет! Отрада соловья,
Красавица Востока
Не переменит бытия
Из прихоти жестокой,
Влюбленной в ландыш и в себя,
Шалуньи черноокой!
Глаза ведь — зеркало души —
(Преданья вековые!) —
У вас прекрасны, хороши,
Как стрелы огневые;
Но цвет лица — другое он
Достоинство имеет:
Все тайны сердца без препон
Он высказать умеет!

Тоска любви, надежда, страх,
Невинное желанье —
Всё видно в нем, как в небесах
Блестящее сиянье!..
Зачем же милые цветки —
Румяные ланиты —
У вас завесою тоски
Безжалостно прикрыты?
О, разлюбите этот цвет:
Он страсти не обманет;
Иль поцелуем вас поэт
Невольно разрумянит!

<1837>

ГЛАЗА

Je croie parceque je croie!

V[1]

Нелепин верит — и всему,
И без понятия, и слепо;
Недум, не веря ничему,
Опровергает всё нелепо.
Скажите первому шутя,
Что муха нос ему откусит, —
При этой новости он струсит
И вам поверит, как дитя.
Потом спросите вы Недума:
Счастлив ли он своей женой
И не скрывает ли без шума
Ее фантазий, как другой?
Он вам ответит: «О, напрасно!
Я ею счастлив и богат!»
А между тем давно уж гласно,
Что он невыгодно женат...
Противоречие во мненьях —
Оригинальный их девиз.
И то же самое в явленьях
Большого света и кулис:

[1] Я верю, потому что верю! В. (франц.). — *Ред.*

Один живет слепою верой
В чужие мысли и дела;
Другой скептическою мерой
Определяет цену зла.
И тот и этот без ошибки
Судить готовы обо всем —
И, кроме жалостной улыбки
Над их мечтательным умом,
Они всё видят и покойны...
Так путник в жаркий летний день
Встречает ключ в пустыне знойной
И пальмы сладостную тень.
И кто узнал, где наш Иуда?
Когда обрушится, откуда
Неизбежимая гроза?
А для того иметь не худо
Свои хоть слабые глаза...

<1837>

ГРУСТЬ

На пиру у жизни шумной,
В царстве юной красоты
Рвал я с жадностью безумной
Благовонные цветы.
Много чувства, много жизни
Я роскошно потерял,
И душевной укоризны,
Может быть, не избежал.
Отчего ж не с сожаленьем,
Отчего — скажите мне, —
Но с невольным восхищеньем
Вспомнил я о старине?
Отчего же локон черный,
Этот локон смоляной,
День и ночь, как дух упорный,
Всё мелькает предо мной?
Отчего, как в полдень ясный
Голубые небеса,
Мне таинственно прекрасны
Эти черные глаза?

Почему же голос сладкой,
Этот голос неземной,
Льется в душу мне украдкой
Гармонической волной?
Что тревожит дух унылый,
Манит к счастию меня?
Ах, не вспыхнет над могилой
Искра прежнего огня!
Отлетели заблуждений
Невозвратные рои —
И я мертв для наслаждений,
И угас я для любви!
Сердце ищет, сердце просит
После бури уголка;
Но мольбы его разносит
Безотрадная тоска!

<1837>

БЕЛАЯ НОЧЬ

Tout va au mieux...
Candide[1]

I

Чудесный вид, волшебная краса!
Белы, как день, земля и небеса!
Вдали, кругом, холодная, немая —
Везде одна равнина снеговая;
Везде один безбрежный океан,
Окованный зимою великан!
Всё ночь и блеск! Ни облака, ни тучи
Не пронесет по небу вихрь летучий,
Не потемнит воздушного стекла...
Природа спит, уныла и светла...
Чудесный вид, волшебная краса!
Белы, как день, земля и небеса!

---

[1] Всё к лучшему... Кандид (франц.). — *Ред.*

II

Великий град на берегах Неглинной,
Святая Русь под мантией старинной,
Москва — приют радушной доброты —
Тревогой дня утомлена и ты!
Покой и мир на улицах столицы;
Еще кой-где мелькают колесницы,
Во весь опор без жалости гоня,
Извозчик бьет кой-где еще коня;
На пустырях и крик и разговоры,
И между тем бессонные дозоры...
Чудесный вид, волшебная краса!
Белы, как день, земля и небеса!

III

Зачем же ты, невинное дитя,
Так резво день минувший проведя
Между подруг примерно-благонравных,
Теперь одна, в мечтаньях своенравных
Проводишь ночь печально у окна?
Но что я? Нет! Ты, вижу, не одна:
Мне зоркий глаз, мне свет твоей лампады
Не изменят! Ах, ах, твои наряды
Упали с плеч! Дитя мое, Адель!..
Не духа ли влечешь ты на постель? [1]
Чудесный вид, волшебная краса!
Белы, как день, земля и небеса!

IV

Увы! Увы! Бессонницей томимый,
Волнуемый тоской непостижимой,
Я потерял рассеянный мой ум:
То вижу блеск, то чудится мне шум,
Невнятные, прерывные стенанья
И страстные, горячие лобзанья!
Проказница, жестокая Адель!

---

[1] Почем знать, может быть в самом деле это был дух, сильф, влетевший нечаянно или с невинным умыслом в покои милой девушки?

Да кто же он, счастливый этот Лель?
Кто этот сильф? Свершилось! Нет отрады,
Потух огонь изменницы-лампады...
Чудесный вид! Волшебная краса!
Белы, как день, земля и небеса!

<1837>

ЭНДИМИОН

Dors, cette nuit encore, d'un sommeil pur et doux.

V. H⟨ugo⟩ [1]

Ты спал, о юноша, ты спал,
Когда она, богиня скал,
Лесов и неги молчаливой,
Томясь любовью боязливой,
К тебе, прекрасна и светла,
С Олимпа мрачного сошла;
Когда одна, никем не зрима,
Тиха, безмолвна, недвижима,
Она стояла пред тобой,
Как цвет над урной гробовой;
Когда, без тайного укора,
Она внимательного взора
С тебя, как чистого стекла,
Свести, красавец, не могла —
И сладость робких ожиданий
И пламень девственных желаний
Дышали жизнью бытия
В груди божественной ея!
Ты спал... Но страстное лобзанье
Прервало сна очарованье.
Ты очи черные открыл —
И юный, смелый, полный сил,
Под тенью миртового леса,
Пред юной дщерию Зевеса
Склонил колено и чело!..
Счастливый юноша! Светло!
Редеет ночь, алеет небо!

[1] Спи еще эту ночь сном чистым и сладким. В. Г<юго> (франц.). — *Ред.*

Смотри: предшественница Феба
Открыла розовым перстом
Врата на своде голубом!
Смотри!.. Но бледная Диана
В прозрачном облаке тумана,
Без лучезарного венца
Уже спешит в чертог отца,
И снова ждет в тоске ревнивой
Покрова ночи молчаливой!

<1837>

РУССКИЙ НЕПОЛНЫЙ ПЕРЕВОД КИТАЙСКОЙ РУКОПИСИ, ВЫВЕЗЕННОЙ В 1737 ГОДУ ИЕЗУИТСКИМИ МИССИОНЕРАМИ ИЗ ПЕКИНА, НЕИЗВЕСТНОГО ПОЧИТАТЕЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

Девицы, дамы, господа!
Прошу пожаловать сюда!
Я вам немногими словами
Скажу, поверьте, не шутя,
Что за горами, за долами
И за индийскими морями
Вы не найдете с фонарями
Такого малого, как я!..
Я — диво, чудо в здешнем мире,
Во мне достоинств миллион.
Везде дивятся мне невольно
И говорят, что очень мил.
Но ведь зато на колокольне
Я воспитанье получил!..
Факир китайского собора —
Дурак набитый предо мной,
А все другие: «фора, фора!»
Кричат с поникшей головой...
Во-первых, слушайте: ей-богу,
Шайтан свидетель, я не лгу,
Во все дома найти дорогу
Без затрудненья я могу:
К соседу или несоседу,
К чужим, своим — мне всё равно,

На чай, на завтрак и к обеду
Мне быть всегда позволено!
Моя метода обращенья
С людьми всех званий и чинов
Достойна также удивленья
Глубокомысленных голов!
Встречаясь с кем-нибудь нарочно
(Хоть прежде лично и заочно
Его не знал я никогда),
Я подхожу к нему всегда
Преуниженно и учтиво
И завожу красноречиво
Весьма приятный разговор:
Про дождь, про лен, про скотный двор.[1]
Потом, без дальних объяснений,
Иду за ним без приглашений,
Являюсь запросто к жене,
Сажусь, зеваю и моргаю
И жду закуски или чаю
(Люблю поесть на стороне —
Пусть судят дурно обо мне!).
Потом иду в другое место,
Опять сижу и снова жду;
Особенно я там в ладу,
Где есть подарок мне в виду
Или красивая невеста.
Уж там не выживут меня!
Как им угодно, днем и ночью,
И стыд и совесть затая,
Я их терзаю всею мочью!
Уж там насильно я как свой!
Умен родитель мой косматый,
Он говорил мне завсегда:
«О сын мой, сын первоначатый,
Не знай ни чести, ни стыда,
Всё для тебя честно и свято,
Живи на счет других людей,
Обманывай всех человеков
И до скончанья наших веков,
Поверь, ты будешь всех умней!»

[1] Стих Пушкина.

II

Другое правило прямое
Я долгим опытом постиг:
Хвали свое, хули чужое,
Имей язвительный язык!
Я к этим правилам привык.
Всегда и всюду понемногу
Черню товарищей своих:
Того раскрашу я развратным,
Другого — пошлым дураком,
Того — невеждой неприятным,
Иного — пьяным подлецом,
И, наконец, поодиночке
Знакомых так переберу,
Что все виновны без потачки,
А я и прав, и чист, и вру!
Смеюсь! Да что же! Так и должно:
Я их обманываю всех!
И буду жить, покуда можно,
Как вор в чулане, без помех!..
Предвижу я: близка надежда...
Какой-нибудь лихой невежда,
Меня прижавши в уголке,
Ударит сильно по щеке,[1]
Но что мне плюха!.. Звук минутный,
Щелчок по носу! Bon soir!..[2]
Итак, неси же, ветр попутный,
Неси, волны морской удар,
Мою предательскую лодку
На камни, мели и пески!..
Не даром пить чужую водку
И есть чужие пирожки.

III

Еще до этого я время
Одно достоинство имел,
Мне сам лукавый это семя
Растить и множить повелел.
А именно: людей почтенных,

---

[1] Ожидание вполне совершилось.
[2] Добрый вечер! (франц.). — *Ред.*

Которых ласками я жил,
Всегда я в отзывах презренных
В знак уваженья поносил!
Судил превратно и коварно
Про каждый благородный дом
И завсегда неблагодарно
Платил за дружеский прием!
Теперь язвительным дыханьем
И черной пеной языка
Я облил с редким состраданьем
Моих друзей исподтишка.
Живут они однообразно
В стенах Пекина, без затей,
Между утех и лени праздной,
С самодовольствием детей,
И мой расчет благоразумный
И мой блистательный успех
Нередко в их беседе шумной
Заводит дружественный смех!
Улыбкой жалкою презренья
Они мне платят, гордецы,
Но я факир — пустого мщенья
Не устрашились наглецы!
Живу спокойно, заклейменный
Проклятьем бога и людей,
И, перед всеми униженный,
Жду скромно ласки и честей!..
О пол почтенный, пол прекрасный,
О мест окружных господа!
У ваших ног, как раб подвластный,
Я пресмыкаюсь завсегда, —
Внемлите ж вы мольбе последней:
Позвольте жить у вас в передней...
Всегда тарелку и поднос
Держать рука моя готова,
И буду лаять я, как пес,
На своего и на чужого.

Здесь несколько строк в китайском подлиннике совершенно изглажены временем, залиты какою-то острою краскою, и русский переводчик, при редком знании китайского языка, не в силах был связать или угадать последних идей добродетельного человека.

1837

ВЕНОК НА ГРОБ ПУШКИНА

Oh, qu'il est saint et pur le transport du poète,
Quand il voit en espoire, bravant la morte muette,
Du voyage de temps sa gloire revenir!
Sur les âges futurs, de sa hauteure sublime,
Il se penche, écoutant son lointain souvenir;
Et son nom, comme un poids jeté dans un abime,
Eveille mille échos au fond de l'avenir!

V. Hugo[1]

I

Эпоха! Год неблагодарный!
Россия, плачь! Лишилась ты
Одной прекрасной, лучезарной,
Одной брильянтовой звезды!
На торжестве великом жизни
Угас для мира и отчизны
Царь сладких песен, гений лир!
С лица земли, шумя крылами,
Сошел, увенчанный цветами,
Народной гордости кумир!

И поэтические вежды
Сомкнула грозная стрела,
Тогда как светлые надежды
Вились вокруг его чела!
Когда рука его сулила
Нам тьму надежд, тогда сразила
Его судьба, седой палач!
Однажды утро голубое
Узрело дело роковое...
О, плачь, Россия, долго плачь!
Давно ль тебя из недр пустыни полудикой
Возвел для бытия и славы Петр Великой,
Как деву робкую на трон!

[1] О, как свят и чист восторг поэта,
Когда видит он в грезах своих, презирая немую смерть,
Как растет его слава в потоке времени!
Внимая своему прошлому, он склоняется
С величественных высот своих над грядущими веками;
И имя его, как некая тяжесть, брошенная в пропасть,
Пробуждает тысячекратное эхо в глубине будущего.
В. Гюго (франц.). — *Ред.*

Давно ли озарил лучами просвещенья
С улыбкою отца, любви и ободренья
Твой полунощный небосклон.
Под знаменем наук, под знаменем свободы
Он новые создал великие народы;
Их в ризы новые облек;
И ярко засиял над царскими орлами,
Прикрытыми всегда победными громами,
Младой поэзии венок.
Услыша зов Петра, торжественный и громкий,
Возникли: старина, грядущие потомки,
И Кантемир и Феофан;
И, наконец, во дни величия и мира
Возникла и твоя божественная лира,
Наш Холмогорский великан!
И что за лира: жизнь! Ее златые струны
Воспоминали вдруг и битвы и Перуны
Стократ великого царя,
И кроткие твои дела, Елисавета,
И пели все они в услышание света
Под смелой дланью рыбаря!
Открылась для ума неведомая сфера;
В младенческих душах зиждительная вера
Во всё прекрасное зажглась;
И счастия заря роскошно и приветно
До скал и до степей Сибири многоцветной
От вод балтийских разлилась!
Посеяли тогда изящные искусства
В груди богатырей возвышенные чувства;
Окреп полмира властелин,
И обрекли его, в воинственной державе,
Бессмертию веков, незакатимой славе
Петров, Державин, Карамзин!

II

Потом, когда неодолимый
Сын революцьи, Бонапарт,
Вознес рукой непобедимой
Трехцветный Франции штандарт;
Когда под сень его эгиды

Склонились робко пирамиды
И Рима купол золотой;
Когда смущенная Европа
В волнах кровавого потопа
Страдала под его пятой;
Когда отважный, вне законов,
Как повелительное зло,
Он диадимою Бурбонов
Украсил дерзкое чело;
Когда, летая над землею,
Его орлы, как будто мглою,
Мрачили день и небеса;
Когда муж пагубы и рока
Устами грозного пророка
Вещал вселенной чудеса;
Когда воинственные хоры
И гимны звучные певцов
Ему читали приговоры
И одобрения веков;
И в этом гуле осуждений,
Хулы, вражды, благословений
Гремел, гремел, как дикий стон,
Неукротимый и избранный,
Под небом Англии туманной
Твой дивный голос, о Байрон! —
Тогда, тогда в садах Лицея,
Природный русский соловей,
Весенней жизнью пламенея,
Расцвел наш юный корифей;
И гармонические звуки
Его младенческие руки
Умели рано исторгать.
Шутя пером, играя с лирой,
Он Оссиановой порфирой
Хотел, казалось, обладать.
Он рос, как пальма молодая
На иорданских берегах,
Главу высокую скрывая
В ему знакомых облаках;
И, друг волшебных сновидений,
Он понял тайну вдохновений,
Глагол всевышнего постиг;

Восстал, как новая стихия,
Могуч, и славен, и велик —
И изумленная Россия
Узнала гордый свой язык!

III

И стал он петь, и всё вокруг него внимало;
Из радужных цветов вручил он покрывало
Своей поэзии нагой.
Невинна и смела, божественная дева
Отважному ему позволила без гнева
Ласкать, обвить себя рукой;
И странствовала с ним, как верная подруга,
По лаковым паркé блистательного круга
Временщиков, князей, вельмож;
Входила в кабинет ученых и артистов,
И в залы, где шумят собрания софистов,
Меняя истину на ложь;
Смягчала иногда, как гений лучезарный,
Гонения судьбы то славной, то коварной;
Была в тоске и на пирах,
И вместе пронеслась, как буйная зараза,
Над грозной высотой мятежного Кавказа
И Бессарабии в степях.
И никогда нигде его не покидала;
Как милое дитя, задумчиво играла
Или волной его кудрей,
Иль бледное чело, объятое мечтами,
Любила украшать небрежными перстами
Венком из лавров и лилей.
И были времена: унылый и печальный,
Прощался иногда он с музой гениальной,
Искал покоя, тишины;
Но и тогда, как дух, приникнув к изголовью,
Она его душе с небесною любовью
Дарила праведников сны.
Когда же, утомясь минутным упоеньем,
Всегдашним торжеством, высоким наслажденьем,
Всегда юна, всегда светла,

Красавица земли, она смыкала очи,
То было на цветах, а их во мраке ночи
Для ней рука его рвала.
И в эти времена всеведущая Клио
Являлась своему любимцу горделиво,
С скрижалью тайною веков;
И пел великий муж великие победы,
И громко вызывал, о праотцы и деды,
Он ваши тени из гробов!

IV

Где же ты, поэт народный,
Величавый, благородный,
Как широкий океан;
И могучий и свободный,
Как суровый ураган?
Отчего же голос звучный,
Голос, с славой неразлучный,
Своенравный и живой
Уж не царствует над скучной,
Полумертвою душой,
Не владеет нашей думой,
То отрадной, то угрюмой,
По внушенью твоему?
Не всегда ли безотчетно,
Добровольно и охотно
Покорялись мы ему?
О так, о так, певец Людмилы и Руслана,
Единственный певец волшебного фонтана,
Земфиры, невских берегов,
Певец любви, тоски, страданий неизбежных,
Ты мчал нас, уносил по лону вод мятежных
Твоих пленительных стихов;
Как будто усыплял их ропот грациозный,
Как будто наполнял мечтой религиозной
Давно почивших мертвецов.
И долго, превратясь в безмолвное вниманье,
Прислушивались мы, когда их рокотанье
Умолкнет с отзывом громов.

Мы слушали, томясь приятным ожиданьем, —
И вдруг, поражена невольным содроганьем,
Россия, мрачная, в слезах,
Высоко над главой Поэзии печальной
Возносит не венок, но факел погребальный,
И Пушкин — труп, и Пушкин — прах!
Он — прах! Довольно! Прах, и прах непробудимый!
Угас, и навсегда, мильонами любимый,
Державы северной Баян!
Он новые приял, нетленные одежды
И к небу воспарил под радугой надежды,
Рассея вечности туман!

V

Гимн смерти

Совершилось: дивный гений,
Совершилось: славный муж
Незабвенных песнопений
Отлетел в страну видений,
С лона жизни в царство душ!
Пир унылый и последний
Он окончил на земле;
Но, бесчувственный и бледный,
Носит он венок победный
На возвышенном челе.
О, взгляните, как свободно
Это гордое чело!
Как оно в толпе народной
Величаво, благородно,
Будто жизнью расцвело!
Если гибельным размахом
Беспощадная коса
Незнакомого со страхом
Уравнять умела с прахом,
То узрел он небеса!
Там под сению святого,
Милосердного творца
Без печального покрова
Встретят жителя земного,
Знаменитого певца.

И благое провиденье
Слово мира изречет,
И небесное прощенье,
Как земли благословенье,
На главу его сойдет...
Тогда, как дух бесплотный, величавый,
Он будет жить бессумрачною славой,
Увидит яркий, светлый день;
И пробежит неугасимым оком
Мильон миров, в покое их глубоком,
Его торжественная тень;
И окружит ее над облаками
Теней, давно прославленных веками,
Необозримый легион:
Петрарка, Тасс, Шенье — добыча казни...
И руку ей с улыбкою приязни
Подаст задумчивый Байрон;
И между тем, когда в России изумленной
Оплакали тебя и старец и младой,
И совершили долг последний и священный,
Предав тебя земле холодной и немой,
И, бледная, в слезах, в печали безотрадной,
Поэзия грустит над урною твоей, —
Неведомый поэт, но юный, славы жадный,
О Пушкин! преклонил колено перед ней.
Душистые венки великие поэты
Готовят для нее — второй Анакреон;
Но верю я: и мой в волнах суровой Леты
С рождением своим не будет поглощен —
На пепле золотом угаснувшей планеты
Несмелою рукой он с чувством положен.

Утешение

«Над лирою твоей разбитою, но славной
Зажглася и горит прекрасная заря!
Она облечена порфирою державной
Великодушного царя».

Январь—3 марта 1837

<ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА К АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВИЧУ ЛОЗОВСКОМУ>

Вот тебе, Александр, живая картина моего настоящего положения:

. . . .
. . . .
. . . .
Но горе мне с другой находкой:
Я ознакомился с чахоткой,
И в ней, как кажется, сгнию!
Тяжелой мраморною плитой,
Со всей анафемскою свитой —
Удушьем, кашлем — как змея,
Впилась, проклятая, в меня;
Лежит на сердце, мучит, гложет
Поэта в мрачной тишине
И злым предчувствием тревожит
Его в бреду и в тяжком сне.
Ужель, ужель — он мыслит грустно —
Я подвиг жизни совершил
И юных дней фиал безвкусный,
Но долго памятный, разбил!
Давно ли я в оргиях шумных
Ничтожность мира забывал
И в кликах радости безумных
Безумство счастьем называл?
Тогда — вдали от глаз невежды
Или фанатика-глупца —
Я сердцу милые надежды
Питал с улыбкой мудреца,
И счастлив был! Самозабвенье
Плодило лестные мечты,
И светлых мыслей вдохновенье
Таилось в бездне пустоты.
С уничтожением рассудка,
В нелепом вихре бытия
Законов мозга и желудка
Не различал во мраке я.
Я спал душой изнеможенной,
Никто мне бед не предрекал,

И сам, как раб, ума лишенный,
Точил на грудь свою кинжал;
Потом проснулся... но уж поздно...
Заря по тучам разлилась —
Завеса будущности грозной
Передо мной разодралась...
И что ж? Чахотка роковая
В глаза мне пристально глядит,
И, бледный лик свой искажая,
Мне, слышу, хрипло говорит:
«Мой милый друг, бутыльным звоном
Ты звал давно меня к себе;
Итак, являюсь я с поклоном —
Дай уголок твоей рабе!
Мы заживем, поверь, не скучно:
Ты будешь кашлять и стонать,
А я всегда и безотлучно
Тебя готова утешать...»

Декабрь 1837

ГАЛЬВАНИЗМ, ИЛИ ПОСЛАНИЕ К ЗЕВЕСУ

Le monde est plein des trompeurs
et des trompes.

N. M.[1]

Итак, узнал я наконец
Тебя, Зевес самодержавный!
Узнал, что мир — большой глупец,
А ты — проказник презабавный!
Два металлических кружка
Да два телятины куска
С цепочкой медной за ушами —
Вот тайна молний и громов,
Которыми, как чудесами,
Ты нас стращал из облаков.
Гальвани с мертвою лягушкой
В лаборатории своей
Нам доказал, что ты людей
Всегда считал одной игрушкой!

[1] Мир полон обманщиков и обманутых. Н. М. (франц.). — *Ред.*

Сын праха, слабый и глухой,
Под руководством гальванизма
Едва ль, Зевес, почтенный мой,
Я не сойду до атеизма!
К чему мне ты? Я сам Зевес!
Перуны, молнии и громы
Мне без обмана и чудес
Теперь торжественно знакомы!
Огонь и блеск в моих очах,
И гром и треск в моих ушах!
Я весь: разгульный шум Содома
И мусульманский вертоград
С тех пор, как дивный препарат
Из мяса, шелку и металла
Уснувших сил моих начала
Электризует и живит,
И всё вокруг меня нестройно,
Разнообразно, беспокойно,
Но гармонически звенит!
Итак, Зевес, мое почтенье!
Тебе я больше не слуга!
Я сам велик — еще мгновенье...
И вознесусь на облака!
Тогда, как вздорного соседа,
Тебя порядочно уйму,
А молодого Ганимеда,
Орла и Гебу отниму.[1]

1830-е годы

---

[1] Замечание. Это шуточное стихотворение написал я экспромтом в то время, когда один известный и опытный медик, после долгого, неутомимого старанья возвратить мне слух, потерянный от сильной простуды, решился испытать надо мной силу гальванизма и я, в первый раз, почувствовал благотворное действие этого электричества.

Более полутора года я страдал почти совершенною глухотою и терял уже надежду на излечение, но гальванизм, искусно и осторожно приноровленный к моей болезни, возвратил мне слух в два месяца.

Никогда не забуду благородного медика, который посвятил свои глубокие познания пользе человечества, и уверен, что голос мой повторяется тысячами голосов людей, обязанных ему нередко самою жизнью.

* * *

Ай, ахти! ох, ура,
П<равославный> наш ц<арь>,
Н<иколай> г<осударь>,
В тебе мало добра!
Обманул, погубил
Ты мильоны голов, —
Не сдержал, не свершил
И<мператорских> слов!..
Ты припомни, что мы,
Не жалея себя,
Охранили тебя
От большой кутерьмы,
Охранили, спасли
И по братним т<елам>,
Со грехом пополам,
На п<рестол> возвели!
Много, много сулил
Ты с<олдатам> тогда;
Миновала беда —
И ты всё позабыл!
Помыкаешь ты нас
По горам, по долам,
Не позволишь ты нам
Отдохнуть ни на час!
От ста<льных> те<саков>
У нас спины трещат,
От уч<ебных> ша<гов>
У нас но<ги> болят!
День и ночь наподряд,
Как волов наповал,
Бьют и мучат с<олдат>
О<фицер> и ка<прал>.
Что же, бе<лый> от<ец>,
Своих черных ов<ец>
Ты стираешь с земли?
Или думаешь ты
Нами вечно играть
И что — . . . мать
Лучше доброй молвы?
Так у . . . . (?)

П<равославный> наш <царь>,
Н<иколай> г<осударь>.
Ты бо<лван> наших р<ук>;
Мы склеили тебя
И на тысячу штук
Разобьем, разлюбя!

ОПРАВДАНИЕ МУЖА

Берег сокровище! Но льзя ли сберечи,
Когда от оного у всех висят ключи?

ОТВЕТ НА ВОПРОС ПУШКИНА

Прошли все юности затеи,
И либеральные идеи
Под верноподданным кнутом.

К МОЕМУ ГЕНИЮ

Ужель, мой гений быстролетный,
Ужель и ты мне изменил,
И думой черной, безотчетной,
Как тучей, сердце омрачил?
Погасла яркая лампада —
Заветный спутник прежних лет,
Моя последняя отрада
Под свистом бурь, на море бед...
Давно челнок мой одинокой
Скользит по яростной волне,
И я не вижу в тьме глубокой
Звезды приветной в вышине;
Давно могучий ветер носит
Меня вдали от берегов;
Давно душа покоя просит
У благодетельных богов...
Казалось, теплые молитвы
Уже достигли к небесам,
И я, как жрец, на поле битвы

Курил мой светлый фимиам,
И благодетельное слово
В устах правдивого судьи,
Казалось, было уж готово
Изречь: «Воскресни и живи!»
Я оживал... Но ты, мой гений,
Исчез, забыл меня — и я
Теперь один в цепи творений
Пью грустно воздух бытия...
Темнеет ночь, гроза бушует,
Несется быстро мой челнок —
Душа кипит, душа тоскует,
И, мнится, снова торжествует,
Над бедным плавателем рок.
Явись же, гений прихотливый!
Явись опять передо мной
И проведи меня счастливо
К стране, знакомой с тишиной!

ТОСКА

Бывают минуты душевной тоски,
Минуты ужасных мучений,
Тогда мы злодеи, тогда мы враги
Себе и мильонам творений.
Тогда в бесконечной цепи бытия
Не видим мы цели высокой —
Повсюду встречаем несчастное «я»,
Как жертву над бездной глубокой;
Тогда, безотрадно блуждая во тьме,
Храним мы одно впечатленье,
Одно ненавистное — холод к земле
И горькое к жизни презренье.
Блестящее солнце в огнистых лучах
И неба роскошного своды
Теряют в то время сиянье в очах
Несчастного сына природы;
Тоска роковая, убийца-тоска
Над ним тяготеет, как мрамор могилы,
И губит холодная смерти рука
Души изнуренные силы,

Но зачем же вы убиты,
Силы мощные души?
Или были вы сокрыты
Для бездействия в тиши?
Или не было вам воли
В этой пламенной груди,
Как в широком чистом поле,
Пышным цветом расцвести?
. . . .
. . . .

СУЛТАН

Тихо в спальне у султана.
В легкой розовой чалме,
На подушке оттомана
Он заметен в полутьме.
Благовонное алоэ
И душистые цветы
В пышно убранном покое
Нежат чувства и мечты.
И горит от нетерпенья
Взор владыки мусульман:
Верно, дивного явленья
Ждет рассеянный султан.
Держит чашу не с сорбетом
Он рассеянной рукой:
Запрещенный Магометом
В ней напиток дорогой...
Время длится неприметно,
Бьется сердце, ноет дух,
И кальян его заветный
Недокуренный потух.
Бьет в ладони, и мгновенно
Черный евнух перед ним.
«Скоро ль?» — «Идут...» — «Вон
из спальни!»
И счастливец меж рабынь,
Приведенных из купальни,
Видит трех полубогинь.
Три богатых каравана
Из Аравии пришли

И в подарок от Судана
Сладострастию султана
Юных пленниц привели.
Все они разнообразной
Красотой одарены
И как будто ленью праздной
Для любви сотворены.
Две из них белы и нежны,
Как лилеи под росой
Или ландыш белоснежный,
Только срезанный косой.
Третья блещет черным оком,
Величава и смугла,
Грозен в ужасе глубоком
Бледный лоск ее чела...

ПОЭМЫ

САШКА

К читателям

Не для славы —
Для забавы
    Я пишу!
Одобренья
И сужденья
Не прошу!
Пусть кто хочет,
Тот хохочет,
    Я и рад;
А развратен,
Неприятен —
    Пусть бранят.
Кто ж иное
Здесь за злое
    Хочет принимать,
Кто разносит
И доносит, —
    Тот...

Глава первая

I

— Мой дядя — человек сердитый,
И тьму я браней претерплю,
Но если говорить открыто —
Его немного я люблю!

Он — черт, когда разгорячится,
Дрожит, как пустится кричать,
Но жар в минуту охладится —
И тих мой дядюшка опять.
Зато какая же мне скука
Весь день при нем в гостиной быть,
Какая тягостная мука
Лишь о походах говорить.

II

Супруге строить комплименты,
Платочки с полу поднимать,
Хвалить ей шляпки ее, ленты,
Детей в колясочке катать,
Точить им сказочки да лясы,
Водить в саду в день раза три
И строить разные гримасы,
Бормо́ча: «Черт вас побери!» —
Так, растянувшись на телеге,
Студент московский размышлял,
Когда в ночном на ней побеге
Он к дяде в Питер поскакал.

III

Студенты всех земель и кра́ев!
Он ваш товарищ и мой друг;
Его фамилья *Полежаев*,
А дальше... эх, друзья, не вдруг!
Я парень и без вас болтливый,
Лишь только б вас не усыпить,
А то внимайте терпеливо:
Я рад весь век свой говорить!
Быть может, в Пензе городишка
Несноснее Саранска нет —
Под ним есть малое селишко,
И там мой друг увидел свет...

IV

Нельзя сказать, чтобы богато
Иль бедно жил его отец,
Но всё довольно тароватo,
Чтоб промотаться наконец.
Но это прочь! .. Отцу быть можно
Таким, сяким и рассяким;
Нам говорить о сыне должно:
Посмотрим, вышел он каким.
Как быстро с гор весенни воды
В долины злачные текут,
Так пусть в рассказе нашем годы
Его младенчества пройдут.

V

Пропустим также, что родитель
Его до крайности любил,
И первый Сашеньки учитель
Лакей из дворни его был.
Пропустим, что сей ментор славный
Был и в французском Соломон,
И что дитя болтал исправно
Jean f..., un v..., un c..,
Пропустим, что на балалайке
В шесть лет он «барыню» играл,
И что в похабствах, бабках, свайке
Он кучерам не уступал.

VI

Вот Саше десять лет пробило,
И начал папенька судить,
Что не весьма бы худо было
Его другому поучить.
Бич хлопнул! Тройка быстрых коней
В Москву и день и ночь летит,
И у француза в пансионе
Шалун за книгою сидит.

Я думаю, что всем известно,
Что значит модный пансион.
Итак, не многим будет лестно
Узнать, чему учился он.

VII

Должно быть, кой-чему учился
Иль выучил он на алтын,
Когда достойным учинился
Носить студента знатный чин!
О родины прямых студентов —
Гёттинген, Вильно и Оксфорд!
У вас не может брать патентов
Дурак, алтынник или скот;
У вас не может колокольный
Звонарь на лекции сидеть,
Вертеться в шляпе треугольной
И шпагу при бедре иметь.

VIII

У вас не вздумает мальчишка
Шипеть, надувшись: «Я студент!»
Вы судите: пусть он князишка,
Да в нем ума ни капли нет!
У вас студент есть муж почтенный,
А не паршивый, не сопляк,
Не полузнайка просвещенный
И не с червонцами дурак!
У вас таланты в уваженьи,
А не поклоны в трех верстах;
У вас заслугам награжденье,
А не приветствиям в сенях!

IX

Не ректор духом вашим правит —
Природный ум вам кажет путь,
И он вам честь и чин доставит,
А не «нельзя ли как-нибудь!»

Но ты, козлиными брадами
Лишь пресловутая земля,
Умы гнетущая цепями,
Отчизна глупая моя!
Когда тебе настанет время
Очнуться в дикости своей,
Когда ты свергнешь с себя бремя
Своих презренных палачей?

X

Но что я? .. Где? .. Куда сокрылся
Вниманья нашего предмет? ..
Ах, господа, как я забылся:
Я сам и русский и студент...
Но это прочь... Вот в вицмундире,
Держа в руках большой стакан,
Сидит с красотками в трактире
Какой-то черненький буян.
Веселье наглое играет
В его закатистых глазах,
И сквернословие летает
На пылких юноши устах...

XI

Кричит... Пунш плещет, брызжет пиво;
Графины, рюмки дребезжат!
И вкруг гуляки молчаливо
Рои трактирщиков стоят...
Махнул — и бубны зазвучали,
Как гром по тучам прокатил,
И крик цыганской «Черной шали»
Трактира своды огласил;
И дикий вопль и восклицанья
Согласны с пылкою душой,
И пал студент в очарованьи
На перси девы молодой.

XII

Кто ж сей во славе буйной зримый
Младой роскошный эпикур,
Царицей Пафоса любимый,
Средь нимф увенчанный Амур?
Друзья, никак не может статься,
Чтоб всякий вдруг не отгадал,
И мне пришлось бы извиняться,
Зачем я прежде не сказал.
Ах, миг счастливый, быстротечный
Волшебных юношества лет!
Блажен, кто в радости сердечной
Тебя сорвал, как вешний цвет.

XIII

Блажен, кто слез ручей горючий
Рукой Анюты утирал;
Блажен, кто жизни путь колючий
Вином отрадным поливал.
Пусть смотрит Гераклит унылый
С улыбкой жалкой на тебя,
Но ты блажен, о друг мой милый,
Забыв в веселье сам себя.
Отринем, свергнем с себя бремя
Старинных умственных цепей,
Что ныне гибельное время
Еще щадит до наших дней.

XIV

Хорош философ был Сенека,
Еще умней — Платон-мудрец;
Но через два или три века
Они, ей-ей, не образец.
И в тех и в новых шарлатанах
Лишь скарб нелепостей одних;
Да и весь свет наш на обманах
Или духовных, иль мирских.

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

XV

Но полно, я заговорился,
А как мой Саша пировать
С. . . . . . в трактире научился,
Я и забыл вам рассказать.
Не знаю я, или природный
Умишка маленький в нем был,
Иль пансион учено-модный
Его лозами поселил;
Но лишь учась тому, другому,
Он кое-что перенимал
И, слов не тратя по-пустому,
Кой в чем довольно успевал:

XVI

Мог изъясняться по-французски
И по-немецки лепетать,
А что касается по-русски,
То даже рифмы стал кропать.
Хоть математике учиться
Охоты вовсе не имел,
Но поколоться, порубиться
С лихим гусаром не робел.
Он знал науки и другие,
Но это более любил...
Ну, ведь нельзя ж, друзья драгие,
Сказать, чтоб он невежда был!

XVII

Притом же, правду-матку молвить,
Умен — не то, что научен:
Иной куда гораздо молвит —
Переучен, а не умен!

По-моему, семинариста
Хоть разучи бог знает как,
Строка в строку евангелиста
Прочтет на память — а дурак.
Я для того здесь об ученых
И умных начал рассуждать,
Что мне не хочется об оных
И об науках толковать.

XVIII

Аминь, ни слова об науках...
Черты характера сего:
Свобода в мыслях и поступках,
Не знать судьею никого,
Ни подчиненности трусливой,
Ни лицемерия ханжей,
Но жажду вольности строптивой
И необузданность страстей!
Судить решительно и смело
Умом своим о всех вещах
И тлеть враждой закоренелой
К мохнатым шельмам в хомутах!

XIX

Он их терпеть не мог до смерти,
И в метафизику его
Ни мощи, ангелы, ни черти,
Ни обе книги — ничего
Ни так, ни эдак не входили,
И как ученый муж Платон
Его с Сократом ни учили,
Чтоб Иисусу верил он,
Он ничему тому не верит:
«Всё это — сказки», — говорит,
Своим аршином б[ога] мерит
И в церковь гроша не дарит.

XX

Я для того распространяюсь
О столь божественных вещах,
Что Сашу выказать ласкаюсь
Как голого, во всех частях;
Чтоб знали все его как должно,
С сторон хорошей и худой,
Да и, клянусь, ей-ей неложно
Он скажет сам, что он такой.
Конечно, многим не по вкусу
Такой безбожный сорванец,
Хоть и не верит он Исусу,
Но, право, добрый молодец!

XXI

Вот всё, чему он научился,
Свидетель — университет!
Хотя б сам Рафаэль трудился —
Не лучше б снял с него портрет.
Теперь, какими же судьбами,
Меня вы спросите опять,
Сидит в трактире он с . . . .
Извольте слушать и молчать.
Рожденный пылким от природы,
Недолго был он средь оков:
Искал он буйственной свободы —
И стал свободен, был таков.

XXII

Как вихрь иль конь мылйстый в поле
Летит в свирепости своей,
Так в первый раз его на воле
Узрел я в пламени страстей.
Не вы — театры, маскерады,
Не дам московских лучший цвет,
Не петиметры, не наряды —
Кипящих дум его предмет.
Нет, не таких мой Саша правил:

Он не был отроду бонтон,
И не туда совсем направил
Полет орлиный, быстрый он.

XXIII

Туда, где шумное веселье,
В роях неистовых кипит,
Отколь все света принужденья
И скромность ложная бежит;
Туда, где Бахус полупьяный
Об руку с Момусом сидит,
И с сладострастною Дианой,
Разнежась, юноша шалит;
Туда, туда всегда стремились
Все мысли друга моего,
И Вакх и Момус веселились,
Приняв в товарищи его.

XXIV

В его пирах не проливались
Ни Дон, ни Рейн и не Ямай!
Но сильно, сильно разливались
Иль пунш, иль грозный сиволдай.
Ах, время, времячко лихое!
Тебя опять не наживу,
Когда, бывало, с Сашей двое
Вверх дном мы ставили Москву!
Пока я жив на свете буду,
В каких бы ни был я странах,
Нет, никогда не позабуду
О наших буйственных делах.

XXV

Деру «завесу темной нощи»
С прошедших, милых сердцу дней
И вижу: в Марьиной мы роще
Блистаем славою своей!

Фуражки, взоры и походка —
Всё дышит жизнью и поет;
Табак, ерофа, пиво, водка
Разит, и пышет, и несет...
Идем, волнуясь величаво, —
И все дорогу нам дают,
А девки влево и направо
От нас со трепетом бегут.

XXVI

Идем... и горе тебе, дерзкий,
Взглянувший искоса на нас!
«Молчать, — кричим, насупясь зверски, —
Иль выбьем потроха как раз!»
Толпа . . . . . . иль дев стыдливых
Попалась в давке тесной нам,
Целуем, ... смазливых
И харкаем в глаза коргам.
Кричим, поем, танцуем, свищем;
Пусть дураки на нас глядят!
Нам всё равно: хвалы не ищем,
Пусть как угодно говорят!

XXVII

Но вот... темнее и темнее.
Народ разбрелся по домам.
«Извозчик!» — «Здесь, сударь!» — «Живее,
Пошел на Сретенку к . . . .» —
«Но, но!» — И дрожки задрожали;
Летим Москвой, летим — и вот
К знакомым девкам прискакали,
Запор сломали у ворот.
Идем . . . . ругаясь
. . . .
И, боязливо извиняясь,
Нам светит . . . . в сенях.

XXVIII

. . . .
Скосившись, Саша говорит.
Неоцененимая минута,
Тебя никто не изъяснит!
Приап, Приап! . . . . . .
Тебя достойный фимиам
Твоими верными сынами
Теперь вскурится к облакам!
О . . . . мизогины!
Вам слова два теперь скажу,
Какой божественной картины
Вам легкий абрис покажу!

XXIX

Растянута, полувоздушна
Калипсо юная лежит
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

XXX

Нет, нет! и абрис невозможно
Такой картины начертать.
Чтоб это чувствовать, то должно
Самим собою испытать.
Но вот под гибкими перстами
Поет гитара контроданс,
И по-козлиному меж нами
Прекрасный сочинился танц!

Возись! Пунш плещет, брызжет пиво,
Полштофы с рюмками летят,
А колокольчик несонливый
Уж бьет заутренний набат...

XXXI

Дым каждую туманил кровлю,
Ползли ерыги к кабакам,
Мохнатых полчища — на ловлю,
И шайки нищих там и сям.
Вот те, которые в бордели
Ночь в сне и пьянстве провели,
Покинув . . . . постели,
Домой в пуху и пятнах шли,
Прощайте ж, милые красотки!
Теперь нам нечего зевать!
Итак, допив остаток водки,
Пошли домой мы с Сашей спать.

XXXII

Ах, много, много мы шалили!
Быть может, пошалим опять;
И много, много старой были
Друзьям найдется рассказать
Во славу университета.
Как будто вижу я теперь
Осаду нашу комитета:
Вот Саша мой стучится в дверь...
«Кто наглый там шуметь изволит?» —
Оттуда голос закричал. —
«Увидит тот, кто дверь отворит», —
Сердито Саша отвечал.

XXXIII

Сказав, как вихорь устремился —
И дверь низверглася с крючком,

И, заревевши, покатился
Лакей с железным фонарем.
Се ты, о Сомов незабвенный!
Твоею мощной пятерней
Гигант, в затылок пораженный,
Слетел по лестнице крутой!
Как лютый волк стремится Сашка
На девку бледную одну,
И распростерлася Дуняшка,
Облившись кровью, на полу.

XXXIV

Какое страшное смятенье,
И дикий вопль, и крик, и рев,
И стон, и жалкое моленье
. . . . дев!..
И вдруг огнями осветился
Пространный комитета двор,
И с кучерами появился
Свирепых буфелей дозор.
«Держи!» — повсюду крик раздался,
И быстро бросились на нас;
И бой ужасный завязался...
О грозный день, о лютый час!

XXXV

Капоты, шляпы и фуражки
С героев буйственных летят
И — что я зрю? О небо! Сашке
Веревкой руки уж крутят!..
«Mon cher! — кричит он, задыхаясь. —
Сюда! Здесь всех не перебью!»
Народ же, больше собираясь,
На жертву кинулся свою.
Ах, Сашка! Что с тобою будет?
Тебя в рогатку закуют,
И рой друзей тебя забудет...
Нет, нет! Уж Калайдович тут!

XXXVI

Он тут! И нет тебе злодея!
Твою веревку он сорвал
И, как медведь, всё свирепея,
Во прах всех буфелей поклал.
Одной своей телячьей шапки
Уже вовек ты не узришь;
А сам, безвреден после схватки,
Опять за пуншем ты сидишь;
Пируй теперь, мой Жданов милый,
Твоя обида отмщена,
И проясни свой лик унылый
Стаканом пенного вина.

XXXVII

И ты, мой друг в тогдашни годы,
Теперь — подлец и негодяй,
Настрой-ка, Пузин, брат, аккорды,
Возьми гитару и взыграй
Donnez nous Jean un peu Гишарда! [1]
Каврайский! Вот сивуха — пей!
Прочь, прочь, Надеждин, от бильярда;
Коль проиграл, так не робей!
А ты, наш чайный разливатель,
О Кушенский, не отходи,
И, как порядка наблюдатель,
За пиром радостным гляди!

XXXVIII

Засядем дружеским собором
За стол, уставленный вином,
И звучным, громогласным хором
Лихую песню запоем...
Летите грусти и печали
. . . .

---

[1] Дайте нам, Жан, немного Гишарда (франц.). — *Ред.*

Давно, давно мы не бывали
В таком божественном кругу!
Скачите... припевая:
Виват наш Саша удалец!
А я, главу сию кончая,
Скажу: ей-богу, молодец!

Глава вторая

I

Чуть освещаемый луною,
Дремал в тумане Петербург,
Когда с уныньем и тоскою
Узрел верхи его мой друг.
На облучке, спустивши ноги,
В забы́тьи жалком он сидел
И об оконченной дороге
В сердечной думе сожалел.
Стакан последний сиволдая
Перед заставой осушил,
И, из телеги вылезая,
Он молчалив и страшен был.

II

Нева широкая струилась
Близ постоялого двора,
И недалеко серебрилось
Изображение Петра.
Всё было тихо; не спокойно
В душе лишь Саши моего,
И не смыкалися невольно
Глаза померкшие его,
Недавно буйного студента.
С дымящимся от трубки ртом,
Он, прислонясь у монумента,
Стоял с потупленным челом,

III

«Увы, увы! .. часы веселья,
Вы пролетели будто сон!»
Так в петербургском новоселье,
Вздохнувши тяжко, молвил он:
«Быть может, долго, молодые
Красотки, мне вас не видать! ..

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

IV

Прощайте, звонкие стаканы,
И пунш, и мощный ерофей!
Быть может, други мои пьяны
Теперь пируют...
И сны приятные осенят
Глаза, сомкнутые вином,
И яркие лучи осветят
Их, упоенных крепким сном!
А я? .. Увы, увы, несчастный,
Я б проклял восходящий день! ..»
Умолк... и луч денницы ясной
Рассеивал ночную тень.

V

Эх, Сашка! Как тебе не стыдно,
Сробел, лихая голова!
Ей-богу, слышать нам обидно
Такие вздорные слова.
Когда ты был такою бабой?
Когда так трусил и тужил?
Как мальчик глупенький и слабый
При виде розог приуныл.

Что ты в Москве накуролесил
И гол остался как сокол
И как сова ты нос повесил...
Пошел, брат, к дядюшке, пошел!..

VI

И что ж, друзья?.. Ведь справедливо
Он дядю чертом называл:
Ведь как же он красноречиво
Его сначала отщелкал!
Такую задал передрягу,
Такую песенку отпел,
Так отприветствовал бродягу,
Что тот лишь слушал да потел;
Потом всё тише да смирнее,
Потом не стал уж и кричать,
Потом всё ласковей, добрее,
Потом и Сашей начал звать.

VII

А Сашка тут и распустился,
И чувствует, что виноват,
Раскаялся — и прослезился.
А дядя?.. Боже мой, как рад!
Повесу грязного обмыли,
Сейчас белья ему, сапог,
И с головы принарядили
Как лучше быть нельзя, до ног.
Повеселиться там нисколько,
Никак не думав, не гадав,
Пирует Сашка мой и только!
Опять в кругу своих забав.

VIII

Где вид московского гуляки?
Куда девался пухлый лик?
В англо-кургузом модном фраке,

В отличной шляпе эластик,
В красивом бархатном жилете
Мой Сашка тот же, да не тот.
И вот, сбоченясь, на проспекте
С фигурой важною идет.
Червонец светлый, драгоценный
И на театры в первый ряд
Билет на кресла ежедневный
В кармане брюк его лежат!

IX

С какою миною кичливой
На прочих франтов он глядит,
Какой улыбкою спесивой
И дам и барышень дарит!
С какой приятностью играет
И машет хлыстиком своим,
И как искусно задевает
Под ножки девушкам он им;
Какой бонтон в осанке, взорах,
Какую важность возымел!
Но вот на ухарских рессорах
В театр, разлегшись, полетел.

X

Вошел. С небрежностью лакею
Билет, сморкаясь, показал
И, изогнувши важно шею,
Глазами ложи пробежал.
Взгремела Фрейшица музы́ка;
Гром плесков залу огласил,
И всяк от мала до велика
И упоен и тронут был.
Что ж Саша? С видом пресыщенья
Разлегшись в креслах, он сидел,
И лишь с улыбкой сожаленья
В четыре стороны глядел.

XI

Напрасно fora[1] все кричали;
Он свой выдерживал bonton,[2]
И в самом действия начале
Спокойно пунш пить вышел он;
Напрасно, милая Дюрова,
Твой голос всех обворожал:
Он не расслышал ни полслова,
Но только ... увидал;
Напрасно, Антонин воздушный,
Ты резал воздух, как зефир:
Для тону Саше будет скучно,
Хотя б растешил ты весь мир.

XII

Да и нельзя же в самом деле...
Смотрите, он в каком кругу!
Народ не тот здесь, что в бордели,
Всё видишь ленту иль звезду!
И, шутки в сторону откинуть, —
С ним рядом первая ведь знать;
Итак, пристойно ль рот разинуть,
Степного Фоку тут играть?
Так, раз и твердо рассудивши,
Всегда мой Сашка поступал
И всякий раз, в театре бывши,
Роль полусонного играл.

XIII

Но как же был зато он скромен
Во всех поступках и словах,
И полутихо-нежно-томен
При зорких дяденьки глазах,
С каким терпеньем и почтеньем
Его он слушал по часам,

---

[1] Бис, браво (итал.). — *Ред.*
[2] Хороший тон (франц.). — *Ред.*

С каким, о смех! благоговеньем
Ходил с ним вместе по церквам;
По Летнему ль гуляет саду —
Не свищет песенки, небойсь
Хоть будь красотка — ни полвзгляду
Не кинет прямо и ни вкось.

XIV

С какою пылкостью восторга
Хвалил он дядины мечты,
Доказывал премудрость бога,
Вникал в природы красоты,
С каким он жаром удивлялся
Наполеонову уму,
И как делами восхищался
Моро, и Нея, и Даву;
Ругал всех русских без разбора
И в Эрмитаже от картин
Не отводил ни рта, ни взора.
О, плут! о, шельма, сукин сын!

XV

И потакал, и лицемерил,
И льстил бессовестно, и врал!
А честный дядя всему верил
И шельме денежки давал...
Бывало, только он с Мильонной,
А дядя: «Где, дружочек, был?»
А он (куда какой проворный!):
«Я-с по бульвару всё ходил,
Потом спуск видел парохода,
Да Зимний осмотрел дворец.
Какая ж тихая погода!» —
Ах ты . . . . подлец!

XVI

Ах ты, проклятая ерыга,
Ведь что мошенник не соврет!

А хоть ругай — мой забулдыга
Живет да песенки поет...
Звенит целковыми-рублями,
Летает франтиком в садах,
Пирует, нежится... ....
И сушит водку в погребах.
Ну, что ты делать с ним прикажешь?
Не хочет слышать уж про нас...
Эй, Сашка! или не покажешь
В Москву своих спесивых глаз?

XVII

Постой! Не вечно, брат, рейнвейны
В Café de France [1] ты будешь пить,
. . . . лилейны
И в шляпе эластик ходить!
Постой, не вечно Петербурга
Красоток будешь целовать,
Опять любезнейшего друга
В Москву представят к нам, опять!
Гуляй, пируй, пока возможно,
Крути, помадь свой хохолок,
Минуты упускать не должно,
Играй, сбоченясь à la coq! [2]

XVIII

Не выпускай из рук стакана,
От Каратыгина зевай
И в ресторации с дивана,
Дымясь в вакштафе, не вставай;
Катайся в лодочках узорных,
Лови, обманывай жидов
И мчись на рысаках проворных
До поздних полночи часов...
. . . .
А дядя мыслит кое-что:

---

[1] Французское кафе (франц.). — *Ред.*
[2] Петухом (франц.). — *Ред.*

И в дилижансе две недели
Тебе уж место нанято.

XIX

Различноцветными огнями
Горит в Москве Кремлевский сад,
И пышнопестрыми роями
В нем дамы с франтами кишат.
Музы́ка шумная играет
На флейтах, бубнах и трубах,
И гул шумящий завывает
Кремля высокого в стенах.
Какие радостные лица,
Какой веселый, милый мир!
Все обитатели столицы
Сошлись на общий будто пир.

XX

Какое множество букетов,
Индийских шалей и чепцов,
Плащей, тюрбанов и лорнетов,
Подзорных трубок и очков;
И смесь роскошная в нарядах,
И лиц различные черты,
И выражения во взглядах
И плутовства и простоты,
И ловкости и неуклюжства,
И на глазах почтенных дам:
И надоевшее замужство
И склонность к модным шалунам.

XXI

Как из-под шапки сей игриво
Глазок прищуренный глядит;
Что для мужчин она учтива,
Он очень ясно говорит.
На грудь лилейную другая
Власы небрежно разметав
И всех прельстить собой желая,

Нарочно гордый кажет нрав;
Другая с нежностью лилеи,
Иная томно так идет;
Но подойди к ней не робея —
Она и ручку подает.

XXII

Всё живо, всё разнообразно,
Всё может мысли породить!
Там в пух разряженный приказный
Напрасно ловким хочет быть;
Здесь купчик, тросточкой играя,
Как царь доволен сам собой;
Там, с генералом в ряд шагая,
Себя тут кажет и портной,
Вельможа, повар и сапожник,
И честный, и подлец, и плут,
Купец, и блинник, и пирожник —
Все трутся и друг друга жмут.

XXIII

Но что? Не призрак ли мне ложный
Глаза внезапно ослепил?
Что вижу я? Ужель возможно,
Что б это Сашка мой ходил?..
Его ухватки и движенья,
Его осанка, взор и вид...
Какое странное сомненье...
И дух и кровь во мне кипит...
Иду к нему... трясутся ноги...
Всё ближе милые черты...
Дрожу, стремлюсь... колеблюсь... боги!..
О друг любезный, это ты?..

XXIV

Нет, я завесу опускаю
На нашу радость и восторг.

Такой минуты, сколько знаю,
Никто нам выразить не мог.
Друзьям же верным и открытым
И всем желающим узнать,
Умам чрез меру любопытным
Довольно, кажется, сказать,
Что, раз пятнадцать с ним обнявшись,
И оросив слезами грудь,
И раз пятнадцать целовавшись,
В трактир направили мы путь.

XXV

Не вспомнишь всё, что мы болтали,
Но всё, что он мне рассказал,
Вы перед этим прочитали,
И я ни капли не соврал.
Одно лишь только он прибавил,
Что дядя в университет
Его еще на год отправил
И что довольно с ним монет.
«Сюда . . . . !» — гремящим
Своим он гласом возопил,
И пуншем нектарным, кипящим
В минуту стол обрызган был.

XXVI

Ты видел, Поль, когда на дрожках
К тебе он быстро подлетел;
В то время с книгой у окошка,
Дымясь в вакштафе, ты сидел.
Ты помнишь, о Каврайский славный,
Студентов честь и красота,
Какой ты встречею забавной
Его порадовал тогда:
В . . . . мертвецки пьяным
Тебя он в нумере застал
. . . .
. . . .

XXVII

Ты зрел, любезный мой Костюшка,
Его как стельку самого,
И снова, толстенькая Грушка,
Ты . . . . . . нежила его.
Виват, трактиры и бордели,
Пожива будет еще вам,
И погребки не опустели,
Когда приехал Сашка к нам.
В весельи буйственном с друзьями
Еще за пуншем он сидел,
А разноцветными огнями
Кой-где Кремлевский сад горел...

Эпилог

Друзья, вот несколько деяний
Из жизни Сашки моего...
Быть может, град ругательств, брани
Как дождь посыплет на него,
И на меня, как корифея
Его распутства и бесчинств,
Нагрянет, злобой пламенея
Какой-нибудь семинарист...
Но я их столько презираю,
Что даже слушать не хочу,
И что про Сашку вновь узнаю —
Ей-ей, ни в чем не умолчу.

1825—1826

ИМАН-КОЗЕЛ

В одной деревне, недалеко
От Триполи иль от Марокко —
Не помню я — жил человек
По имени Абдул-Мелек.
Не только хижины и мула
Не заводилось у Абдула,
Но даже верного куска
Подчас иной у бедняка
В запасной сумке не случалось.
Он пил и ел, где удавалось,
Ложился спать, где бог привел,
И, словом, жизнь так точно вел,
Как независимые птицы,
Или поклонники царицы,
Котору вольностью зовут,
Или как нищие ведут.
С утра до вечера с клюкою
И упрошающей рукою
Бродя под окнами домов
Пророка ревностных сынов,
Он ждал святого подаянья,
Молил за чувства состраданья
С слезой притворной небеса,
Потом осушивал глаза
Своим изодранным кафтаном
И шел другим магометанам
Одно и то же повторять,

Так жил Абдул лет двадцать пять,
А может быть, еще и боле,
Как вдруг однажды, сидя в поле
И роя палкою песок,
Нашел он кожаный мешок.
Абдул узлы на нем срывает,
Нетерпеливо открывает,
Глядит — и что ж? о Магомет!
Он полон золотых монет.
«Что вижу я! ужель возможно?
Алла, не сон ли это ложный? —
Воскликнул радостный бедняк. —
Нет, я не сонный! точно так...
Червонцы... це́хины без счету...
Абдул! покинь свою заботу
О пище скудной и дневной,
Теперь ты тот же, да другой».
Схватил Абдул свою находку,
Как воин пленную красотку,
Бежит, не зная сам куда.
Именью рад — и с ним беда!
Бежит что сил есть, без оглядки,
Лишь воздух рассекают пятки,
Земли не видит под собой.
И вот лесок пред ним густой;
Вбежал, взглянул, остановился
И на мешок свой повалился.

«Ну, слава богу! — говорит. —
Теперь он мне принадлежит.
Червонцы всё, да как прелестны!
Круглы, блестящи, полновесны!
Какая чистая резьба!
О, презавидная судьба
Владеть подобною монетой!
Я не видал милее этой.
И можно ль статься — я один
Теперь ей полный властелин,
Я... я... Абдул презренный, нищий,
Который для насущной пищи
Два дня лохмотья собирал
И их девать куда — не знал.

Я — бездомовный, я — бродяга...

. . . .

Блажен скупой, блажен стократ
Зарывший первый в землю клад!
Так, так! На лоно сладострастья!
На лоно выспреннего счастья,
В объятья гурий молодых,
К горам червонцев золотых,
На крыльях ветра ангел рока
Тебя по манию пророка,
Душа святая, принесет, —
Там, там тебя награда ждет».

. . . .

. . . .

И снова радостный Абдул
На груду золота взглянул,
Вертел мешок перед собою,
Ласкал дрожащею рукою
Его пленявшие кружки
И весил, сколь они легки,
И прикасался к ним устами,
И пожирал их все глазами,
И быстро в землю зарывал.
И снова, вырывши, считал.
Так обезьяна у Крылова
Надеть очки была готова
Хотя бы на уши свои,
Того не зная, что они
Даны глазам в употребленье.

И вот дивится всё селенье,
В котором жил Абдул-Мелек.
«Откуда этот человек,
Из самых бедных, как известно, —
Заговорили повсеместно, —
Откуда деньги получил?
Ну, так ли прежде он ходил?
Какой наряд, какое платье!
Ему ли, нищенской ли братье,
Носить такие епанчи?»
(А он оделся уж в парчи.)

«Давно ли мы из состраданья
Ему давали подаянья,
И он смиренно у дверей
В чалме изодранной своей,
Босой и голый, ради неба,
Просил у нас кусочка хлеба, —
И вдруг богат стал! Отчего? ..» —
«Готов и дом уж у него!» —
Другой сказал с недоуменьем,
И все объяты удивленьем:
«И дом готов! Нельзя понять;
А как изволит отвечать,
Коль намекнешь ему об этом?
Ну, заклинай хоть Магометом,
А он одно тебе в ответ:
«Мне бог послал». — Ни да, ни нет,
Что хочешь говори — ни слова.
Ты подойдешь: «Абдул, здорово!
Откуда денег ты достал?» —
А он, проклятый: *«Бог послал»*.
Такой ответ — на что похоже!» —
«Да, да! И мне твердит всё то же, —
Шептал завистливый иман, —
Но я открою сей обман.
Конечно, много может вера,
Однако ж не было примера,
Чтоб за хорошие дела
Давал червонцы нам Алла.
Люби его всю жизнь усердно,
А всё умрешь так точно бедно,
Каким родила мать тебя,
Когда не любишь сам себя,
И там прохлопаешь глазами,
Где должно действовать руками.
Пой эти песни простакам
И легковерным, а не нам.
Я сорок лет уже иманом,
И если с денежным карманом,
То оттого, что мало сплю
И кой-что грешное люблю.
И как, мой друг, ни лицемеришь,
Меня ничем не разуверишь;

Нашел ты, верно, добрый клад.
Проспорить голову я рад»...
И углубился в размышленье:
Каким бы образом именье
Себе Абдулово достать.
Пронырством истину узнать
Старанье тщетное — не можно:
Себя ведет он осторожно,
Прокрасться в дом к нему тайком
И деньги вынудить ножом —
Успех неверный и опасный;
Просить на бедных — труд напрасный;
Взаймы — не даст; украсть — нельзя...
Иман выходит из себя:
Нет средства обмануть Абдула.
Гадал, гадал, и вдруг мелькнула
Ему идея сатаны:
Пришельцем адской стороны
Иль просто дьяволом с когтями,
В козлиной шкуре и с рогами
Абдула ночью напугать
И деньги дьяволом отнять.
«Прекрасно, чудно, несравненно! —
Кричал стократно восхищенный
Своею выдумкой иман, —
Как дважды два мой верен план!»
Сказал, и разом всё готово.
Козла здорового, большого
В хлеву поспешно ободрал,
На палках шерсть его распял;
Сперва рукой, потом другою,
Потом совсем и с головою
В него с усилием он влез —
И стал прямой козел и бес.
«Как, как! Иман в козлиной шкуре?
Не может быть того в натуре, —
Кричат пятнадцать голосов, —
Не может быть людей-козлов!»

Друзья мои! Пустое дело:
Могу уверить очень смело
И вас и прочих молодых,

Людей неопытных таких,
Что в сто иль тысячу раз боле
Искусств таинственное поле
Открыто глупым дикарям,
Чем нашим важным хвастунам,
Всезнайкам гордым и надменным,
Полуневеждам просвещенным.
Поверьте: множество вещей
(Прочтите «Тысячу ночей»),
Которых мы не понимаем
И нагло вздором называем,
Враньем, несбыточной мечтой,
В степях Аравии святой,
За Индостанскими горами,
За неоткрытыми морями —
Не выдумки и не мечты,
А так известны, так просты,
Как наше древнее преданье
Об очень чудном наказанье
Царицей Ольгою древлян,
Как всякий рыцарский роман,
Как предречение кометы,
Как Фонтенели и Боннеты...
В козла запрятался иман,
Как русский прячется в кафтан.
В козлины лапы всунул ноги,
На голове явились роги,
С когтями, бородой, хвостом
И, словом, сделался козлом.

Коль говорить вам правду надо,
Я не видал сего наряда;
Но будь на месте я — не я,
Когда хоть каплю от себя
В моем рассказе я прибавил:
Мне это сведенье доставил
Один приехавший араб,
По имени Врилгихап-Хап.
Он человек весьма приятный,
И что важнее: вероятный —
Не лжет ни слова — и он сам
Свидетель этим был делам.

Спустилась ночи колесница,
Небес лазоревых царица —
Блеснула бледная луна;
Умолкло всё, и тишина
Простерлась в дремлющем селенье.
Свершив обряды омовенья,
Облобызавши алкоран,
Семейства мирных мусульман
Предались сладкому покою.
Один, с преступною душою,
В одежде беса и козла,
Забыв, что бодрствует Алла
И видят всё Пророка очи, —
Один лишь ты во мраке ночи,
Иман-чудовище, не спишь,
Как тень нечистая, скользишь
Как дух, по улице безмолвной,
Корысти гнусной, злобы полный!
Ты не иман, а Вельзевул!

И вдруг встревоженный Абдул,
К нему стучится кто-то, слышит,
И за дверьми ужасно дышит,
И дико воет, и скрипит,
И хриплым гласом говорит:
«Абдул, Абдул! вставай скорее,
Покинь свой страх, будь веселее;
Твой гость пришел, твой друг и брат,
Отдай назад, отдай мой клад;
Узнай во мне Адрамелеха!» —
И снова грозный голос смеха,
И визг, и скрежет раздались;
Крючки на двери потряслись,
Трещит она, валится с гулом —
И пред трепещущим Абдулом
Козел рыкающий предстал...
«Отдай мой клад! — он закричал. —
Отдай! — взревел громоподобно. —
Мне было дать его угодно,
И отниму его я вновь.
Где, гнусный червь, твоя любовь
И благодарность за услугу

Мне, избавителю и другу?

. . . .

Кому, о дерзостный, кому
Дерзал ты жаркие моленья
В пылу восторга и забвенья
За тайный дар мой приносить?

. . . .

Куда, Адамов сын презренный,
Моей рукой обогащенный,
Златые груды ты сорил?
Меня ли тратой их почтил?
Познал ли ты мирское счастье:
Забавы, роскошь, сладострастье,
Веселье буйное пиров
И плен заманчивых грехов?
Ты не искал моей защиты;
Пророк угрюмый и сердитый
Тебе приятнее меня —
Тебе не нужен боле я!..
Итак, свершись предназначенье:
Впади, как прежде, в униженье!
Отдай мой дар, отдай мой клад —
И будь готов за мною в ад!» —
«О сильный дух, о дух жестокой! —
Вскричал Абдул в тоске глубокой. —
Постой, постой! возьми твой клад,
Но страшен мне, ужасен ад...»

. . . .

. . . .

Иман, схватив скорей мешок,
Лихим козлом из дому — скок;
Ему как пух златое бремя,
Как Архимед в старинно время,
«Нашел!» — он радостно кричит
И без души домой бежит.
Примчался, кинул деньги в сено
И стал из дьявольского плена
Свой грешный труп освобождать,
И так и сяк, тянуть и рвать
Бесов лукавых облаченье.
Нет, ни искусство, ни уменье,
Ничто нимало не берет;

Козлина шерсть с него нейдет;
Вертится, бесится, кружится,
Потеет, душится, бранится,
Пытает снять с себя козла —
Нет силы... кожа приросла!

Что делать? Бедный ты невежда!
Исчезла вся твоя надежда:
Сырое липнет на сухом —
А ты не слыхивал о том?
Когда б ты знал хотя немного,
Что запрещается престрого,
От европейских докторов
(От самых сведущих голов)
Не только в шкуры кровяные
И не совсем еще сухие
Влезать, как ты изволил влезть,
Но даже стать на них иль сесть —
Чему есть многие причины
(Которых, впрочем, без латыни
Тебе не можно рассказать), —
То верно б шкуру надевать
Тебе не вздумалось сырую;
Теперь же плачь и вопи: вскую!

Реви, завистливый иман,
Кляни себя и свой обман,
Терзайся, лей рекою слезы,
Твое лукавство и угрозы
Увлечь ограбленного в ад
Теперь тебя лишь тяготят;
И шерсть козлиная с тобою
Пребудет ввек, как с сатаною,
Который с радостию злой
Теперь летает над тобой.
«Иман, иман! — тебе на ухо
Шипит ужасный голос духа,
Как шорох листьев иль змеи. —
Приятны ль цехины мои?»
Напрасно, мучимый тоскою,
Окован мощною рукою,
Бежишь в обитель спящих жен;

Они невинны: легкий сон
Смыкает сладостно их очи,
Для них отрадны тени ночи,
В душе их царствует покой.
Напрасно с просьбой и мольбой
Ты ожидаешь состраданья;
Твой гнусный вид, твои рыданья,
Твои слова: я ваш супруг!
Как громом их сразили вдруг.
Испуга пагубного жертвы,
Они упали полумертвы
При этих горестных словах.
«Не муж явился к нам в рогах,
С брадой и шерстию козлиной,
Но дух подземный, нечестивый,
Приняв козла живого вид,
Его устами говорит».

И крик детей, и жен смятенье,
И в доме страшное волненье,
И визг, и вой: «Алла, Алла!»
И быстролетная молва,
И речи, сказки об имане,
И о смешном его кафтане
В селеньи быстро разнеслись.
«Где, где он? — вопли раздались. —
Кажите нам сего урода!»
И сонмы буйные народа
К нему нахлынули на двор.
«Вот дух нечистый, вот мой вор! —
Кричал, с горящими глазами,
И угрожая кулаками,
И вне себя, Абдул-Мелек. —
Отдай, презренный человек,
Сейчас мешок мой с золотыми,
Или я в ад тебя за ними,
Исчадье адово, пошлю;
Отдай мне собственность мою!»

«Абдул, Абдул! — сказал несчастный. —
Теперь я вижу, что напрасно
Не чтил Аллу я моего:

Правдиво мщение его!
Возьми твой клад: мне бес лукавый
Вдохнул поступок мой неправый».

«Теперь он боле не иман!
Его на петлю, на аркан! —
Кричал народ ожесточенный. —
Пускай во все концы вселенной
Пройдет правдивая молва,
Что так за гнусные дела
У нас карают всех злодеев».
. . . .
«Ура! — раздался общий крик,
Пророк божественный велик!
Пред ним не скрыты преступленья,
И грозен час его отмщенья!
Покинь, Абдул, покинь твой страх:
Иман и клад в твоих руках!»

«Так награждаются обманы
И козлоногие иманы!» —
Абдул безжалостно твердил
И по селу его водил
С веревкой длинною на шее.
«Сюда скорей, сюда скорее!» —
Кричали зрители вокруг,
И хилый дедушка и внук,
И стар и молод собирались,
Козлу смешному удивлялись
И тайно думали: «Алла!
Не дай нам образа козла!»

Уже то время миновало;
Имана бедного не стало;
Покрыла гроб его ковыль;
Но неизгла́димая *быль*
Живет в преданьях и рассказах,
И об имановых проказах
Там и доселе говорят
И детям маленьким твердят:
«Дитя мое! Не делай злого
И не желай себе чужого,

Когда не хочешь быть козлом:
За зло везде заплатят злом».
И в час полночи молчаливый
Ребенок робкий и пугливый
Со страхом по полю бежит,
Где хладный прах его лежит.
И мусульманин правоверный
Еще доселе суеверно
Готов пришельцу чуждых стран
Сказать, что мертвый их иман
Нередко, встав из гроба, бродит
И криком жалостным наводит
Боязнь и трепет в тех местах,
Что — страшно думать о козлах.

<1826>

ЭРПЕЛИ

(Воинам Кавказа)

Глава I

Едва под Грозною[1] возник
Эфирный город из палаток
И раздался приветный крик
Учтивых егерских солдаток:
«Вот булки, булки, господа!»
И, чистя ружья на просторе,
Богатыри, забывши горе,
К ним набежали, как вода;
Едва иные на форштадте
Найти успели земляков
И за беседою о свате
Иль о семействе кумовьев,
В сердечном русском восхищенье
И обоюдном поздравленье
Вкусили счастие сполна
За квартой красного вина;
Едва зацарствовала дружба, —
Как вдруг, о тягостная служба!
Приказ по лагерю идет:
Сейчас готовиться в поход.
Как вражья пуля, пролетела
Сия убийственная весть,
И с ленью сильно зашумела
На миг воинственная честь.

---

[1] Крепость.

«Увы! — твердила лень солдатам, —
И отдохнуть вам не дано;
Вам, точно грешникам проклятым,
Всегда быть в муке суждено!
Давно ль явились из похода —
И снова, батюшки, в поход!
Начальство только для народа
Смышляет труд да перевод.
Пожить бы вам, хотя немного,
Под Грозной крепостью, друзья!
Нет, нет у Розена ни бога,
Ни милосердья, ни меня!
Пойдете вы шататься в горы;
Чеченцы — бестии и воры —
Уморят вас без сухарей;
Спросите здешних егерей!..» —
«Молчать, негодная разиня! —
В ответ презрительно ей честь. —
Я — сердца русского богиня
И подавлю пятою лесть.
Ужель вы, братцы, из отчизны
Сюда спешили для того,
Чтоб после слышать укоризны
От сослуживца своего:
«Они-де там не воевали,
А только спали на печи,
В станицах с девками играли,
Да в селах ели калачи!»
(Не воевали мы, бесспорно —
Есть время спать и воевать.)
Вам был знаком лишь ветер горный,
Теперь пора и горы знать;
Вы целый год здесь ели дули,
Арбузы, тёрн и виноград;
Теперь — прошу — отведай пули,
Кто духом истинный солдат!
Винить начальство грех и глупо:
Оно, ей-ей, умнее нас,
И без причины вместо супа
В котлы не льет гусиный квас.
Идите в горы, будьте рады,
Пора патроны расстрелять,

За храбрость лестные награды
Сочтут за долг вам воздавать;
А егерям прошу не верить,
Хоть лень сослалась на их гурт;
Они привыкли землемерить
Одну дорогу в Старый Юрт».[1]
Так честь солдатам говорила,
Паря над лагерем полка,
И лень печально и уныло
Ушла, вздохнув издалека.
Внезапно ожили солдаты;
Везде твердят: «В поход, в поход!»
Готовы. «Здравствуйте, ребята!» —
«Желаем здравия!» — И вот
Выходят роты. Солнце блещет
На грани ружей и штыков;
Крест на́-грудь — и как море плещет
В рядах походный гул шагов.
Вот Розен!.. Как глава от тела,
Он от дружин не отделен;
Его присутствием несмелый
Казак и воин оживлен!
Его сребристые седины
Приятны старым усачам:
Они являют их глазам
Давно минувшие картины,
Глубоко памятные дни!
Так прежде видели они
Багратионов пред полками,
Когда, готовя смерть и гром,
Они, под русскими орлами,
Шли защищать Романов дом,
Возвысить блеск своей отчизны,
Или, к бессмертью на пути,
Могилу славную найти,
Для вечной и бессмертной тризны!
Так прежде сам он был знаком
Седым служителям Беллоны;

---

[1] Старый Юрт — маленькая крепость, в восемнадцати верстах от Грозной. Возле самой крепости протекают между гор ручьи горячих минеральных вод.

Свои надежды, обороны
Они вторично видят в нем.
И полк устроенной громадой
По полю чистому валит,
И ветер свежею отрадой
Здоровых путников дарит.
Всё живо: здесь неугомонный
Гремит по воле барабан;
Там хоры песни монотонной
«Пал на сине море туман!»
Здесь «Здравствуй, милая», с скачками
Передового плясуна;
Веселый смех между рядами
И без запрету тишина.
Глубокомыслящие Канты
И на черкесских жеребцах,
В доспехах горских адъютанты,
Крутя столбом летучий прах,
Сверкают, вьются пред глазами.
День вечереет; за горой
С полублестящими лучами
Исчез бог света золотой.
Луна серебряной лампадой
Виднеет в небе голубом;
Заря вечерняя прохладой
Приятно веет над полком.
Вперед, вперед! еще немного —
Близка до станции дорога!
Вот ручеек горячих вод...
Отбой!.. Окончен переход!..

Глава II

Кто любит дикие картины
В их первобытной наготе,
Ручьи, леса, холмы, долины
В нагой природы красоте;
Кого пленяет дух свободы,
В Европе вышедшей из моды
Назад тому немного лет, —
Того прошу, когда угодно,

Оставить университет
И в амуниции походной
Идти за мной тихонько вслед.
Я покажу ему на свете
Таких вещей оригинал,
Которых, верно, в кабинете
Он на ландкартах не видал,
А, шедши фронтом, на походе
Увидит их по сторонам,
Как у себя на огороде
Чеснок и редьку по грядам.
Я покажу ему с улыбкой
На степи верст по пятисот,
На коих изредка ошибкой
Ковыль с мордвинником растет,
И, расстилаясь в день румяный,
Цветник сей длинной полосой
Блестит, как океан багряный,
Своей колючею красой.
Я покажу ему титана,
Который сед и стар, как бес,
В огромной области тумана
Всегда в войне против небес.
Из ребр его окаменелых,
Мильоном волн оледенелых,
Шумят и летом и зимой
Ручьи с свирепой быстротой.
Напрасно жар полдневный пышет,
Сразясь с тройным его венком,
Сердит и пасмурен, он дышит
Одними вьюгами и льдом.
Кругом, от моря и до моря,
Хребты гранита и снегов,
Как Эльборус, с природой споря,
Стоят от бытности веков;
И неприступная сияет
Из облаков их высота;
Туда лишь дерзкая мечта
С царем пернатых долетает.
Потом, направивши слегка
Полет и взору и надежде,
Я б показал тому невежде

Крутые горы из песка,
Которых около Валдая,
Раз десять в Питер проезжая,
Заметить, верно, он не мог.
А что за вид! Какой песок!
Куда ваш славный воробьевский!..
Какой-нибудь писец московский
Не только б в Думе пожалел
Засыпать им свой бред плутовский,
Но, право б, горсть тихонько съел!
Потом, пришедши с ним на берег,
Я б показал ему Сулак,
Лихую Сунжу или Терек;
Не утерпел бы он никак,
Чтобы не вскрикнуть: что такое,
Вода иль грязные помои?[1]
В ответ: «Помилуйте, вода, —
Сказал бы я ему невинно, —
Попробуйте, она чиста,
Как в Яузе или Неглинной!»
Потом любезному дружку
Я показал бы лес фруктовый,
В котором с девушкой суровой
Сойтись опасно пастушку,
Затем, что слишком мал в округе:
Верст десять только есть к услуге,
Да и довольно некрасив:
Из грушей, персиков и слив!
Спросил бы я его учтиво:
Давно ль он прибыл из столиц?
Едят ли там в июне сливы
Без покровительства теплиц?
На все вопросы таковые,
Глазища выпуча большие,
Стоял бы он передо мной,
Как сивка-бурка пред Бовой
Или как лист перед травой;
А я, в досужный час, от скуки,
В Костеках или Ташкичу́
Его ударя по плечу

[1] Все реки на Кавказе чрезвычайно быстры и мутны.

И взявши дружески за руки,
Зашел бы с ним за буерак
И, севши рядом, начал так:
«Мой милый! Очень натурально
Вам всем, столичным петушкам,
Из залы вышед танцевальной,
Дивиться здешним чудесам.
Вам всё здесь ново, всё забавно,
Я очень верю, потому
Что я и сам еще недавно
Об'лекся в ратную суму.
И я, мой друг, в былые годы
Ходил во фраках, да каких! —
Последней, самой лучшей моды,
Короткофалдых, обрезных!
Штаны на мне, я помню живо,
Любил носить я широко
Из казимира и трико,
Внизу с чешуйкою красивой.
А сапоги — ты, верно, знал
Все магазейны по бульвару —
Мне немец Хейн всегда шивал
По тридцати рублей за пару,
На вес пять-шесть золотников.
Вот был недавно я каков!
Так обратимся мы к предмету:
Я думал так же, как и ты,
Готов был целый век по свету
Искать чудес и красоты
В природе мудрой и премудрой,
Как нам твердит ученый хор,
И восхищался до тех пор,
Пока, мне кажется, за вздор
Меня распудрили не пудрой,
Как, может, ты предполагал.
. . . .
. . . . и что же?
Прошу пройтиться на Кавказ!..
С какою, думаешь ты, рожей
Узнал заслуженный приказ?
Не восхищался ли, как прежде,
Одним названием Кавказ?

Не дал ли крылышек надежде
За чертовщиною лететь,
Как то: черкешенок смотреть,
Пленяться день и ночь горами,
О коих с многими глупцами
По географии я знал,
Эльбрусом, борзыми конями,
Которых Пушкин описал,
И прочая... Ах, нет, мой милый!
Я вспомнил то, кем прежде был,
Во что господь преобразил, —
И с миной кислой и унылой
И нос и уши опустил!
Пришед сюда, я взором диким
Окинул всё, что прежде мне
Казалось чудным и великим, —
И всем скучал наедине,
В шуму пиров и тишине!
Вот эти дивные картины:
Каскады, горы и стремнины...
С окаменелою душой,
Убитый горестною долей,
На них смотрю я поневоле,
И верь мне: вижу из всего
Уродство — больше ничего!
Быть может, друг мой (почему же
Не быть подобному с тобой?),
Поссорясь ветрено с судьбой,
Ты сам наденешь фрак поуже
Или две капли так, как мой;
Тогда судить умнее станешь,
Навек поклонишься мечтам —
И удивляться перестанешь
Кавказа вздорным чудесам.

Глава III

Меж тем уходит день за днем
Неизменяемым порядком;
Жары над странственным полком
Сменяет ночь в молчаньи кратком;

За переходом переход:
Степьми, аулами, горами
Московцы дружными рядами
Идут послушно, без забот.
Куда? Зачем? В огонь иль в воду?
Им всё равно: они идут,
В ладьях по Тереку плывут,
По быстрой Сунже ищут броду;
Разносит ветер вдоль реки
С толпами ратных челноки;
Бросает Сунжа вверх ногами
Героев с храбрыми сердцами.[1]
Их мочит дождь, их сушит пыль...
Идут — и живы, слава богу!
Друзья, поверьте, это быль!
Я сам, что делать, понемногу
Узнал походную тревогу,
И кто что хочет говори,
А я, как демон безобразный,
В поту, усталый и в пыли
Мочил нередко сухари
В воде болотистой и грязной
И, помолившися потом,
На камне спал покойным сном!..
А вы, бифштексы и котлеты,
Домашних кухней суета,
Какие лестные приветы
Я вам выдумывал тогда!
С каким живым воспоминаньем,
С каким чудесным обоняньем
Перед собой воображал!
Я вас не резавши глотал,
Без огурцов и кресс-салата...
А на поверку, наконец,
Увы, хоть съел бы огурец,
Да нет их в ранце у солдата!
. . . .
. . . .

[1] Сунжа в самых мелких местах так быстра, что невозможно сильному человеку ступить шагу, не подавшись в сторону. Большая часть солдат переходила ее, держась между собой за руки, а некоторые падали с ружьями.

Уже осталося за нами
Довольно русских крепостей,
В которых рядом с кунаками
Живут семейства егерей,
Или, скажу яснее, роты
Линейной егерской пехоты
Из сорок третьего полка.
Уж наши воины слегка
Болтать учились по-чеченски,
Как встарь учились по-немецки,
И восхищались от души
(Таков обычай русской рати),
Когда случалося им кстати
Сказать «яман» или «якши».
Уже тарутинцы успели
Подробно нашим рассказать,
Притом прибавить и прилгать,
Как в Турции они терпели
От пуль, и ядер, и чумы,
Как воевали под Аджаром,
И, быль украшивая с жаром,
Пленяли пылкие умы,
Всегда лежавшие на печке...
Мы, в разговоре деловом
Прошедши вброд еще две речки,
К Внезапной крепости тишком
Пришли внезапно вечерком...
Вот здесь и точка с запятою...
Я должен тон переменить
И, как поэт отважный, вдвое
Серьезней дело пояснить.
Итак, принявши тон серьезный,
Скажу вам так: когда из Грозной
Пошли мы, грешные, в поход,
То и не думали, не знали,
Куда судьба нас заведет.
Иные с клятвой утверждали,
Что мы идем на смертный бой
В аул чеченский, не мирной;
Другие, впятеро умнее
И на сужденье поскромнее,
Шептали всем, понизя тон,

Что наш второй баталион
Был за Андреевской нещадно
Толпою горцев окружен.
Все пели складно, да не ладно;
Один поход мог доказать,
Как хорошо умеют врать.
Замечу здесь: все офицеры,
Конечно, знали наперед
Вернее, нежель мушкатеры,
Куда судьба их заведет;
Но знали так, как думать должно,
Не для других, а для себя;
Итак, рассказов не любя,
Хранили тайну осторожно.
Теперь, к Внезапной подходя,
Засуетились все безбожно:
«Да где ж второй наш батальон?
Ведь, говорят, в осаде он». —
«Э, вздор, налгали об осаде:
Он здесь с бутырцами стоит;
Смотрите, ежели в параде
Он нас принять не поспешит». —
«Да, если здесь, то, верно, выйдет».
Идет наш первый батальон —
И что же? Место только видит,
Где был второй... «Да где же он?» —
Один другого вопрошает;
А тот в ответ ему: «Бог знает!»
Меж тем и спать уже пора...
Как раз раскинули палатки
И разрешение загадки
Все отложили до утра.

Глава IV

Вали бессменный Дагестана[1]
И русской службы генерал,
В Тарках, без трона и дивана,
Сидел владетельный шамхал.

[1] Один из титулов шамхала.

Ему подвластные могоги
В папахах,[1] с трубками в руках,
Сложив крестом смиренно ноги,
Сидели также на коврах,
Как одурелые французы
От русской пули и штыков.
Они внутри своих лесов
Покойно сеяли арбузы,
Пшеницу, просо и саман,[2]
В душе, быть может, персиян
И турок нам предпочитали,
Но между тем, боясь плетей,
Без отговорок и затей,
Уставы наши принимали,
Склонясь покорною главой
Перед десницей громовой.
Враги порядка и покоя,
Они, подчас от злобы воя,
Точили шашки на кремнях;
Но грохот пушки на горах,
Вослед словесных увещаний,
Всегда и быстро укрощал
Тревоги буйственных собраний
И мир в аулах водворял.
Так их смирял Ермолов славный,
Так на равнинах Эрпели́
Они позор свой погребли,
Вступивши с Граббе в бой неравный.
С тех пор устроенной толпой,
Смиряя пыл мятежной страсти,
Они под кровом русской власти
Узнали счастье и покой.
Последний луч надежды темной
Бросал в разбойничий аул
Глава Востока — Истамбул,
Но, сокрушив кумир огромный
И льва тавризского связав,
С брегов Аракса до Кубани,

[1] Персидская шапка.
[2] Персидский табак.

Могучий росс, питомец брани,
Лишил злодеев тщетных прав.
Закоренелые невежды,
От Черных гор до снеговых,
С потерей слабой их надежды
Вписались все в число мирны́х.
Какой-нибудь Самсон презренный
Или преступный Каплунов,[1]
Спасаясь казни заслуженной,
Тревожат мир ночных воров
И потаенными стезями
С мирны́ми, добрыми друзьями
Из гор являются врасплох
Перед стадами земляков.
Но правосудный меч в размахе
Висит на нити роковой,
И рано ль, поздно ль головой,
В оцепенении и страхе,
Злодеи дань позорной плахе
Заплатят жалкой чередой.
Итак, кавказские герои
В косматых шапках и плащах,
Оставя нехотя в горах
Набеги, кражи и разбои,
Свою насильственную лень
Трудом домашним заменили,
И кукурузу и ячмень
С успехом чудным разводили.
Как вдруг в один погодный день,
На зло внезапное и горе,
Из моря или из-за моря,
О том безмолвствует молва,
У них явился гость отменный,
Какой-то гений исступленный,
Пророк и поп *Кази-Мулла.*
Как муж, ниспосланный от бога
Для наставленья мусульман,
Нося открытый алкоран,
Он вопиял сначала строго

[1] Беглые русские солдаты, проживающие у горских разбойников, известные своею отважностью и ненавистью к соотечественникам.

На тьмы пороков и грехов
Своих почтенных земляков;
Стращал их пагубною бритвой,
Которой к раю на пути,
Запасшись доброю молитвой,
Должны их души перейти
Иль, отягченные грехами,
Упасть на огненное дно,
Где нечестивым суждено
Жить в вечной каторге с чертями.
«О, горе нам, Алла, Алла! —
Черкесы вторят с умиленьем, —
Велик и прав святой мулла
С ужасной бритвой и мученьем!»
А он, усами шевеля,
Как голова на сходе шумном,
И знаком вопли прекратя,
Вещал в пророчестве безумном:
«Откройте сонные глаза,
Развесьте уши все народы!
Грядут со мною чудеса
И воскресение свободы!
Определения судьбы
Готовят нам иную долю:
Исчезнет Русь, конец борьбы —
Вы возвратите вашу волю!
Жив бог, а я — его пророк!
Его уста во мне вещают;
В моей деснице пребывают
И жизнь, и смерть, и самый рок!
Как дождь нежданный и обильный,
Мы ополчимся на врагов,
Прогоним их рукою сильной
С анапских пашен и лугов,
С холмов роскошных Дагестана,
И ненавистного тирана
Свободных гор, без оборон,
Обратно вытесним за Дон!
О, верьте! Крепости, станицы
И села русских — прах и тлен;
Их дети, жены и девицы
Узнают гибель, месть и плен,

И населят леса и степи,
У нас отнятые войной,
И только с смертию земной
Спадут с них тягостные цепи!»
И раздались и вопль и стон:
«Исчезни, Русь, ступай за Дон!»
Смутились буйственные горы;
В мятежных сонмах, в тишине,
Везде идут переговоры
Об удивительной войне.
Везде мулла благовествует;
Он — им посланник от небес,
Нигде ни шагу без чудес:
Там он покойно марширует,
Все видят, босый, по реке;
Там улетает налегке
К седьмому небу из аула;
Там обращает кошку в мула,
А здесь забавной чередой
Переменяет вид природный
И перед вами, как угодно,
Без бороды и с бородой!
В один и тот же миг нежданный
Изволит быть в пяти местах,[1]
Короче: поп довольно странный,
Хотя б и в русских деревнях...
Что делать? Шутка не до смеха!
Пошла ужасная потеха.
Черкес мирно̑й и немирно̑й —
Все бредят мыслию одной:
Скорей исполнить предсказанье,
Закон докучный истребить
И Русь святую на изгнанье
За Дон широкий осудить.
Иные, кое-где от скуки,
Уже сбирались по ночам;
Но им, как дерзким шалунам,
Веревкой связывали руки;
Другие, несколько умней,

---

[1] Ничего вымышленного: верный отголосок молвы горцев о чудесах новоявленного пророка.

С мирского общего совета,
Держались неутралитета
И ожидали лучших дней.
Но больше всех, как якобинцы,
Взбесились жители земли
Под управлением вали —
Неугомонные тавлинцы;
За ними вслед койсубулинцы.
Шамхал, заботливый старик,
Кричал о казни громогласно,
Но беспокоился напрасно,
И бунт торжественно возник...
Читатель, ежели ты сроду
Хотя две книги прочитал,
То непременно угадал
Причину нашего похода.
Что будет далее, прошу
Меня не спрашивать заране:
Ты не останешься в обмане;
Я всё подробно опишу.

Глава V

Когда по высшему веленью
Уничтожались иногда
С лица земного города,
То мудрено ль землетрясенью —
Хочу я физиков спросить —
Аул кумыков навестить,
Разрушить две иль три мечети,
В которых набожно с муллой
Молились девы, старцы, дети
Перед невидимым Аллой —
И вдруг с глухим подземным гулом,
Под грудой камней и столпов,
Прейти в обители отцов?
Вот быль с Андреевским аулом:
Шесть суток гром по временам
Из тьмы кромешной по горам
Носился тихо и протяжно,
Потом решительно и важно
Во всех местах загрохотал,

Дома и сакли разметал,
Испортил в крепости строенья,
Казармы, стены, укрепленья —
И... очень скромно замолчал.
Сего печального явленья
Мы не застали, но следам
Еще живого разрушенья
Дивились с горестию там.
Всё было дико и уныло,
Всё душу странника в тоску
И грусть немую приводило.
Громады камней и песку,
Колонн разбитых пирамиды,
Степные пасмурные виды,
Туман волнистый над горой,
Кустарник голый и порой
Как будто мертвое молчанье...
Два дня томилось ожиданье:
Когда ж идти на явный бой,
Алкая смерти благородной?
Раздался снова шум походный —
И полк дружиной боевой
Идет дорогою степной.
Всё те же холмы, горы, реки,
Всё те же ветры и жары,
Сырые, вредные пары
И кукурузные чуреки, [1]
Всё те же змеи по полям,
Вода с землею пополам,
Кизиль неспелый, розан дикий,
Черешня с луком и клубникой,
Чеснок, коренья всех родов
И сыр из козьих творогов...
Идут... Седая пыль столбами
Летит вослед за казаками;
Мирные всадники толпой
Покойно едут стороной;
Мешаясь с ними, офицеры
Заводят речи — на словах

[1] **Чуреки.** — Горцы вообще не имеют хлеба, а заменяют его чуреками — лепешками, печенными в золе, из проса, пшена или кукурузы.

И пантомимой — о конях,
Кинжалах, шашках; канонеры
За путевым экипажом
Идут с зажженным фитилем;
Джигиты бешеные скачут;
Трещат колеса по кремням;
Арбы немазаные плачут;
Везде и крик, и шум, и гам.
Там с крутизны несется фура,
Там, между узких дефилей,
Впрягают новых лошадей...
Но вот аул Темир-Хан-Шура
Мелькнул за речкою вдали;
Вот ближе, ближе... Перед нами...
Прошли — привал! .. И за стенами
На отдых воины легли.
Вода кипит, огонь пылает;
Быки в котлах, готов обед;
Здоровы все, усталых нет!
Вдруг шум внезапный прерывает
Воинский добрый аппетит.
Глядим... Какой чудесный вид!
Из-за горы необозримой
Необозримою толпой,
Покорной, тихою стопой
Идет народ непокоримый.
Потупя взоры, в тишине,
Как очарованы во сне,
Питомцы яростные брани;
Обезоружены их длани;
Ни пистолет, ни ятаган
Не красят пышного наряда;
Вся их надежда, вся ограда
Перед начальником отряда —
Их предводитель — Сулейман.
Печален, бледен, сын шамхала,
Склоня колена и главу,
Почтил безмолвно генерала.
Ковер раскинут на траву,
И, может быть, в виду народа,
За кратким отдыхом похода,
Судьба пришельцев решена!

Паше бумага подана...
Он пишет... кончил. С уваженьем
Вторично голову склоня,
Садится с ловким небреженьем
На подведенного коня.
Народ, князья, все равным кругом
Его обстали... На коней
Взлетают все... Быстрей, быстрей
Обратно скачут друг за другом
И, то являясь на горе,
То исчезая за горою,
Как свет на утренней заре
В борьбе с туманной пеленою
Иль при волшебном фонаре
Рои китайских легких теней,
Они сокрылись... Для чего?
Откуда, как и отчего?
Не предложу моих суждений,
Не объясню вам ничего,
Затем, что знаю очень мало;
Что́ знаю мало, не скажу,
А лучше место покажу,
Где всякой тайны покрывало
Всегда прозрачно и светло,
Как изумруд или стекло.
Вот это место дорогое:
Оно на кухне у котлов.
Там всё премудрое земное;
Там ежедневно от голов
Веселых, добрых, беззаботных
И завсегда словоохотных
Легко вы можете узнать
Такие вещи в белом свете,
О коих даже в кабинете
Не часто смеют рассуждать.
Там всё подробно вам докажут,
А в заключение того
С божбой анафемскою скажут,
Что этот слух от самого
Кузьмы Савельича Скотова.
«Коль скоро так, тогда ни слова,—

Все закричат, разиня рот, —
Кузьма Савельич не соврет!»
А кто он? — спросите вы кстати;
Да генеральский человек...
Ужели то вам невдомек?
Таков обычай русской рати.
Прошу пожаловать за мной
К котлам... поближе... так... садитесь.
Вот ложка вам, перекреститесь...
Бульон здоровый и мясной...
Чу!.. О тавлинцах разговоры.

Кашевар 1-й

Да, да, естественные воры!
Коль наших нет, так берегись, —
Башку сорвут, как звери злые;
Отрядом только покажись —
И все приятели мирные.

Кашевар 2-й

Весь в красном, сколько серебра
На шароварах и бешмете.

Кашевар 1-й

Как не иметь ему добра,
Порезав нас, на белом свете?

Мушкатер
(раскуривая трубку)

Сперва словами улещал,
Что бунтоваться уж не станет,
А после клятву написал.

Голосов 10

Небось!.. Московских не обманет!..

Кашевар 1-й

Я, говорит он, воевать
С царем российским не намерен,
А чтоб он был во мне уверен,
Готов ему присягу дать
И серебра, и много злата.

А есть в горах у нас два брата,
Которых трусит весь Кавказ, —
Они воюют против вас.

Кашевар 2-й
(из-за котла)

Уймем не этаких нахалов.

Кашевар 1-й

А я, дескать, Мирза Шамхалов,
Ваш вечный данник и слуга!

Мушкатер

Забудет гневаться... Ага!..
А сколько верст еще до места?

Кашевар 1-й

Да что! С хорошего присеста
Часа в четыре мы дойдем.

Кашевар 2-й

И всех их завтра перебьем!
Да, если б что-нибудь под руку
Случилось, братцы, мне поймать,
Уж то-то б стал я разгонять
На кухне тягостную муку,
Всегда б был навеселе, пьян!

Кашевар 1-й

Гей, вы, вставайте, барабан!

Котлы, котлы! Как сходны вы
С столами светских сибаритов,
Где пресыщаются умы,
За недостатком аппетитов,
Болтаньем сплетницы-молвы!
А вы, одутливые бары,
Среди поклонников своих —
Желудков тощих и пустых, —
Вы в полном смысле кашевары!

Глава VI

Вот наконец мы и пришли
Под знаменитый Эрпелй!
В пяти частях моих записок
Представя вкратце весь поход,
Я должен здесь, как Вальтер Скотт
Или Байрóн, представить список
С живых, разительных картин
Вам, мой любезный господин,
Иль вам, почтеннейшая дама,
(Которым вместо порошков
Смекнула ласковая мама
Поднесть тетрадь моих стихов.
Рецепт действительный, не спорю).
Но, к моему большому горю,
Я должен правду вам сказать,
Что не умею рисовать.
Учился прежде у Визара
Чертить контуры рук и ног,
Но смелой живописи дара
Понять, как Йогеля урок,
Подобно У...ну, не мог.
Простите ж мне мое незнанье —
Ему взамену есть старанье;
Мой безыскусный карандаш
Так точно верен без поверки,
Как на устах у лицемерки
Всегда готовый «Отче наш».
Картина первая: на ровном
Пространстве илистой земли
Стоит в величии огромном
Аул тавлинцев — Эрпелй.
Обломки скал и гор кремнистых —
Его фундамент вековой;
Аллеи тополей тенистых —
Краса громады строевой.
Везде блуждающие взоры
Встречают сакли и. заборы,
Плетни и валы; каждый дом —
Бойница с насыпью и рвом.
Над разорвавшейся рекою,

Бегущей с горной высоты,
Искусства чудною рукою
Везде устроены мосты;
Водовороты, переходы,
Каскады, мельница, отводы —
Всё дышит резкой наготой
Природы дикой и простой...
В ауле шум и конский топот,
Молчанье жен и детский хохот;
На кровлях, в окнах, у ворот
Кипящий ветреный народ,
Богато убранный, одетый,
Как кизильбаши персиян;
Там — атаманский ятаган;
Там — ружья, сабли, пистолеты
Блестят, сверкают серебром
В своем параде боевом;
Здесь — коней странные приборы:
Луки, уздечки, стремена;
Бород раскрашенных узоры,
Куски материй, полотна,
Едва скрывающие плечи
Седых, запачканных старух,
И лай собак на русский дух,
И крик, и визг, и сцены встречи,
И говор волн, и ветра гул —
Вот скопированный аул!..
Идем — и вид другой картины:
Среди возвышенной равнины,
Загроможденной с двух сторон
Пирамидальными горами,
Объявших гордыми главами
С начала мира небосклон,
Разбиты белые палатки...
Быть может, прежние догадки
Теперь решились: это он —
Второй наш добрый батальон!
Так, он — свободный, незапертый,
Как утверждали мы сперва,
Но вот еще здесь лагерь!.. два!..
И три!.. наш будет уж четвертый...
Идет всё далее отряд...

Вот эполеты забелели.

. . . .

Бутырцы красные блестят...
Московцы странно говорят...

. . . .

Какой же братцы это полк?
Куринский! — некто отвечает

. . . .

И начался тихонько толк!
Меж тем особу генерала
Два сына старого шамхала,
Со свитой пышною князей
И благородных узденей,
С благоговеньем окружали
И на челе его читали
И мир и грозный приговор —
Великой правды договор.
Поборник древний русской славы,
Как полководец величавый,
Он привлекал к себе сердца;
В нем зрели с чувством удивленья
Два неразрывные стремленья:
И властелина и отца.
Что мыслил он? Что отражалось
Во глубине его души?..
Не смеем знать... нам оставалось
Молить всевышнего в тиши;
О чем молить — другая тайна:
Ее постигнуть может тот,
Кто духом истый патриот;
Для злых она необычайна.
О Эрпели́, о Эрпели́!
И ты уроком для земли!
И ты, быть может, для поэта
В другие дни, в другие лета
Послужишь пищею живой!
Ты воскресишь воспоминанье
О бурях сердца, о страданье
Души, волнуемой тоской,
Под игом страсти роковой!
Быть может, ежели холера
Меня в червя не обратит,

Походный грифель мушкатера
В карманной книжке сохранит
Твои леса, ручьи и горы,
И друга искреннего взоры
Прельстятся с правнуком моим
Изображением твоим.
Я расскажу им в час досужный
Об эрпелийской красоте
И эпизод довольно нужный
Не пропущу о баранте,
Кафир-Кумыке, Казанищах,
Где был второй наш батальон,
И о любезнейших дружищах,
Которым всё поведал он
Под сенью мирных балаганов:
Плененье горских пастухов
Со многим множеством баранов
И полновесных курдюков...
Тьмы разных случаев, тревоги
И приключения в дороге...
Все эти песни хороши,
Но вот что в голову мне входит:
Подчас за разум ум заходит,
А я теперь, хоть не пиши,
Заняться вздумал я мечтою
Нелепой, странной и пустою —
О счастье будущих времен,
А настоящие оставил
Тогда, как первый батальон
Еще палаток не поставил.
Итак, моя галиматья,
Adieu,[1] до будущего дня!

Глава VII

Не зная исстари властей,
Повиновенья и князей,
Вина мятежных покушений,
Бунтов и общего вреда —

[1] Прощай (франц.). — *Ред.*

В кругу шамхаловых владений
Гнездилась дикая орда.
На дне вертепов неприступных,
Таясь, как новый сатана,
Таить не думала она
Надежд и замыслов преступных:
Взирала гордо на позор
Бунтовщиков окружных гор,
Смирённых вдруг единым словом,
И, ненавидя мир и дань,
В ожесточении суровом
Она готовилась на брань.
Ни жребий явный истребленья,
Ни меры кроткие главы
Победных войск и ополченья
В виду защитной их горы,
Ни увещания тавлинцев
. . . .
Не укротили роковой,
Отважный бунт койсубулинцев.
С вершин утесов на отряд
Они смеются беззаботно,
Готовят пули и охотно
Кинжалы длинные острят.
Ни путь широкий, ни тропины
На их высокие стремнины
Стопы пришельцев не ведут.
Пред любопытными очами
Стоит с гранитными стенами
Природной крепости редут,
Недосягаемый, огромный.
В хаосе пропасти бездонной,
Как тартар буйный и живой,
Кипят свободные аулы...
Кто видел легкие черты
С картины адской суеты
В заводах Брянска или Тулы,
Где неумолчною чредой
Гудят и стонут над водой
Железо, медь, чугун и камень,
Где угли, искры, жар и пламень
Блестят, сверкают и шумят,

Где гвозди, молоты, машины
И рук искусственных пружины
В насильном действии звучат
И поражают удивленьем
И свежий слух и свежий взор, —
Того незначащим сравненьем
Знакомлю с видом этих гор.
Дыша слепым ожесточеньем,
Там всё кипит вооруженьем:
Как муравьиные рои,
Мелькают всадники и кони;
Куют джелоны, сбруи, брони,
Чеканят ружья, лезвии;
Везде разъезды, шум и топот;
В глухой дали отзывный грохот,
Огни, пальба, воинский крик
И в кольцах грудь — на русский штык.
Они не знают нашей встречи;
Им незнаком открытый бой;
Питомцы наглых битв и сечи,
Они не зрели над собой
Свистящих ядер и картечи.
Но рати северной приход
Даст брани новый оборот
. . . .
. . . .
. . . . В восьми верстах
От гордой вражьей цитадели,
Среди равнины на холмах
Шатры отряда забелели.
Здесь видим дружные полки
С брегов Москвы благословенной;
А там — граненые штыки
Пехоты русской отдаленной,
Из заграничных городов,
Всегда готовые на зов
Царя, начальников и чести;
Там, гибель верная врагов,
Алкая крови, бед и мести,
Стоит ватага казаков;
И там за лагерем походным
Ибрагим-бек и Ахмет-хан,

Князья от крови мусульман,
Пылая рвеньем благородным,
Из разных стран под Эрпели́
Свои дружины привели.
У них кумыки и тавлинцы
С свинцом и сталью на конях,
И с ятаганами в боях
Пехота горцев — мехтулинцы.
У вод холодного ручья
Аул летучий их мятется,
И знамя розовое вьется
Над белой ставкою вождя.
Все ждут решительной осады,
Все ждут и смерти и награды. . .
И вот на утренней заре
Отрядом легким батальоны
С весельем двинулись к горе.
Пути не видно. . . Нет препоны!
Война и слава не без слуг:
С подошвы горной сотни рук
Взрывают новую дорогу.
Идут и роют. . . Впереди
Зияют пушки роковые,
Внутри рядов и позади
Кинжалы, ружья боевые
И беспардонные штыки.
Вот пуля свищет, вот другая. . .
Идут. . . Вот залп из-за кремней
Раздался, сверху пролетая. . .
Идут, работают смелей. . .
Уж высоко! Туман нагорный
Густеет, скрыл средину гор;
Темнеет день, слабеет взор.
Идут отважно и упорно.
Внезапный холод, ветер, дождь
Приводят в трепет нестерпимый, —
Идут стеной неотразимой!
Среди их друг и бодрый вождь!
Вот солнце яркими лучами
Блеснуло вновь. Туман исчез. . .
Они вверху, и пред глазами,
С огромной массою небес,

Как в неразрывной, длинной цепи,
Слились, казалось, горы, степи,
Холмы, долины. Целый мир
Представил чувствам дивный пир...
Безмолвно воины взирают
На точку светлую земли;
Едва заметные, мелькают
Под ними стан и Эрпели́.
Вдали, под крепостию Бурной,
Синеет моря блеск лазурный,
Ландшафт несвязный дальних стран,
И вкруг — воздушный океан...
Поражены недоуменьем,
Они бросают мутный взор
Во глубину ужасных гор,
Глядят... И, с радостным движеньем
От поразительных картин,
Отряд отхлынул от стремнин.
Там — света нового пространство,
Мифологическое царство
Подземных теней и духов;
Там елисейские долины,
О коих исстари веков
Не знают русские дружины,
Цветут средь рощей и дубров;
Там по гранитам зеленели
Кедровник, пихта, ольха, ели;
Там, роя камни и песок,
Сулак, как мелкий ручеек,
Бежал извилистой струею;
А там огромной полосою
Вдали тянулись над водой
Скалы безбрежною грядой, —
И тридцать шесть аулов бранных,
Покрытых мрачной тишиной,
Как сонмы демонов изгнанных,
В тени чернели рассыпной.
Глаза, очки, лорнеты, трубы,
Носы, фуражки, уши, губы —
Всё устремилось с высоты
В страну ужасной красоты.
Глядели, думали, дивились,

Кричали, охали, крестились,
И, изумленные, сошли
С полнеба к жителям земли...
Насилу кончил! Слава богу.
Устал! Позвольте замолчать...
Прорыв на первый раз дорогу,
Поэму буду продолжать.
Всего мучительней на свете
Серьезный выдержать рассказ,
А я, имейте на примете,
Перо туплю не на заказ,
Без подлой лести и прикрас.
Не знаю, строгая цензура
Меня осудит или нет;
Но всё равно — я не поэт,
А лишь его карикатура.

Глава VIII

«Ну-ну, рассказчик наш забавный, —
Твердят мне десять голосов, —
Поведай нам о битве славной
Твоих героев и врагов!
Как ваше дело, под горою?» —
«Готов! согласен я, пора!
Итак, торжественно со мною
Кричите, милые: ура!» —
«Ба! и сраженье и победа,
Как после сытного обеда
Десерт и кофе у друзей!
Так скоро?» — «Ровно в десять дней
Покорность, мир и аманаты —
И снова в Грозную поход!» —
«Какой решительный расчет,
Какие русские солдаты!
Но как, и что, и почему?»
Вот объяснение всему:
Койсубулинская гордыня
Гремела дерзко по горам;
Когда ж доступна стала нам
Их недоступная твердыня

Посредством пушек и дорог
(Чего всегда избави бог),
Когда злодеи ежедневно,
Как стаи лютые волков,
На нас смотрели очень гневно
Из-за утесов и кустов,
А мы, бестрепетною стражей,
Меж тем работы берегли
И, приучаясь к пуле вражьей,
Помалу вверх покойно шли,
И скоро блоки и машины
Готовы были навестить
Их безобразные вершины,
Чтоб бомбой пропасть осветить, —
Тогда военную кичливость
У них рассудок усмирил
И непробудную сонливость
Бессонный ужас заменил.
Сначала бодрые джигиты,
Алкая стычек и борьбы,
Они для варварской пальбы
Из-под разбойничьей защиты
Приготовляли по ночам
Плетни с землею пополам,
Дерев огромные обломки,
И, давши залп оттуда громкий,
Смеялись нагло русакам,
Стращали издали ножами
С приветом: «яур» и «яман» —
И исчезали, как туман,
За неизвестными холмами;
Но после, видя жалкий бред
В своем бессмысленном расчете,
Они от явных зол и бед
Все были в тягостной заботе.
Едва зари вечерней тень
Прогонит с гор веселый день
И ляжет сумрак над полями —
Никем не зримыми толпами
В ночном безмолвии они
Разводят яркие огни,
Сидят уныло над скалами

И озирают русский стан,
Который, грозный, величавый
И озарен луной кровавой,
Лежит, как белый великан.
С рассветом дня опять в движенья
Неугомонная орда:
Отрядов сменных суета
И новых пушек появленье
Своей обычной чередой —
Всё угрожает им бедой,
Неотразимою осадой.
Невольный страх сковал умы
Детей отчаянья и тьмы
За их надежною оградой...
И близок час, готов удар!
Кипит в солдатах бранный жар!
Полки волнуются, как море!
Последний день... и горе, горе!..
Но вот внезапно мирный флаг
Мелькнул среди ущелий горных;
Вот ближе к нам — и гордый враг,
С смиреньем данников покорных,
Идет рассеять русский гром,
Прося с потупленным челом
Статей пощады договорных...
Статьи готовы, скреплены...
Народов диких старшины
Решают участь поколений.
Восходит светлая заря...
В параде ратные дружины:
Койсубулинские стремнины
Под властью русского царя!
Присяга нового владенья —
И взорам тысячей предстал
Победоносный генерал
Без битв и крови ополченья!..
Цветут равнины Эрпелй,
Покой и мир в аулах бранных;
Не видят более они
Штыков отряда троегранных,
В своих утесах вековых
Не слышат пушек вестовых!

Громада зыбкая тумана,
Молчанье, сон и пустота
Объемлют дикие места
Надолго памятного стана.
И стан под Грозною стоит...
Но дума, дума о прошедшем
Невольно сердце шевелит;
В бреду поэта сумасшедшем
Я дни минувшие ловлю
И, угрожаемый холерой,
Себя мечтательною верой
Питать о будущем люблю.
Поклонник муз самолюбивый,
Я вижу смерть невдалеке;
Но всё перо в моей руке
Рисует план свой прихотливый.
Сойдя к отцам вослед других,
Остаться в памяти иных!
Быть может, завтра или ныне,
Не испытав черкесских пуль,
Меня в мучной уложат куль
И предадут земной пустыне...
В глухой, далекой стороне
От милых сердцу я увяну...
В угодность злобному тирану,
Моей враждующей судьбе!
Увидя мой покров рогожный,
Никто ни истинно, ни ложно
Не пожалеет обо мне.
Возьмут, кому угодно будет,
Мои чевяки и бешмет
(Весь мой багаж и туалет) —
И всякий важно позабудет,
Кто был их прежний господин...
А панихиды, сорочин,
Кутьи и прочих поминаний
Хоть и не жди! .. Вот мой удел!
Его без дальних предсказаний
Я очень ясно усмотрел...
Что ж будет памятью поэта?
Мундир? .. Не может быть! .. Грехи? ..
Они оброк другого света...

Стихи, друзья мои, стихи!..
Найдут в углу моей палатки
Мои несчастные тетрадки,
Клочки, четвертки и листы,
Души тоскующей мечты
И первой юности проказы...
Сперва, как должно от заразы,
Их осторожно окурят,
Прочтут строк десять втихомолку
И, по обычаю, на полку
К другим писцам переселят...
А вы, надежды, упованья
Честолюбивого созданья,
Назло холере и судьбе, —
Вы не погибнете с страдальцем:
Увидит чтец иной под пальцем
В моих тетрадках А и П,
Попросит ласковых хозяев
Значенье литер пояснить —
И мне ль бессмертному не быть? —
Ему ответят: «*Полежаев...*»
Прибавят, может быть, что он
Был добрым сердцем одарен,
Умом довольно своенравным,
Страстями; жребием бесславным
Укор и жалость заслужил;
Во цвете лет — без жизни жил,
Без смерти умер в белом свете...
Вот память добрых о поэте!

1830

КРЕДИТОРЫ

Что делать мне от кредиторов?
Они замучили меня!
От их преследующих взоров
Хоть бросься в воду из огня!
Пугаясь встречи их накладной,
Везде я бегаю, как вор;
Но, боже мой, как ни досадно,
Где ни ступи — всё кредитор!
Как саранча, как ополченья
Теней, лишенных погребенья,
Вокруг Хароновой ладьи —
Толпятся вкруг меня стадами
С своими жадными руками
Враги-мучители мои!
Как на трепещущее тело
В степи упавшего быка
Глядит толпа воронья смело,
Алкая жданного куска, —
Так мне глядят они в глаза
С ландшафтом харь и выраженья
Досады, злости, нетерпенья,
Притворной ласки — и следят
Меня, как рыбу или клад!
«Когда же? скоро ли? да что же?
Нам деньги нужны — ведь пора!
Легко ли ждали мы!» О боже,
Хоть отрекайся от двора!
Им деньги надобны — вот повесть;

Кому ж не надобны они?
Сошлюсь на чью хотите совесть.
Я вновь бы занял сотни три, —
Да что ж, когда никто не верит,
А только требуют уплат;
Тут и монах залицемерит,
Как за грехи потянут в ад...
«Как быть, любезные, терпите! —
Заимодавцам мой ответ. —
В другое время приходите,
Теперь, ей-ей, ни гроша нет!»
Отпевши так серьезным тоном
Иль «добрый день!» иль «добра ночь!»,
И кто с упреком, кто с поклоном,
Они идут лениво прочь.
Что ж, други? Честность несомненно
В стране подсолнечной нужна,
Но, признаюсь вам откровенно,
Нужда ужасна и сильна!
Не всякий выгодно повздорит
С негодной фурией-нуждой,
За словом дело переспорит,
Хоть будь волшебник не пустой!
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
Скажу короче: благороден,
. . . .
. . . . :
Богат, покоен и свободен,
Кто обстоятельствам не раб,
Кто сам больной и эскулап!..
Но тот, кого судьба от скуки
Согнуть изволит в три дуги,
Хоть будь сам черт, да пусты руки,
Без покровительств и поруки, —
Тот нос и уши береги!
Бывал и я когда-то в свете,
Кой-что нередко замечал —
И что ж осталось на примете?
Не много чести я видал!

Случалось вскользь видать в прихожей
Или на рынке где-нибудь,
Но все с такой дурною рожей,
Что даже страшно и взглянуть!
А у вельмож, господ чиновных,
Военных, светских и духовных,
. . . .
. . . .
. . . . В [церквах, дворцах]
Картежных клубах и парадах
Они являются без ней;
А что того еще смешней,
Они с богатством и чинами,
Живут одними лишь долгами...
И видел я издалека,
Что от долгов иные бары,
Хотя толсты, как самовары,
Но вместе тоньше волоска
И легче перышка гагары!
Их очень много — перечесть
За труд излишний почитаю.
Но вот о чем вас вопрошаю:
Куда ж они зарыли честь?
Смотрите: Н*** спешит к обеду,
В ландо разлегшись щегольском, —
И вот, оставивши беседу,
Домой торопится пешком.
Карета, лошади, лакеи
Исчезли вдруг, как чародеи:
Он конфискован за долги...
И здесь-то честь побереги!..
Спокойно лежа на диване
С хорошей трубкой табаку,
Имея тысяч сто в кармане
Да ни полтинника в долгу,
Конечно, нам о благородстве
Легко судить и рассуждать
И всех нечестных осуждать;
Но при большом недоброхотстве
Слепой фортуны, мудрено
Сказать, что бедность и раздолье,
Квас и шампанское, подполье

И пышный замок — всё равно!
Привычка к старому невольно
Банкрота мучит и крушит,
И превратиться в Ира больно
Тому, кто жил как сибарит.
Что ж делать в море от ненастья?
Искусно править у кормы.
Чем заменить потерю счастья?
Искусно деньги брать взаймы.
«Но брать взаймы, так брать с отдачей, —
Рычит кредиторский подьячий, —
На это есть свои права».
О, золотая голова!
Давай лишь денег нам поболе,
Под роспись или под заклад
(Чему не всякий, впрочем, рад),
А там в твоей, пожалуй, воле
По сроку требовать назад.
Греми, великий муж, протестом
И апелляций не забудь;
Коль нужно будет, то присестом
Махни по форме в земский суд
И налепи на просьбе в пуд
Печать свинцовой гирей с тестом...
А мы червонные твои
Меж тем на мелочь разменяем,
И, труся грозного судьи,
Кой-где меж водкою и чаем,
. . . .
Когда ж до медного рубля
Съедим, убьем и протранжирим,
То, совесть бережно храня,
Тебе ж его на зубы кинем
И будем вновь тебя просить,
Нельзя ли вновь нас одолжить.
Богат я, милый, вот проценты,
Изволь и с суммой получить!
Без денег — друг мой, документы
Храни, чтоб всё не упустить!
Расписка, вексель — деньги тоже;
А если — вздор! но от чего
Меж тем избави тебя боже! —

В уплату рвенья твоего
Ты не получишь ничего,
То укрепись по-философски,
Судом разделки не проси
И, как процентщик, по-геройски
Пустой урок перенеси.
Зачем срамить себя бесславно?
Припомни только без хлопот
Панглоса мудрого расчет:
Он доказал, и очень явно,
Что зло с добром в связи издавна
И всё здесь к лучшему идет.
Так что ж печальною мечтою
Тревожить робкие умы?
Перо с бумагой предо мною —
Давайте денег мне взаймы.
А вас, старинные знакомцы,
Прошу мне в уши не жужжать
И знать потверже, что червонцы
Сходнее брать, чем отдавать.
Отдам, отдам и вам, поверьте;
Но, ради бога, вкруг меня
Без шабаша не лицемерьте,
Дождитесь радостного дня!
Вот мы поправимся немного,
Свалим огромные грехи —
И не всегда невежды строго
Судить нас будут за долги,
Как нынче судят за стихи.
Прощайте! — Ох, как будто стало
Теперь на сердце веселей;
Авось мучителей, хоть мало,
Я тронул логикой своей!

<1832>

ЧУДАК

Дорогой в град первопрестольный,
Часа в четыре поутру,
Игрой судьбины самовольной
К ямскому сонному двору
Примчались быстро друг за другом
Две тройки и карета цугом.
Улан-красавец и корнет,
Мужчина в фраке, средних лет,
И барышня свежее розы,
С служанкой сивой, как морозы,
Выходят — входят, и гей-гей!
Давайте чаю поскорей!
Читатель, верно вам знакомы
Неугомонные содомы
Неугомонных ямщиков?
Итак, оставя кучеров
И слуг вертеться возле сена
И воевать за рубль промена,
Посмотрим лучше на свою
Разнообразную семью.
Облокотяся нерадиво
На стол, девица молчаливо
Сидит за чайником своим;
Улан, с искусством щегольским
Играя перстнем и часами,
В карман не лезет за словами,
И, как учтивый кавалер,
Желает знать всё, например:
Кто такова она? откуда?

Как имя ей? Мими, Земруда,
Или подобное тому?
Находит в ней достоинств тьму,
Обворожен ее румянцем,
Дивится вслух прелестным пальцам,
А втайне — ножке; да притом
Он мыслит также о другом.
Невольно барышня краснеет;
Но он нимало не робеет,
Осаду правильно ведет
И смело в чашку рому льет...
Другая резкая картина:
Во фраке, средних лет мужчина,
Качая важно головой,
Как будто занятый большой
Алгебраической поверкой,
С полуоткрытой табакеркой
И весь засыпан табаком,
Ходил задумчиво кругом.
Вдруг, скуча долгим размышленьем,
Подходит к барышне с почтеньем
И предлагает ей... чего? —
Понюхать... Барышня его
Глазами мерит с удивленьем
И отвечает с наклоненьем:
«Покорно вас благодарю —
Не нюхаю и не курю».
В ответ ни слова, хладнокровно
Отходит прочь сопутник скромный;
Минуты две спустя потом
Вновь угощает табаком:
«Прошу понюхать!» — «Я сказала, —
Смутясь, девица отвечала, —
Что я не нюхаю». — Улан,
Поставя выпитый стакан,
Взглянул, скосясь, на господина;
Но беззаботливая мина
В широком фраке чудака
Смягчила гнев его слегка.
Пунш снова налит; всё как прежде.
Но непонятному невежде

Неймется, — барышне опять
Идет табак свой предлагать.
«Прошу понюхать!» — Градом слезы
Кропят ланит прелестных розы.
«Что вам угодно от меня? —
Вскричала жалостно она. —
Подите дальше, ради бога!» —
«Опять, уж это слишком много! —
Вскричал значительно улан. —
Вы наглы, сударь, вы буян!
Прошу разделаться с корнетом
За наглость даме пистолетом». —
«Зачем не так: я очень рад».
Готовы пули. Идут в сад.
Курки на взводах — бац! С корнета
Летит долой пол-эполета;
Соперник жив, без картуза.
Глядят, разиня рот, в глаза
Друг другу храбрые герои;
Потом сближаются — и двое
Вдруг составляют одного!
Ура! — и больше ничего...
На стол являются бутылки.
Улан, в движеньях гнева пылкий,
Был в дружбе также щекотлив:
В карманной книжке начертив,
Свой полный адрес в память другу,
Пожал ему усердно руку,
Два раза в лоб поцеловал
И в ближний город поскакал.
А барышня? О други, прежде,
Пока забавному невежде
Защитник скромности — корнет
Дал в руку смертный пистолет,
Она, с досады и испуга,
Не дождалась другого цуга
И кое-как на четверне
С двора сверкнула в тишине.
А наш чудак с серьезной маской
Теперь один в кибитке тряской
Летит дорогой столбовой —
На встречи новые и бой.

И точно: вдруг в глуши крапивной
Он слышит стон и вопль разрывный,
И колокольчик в стороне.
Кинжал и сабля на ремне,
Ружье с картечью у лакея, —
Чего бояться? Не робея
Летит крапивою на стон —
И что ж, кого встречает он?
Два мужика... один с дубиной,
С звероподобной образиной,
За вожжи держит лошадей
Несчастной барышни моей;
А кучер с старою служанкой
Лежат бездушною вязанкой,
Опутаны без рук и ног
Веревкой вдоль и поперек...
«О боже! стой!» — вскричал он внятно;
Вооруженный сбруей ратной,
Спешит к красавице. Кинжал
С ружьем и саблей заблистал.
Злодеи — в бегство. «Вы свободны!» —
Гласит ей витязь благородный.
Пошло всё прежним чередом,
И он — в карете с ней вдвоем
Как друг и ангел-охранитель.
«Чем заплачу вам, мой спаситель?» —
Твердит девица чудаку.
«Прошу понюхать табаку!» —
А после? Что болтать пустое?
Они в Москву явились двое,
Смеялись, думали; потом
Накрыл священник их венцом;
Потом всё горе позабыли,
Гуляли, спали, ели, пили —
И, приучившись к чудаку,
Она привыкла к табаку.

<1832>

ДЕНЬ В МОСКВЕ

Я дома... Боже мой, насилу вижу свет!
Мой милый, посмотри, в уме я или нет?
Не видишь ли во мне внезапной перемены?
Похож ли на себя? С какой ужасной сцены
Сейчас я ускользнул!.. Где был я, о творец!
Я мукой заслужил страдальческий венец!..
Нет, Сидор Карпович, покорнейшим слугою
Прошу меня считать, но в дом к вам ни ногою,
Хотя б вы умерли, не буду никогда.
«Что сделалось с тобой?» — «Беда, беда, беда!» —
«Положим, что беда; но объяснись как должно». —
«Нет сил пересказать, наказан я безбожно.
Послушай и суди: сегодня поутру
Сам черт меня занес к mademoiselle Тру-тру,
Известной жрице мод, торгующей духами,
Ликером, шляпками и многими вещами,
О коих я судить нимало не привык
По правилу: держи на привязи язык;
Взял дюжину платков, материй для жилетов
И, осмотрев мильон шнуровок и корсетов,
Заказанных у ней почетным щегольством,
Хотел благодарить за ласки кошельком, —
Как вдруг — преддверие блистательного храма
Звенит и хлопает... Вуаль отброся, дама
С девицей в локонах вступает в магазейн,
И милости прошу: баронша Крепсенштейн!
Взошла, и началась ужасная тревога:

«Bonjour, ma chère![1] Ба, ба, скажите, ради бога,
Ужели это вы, почтенный наш Сократ?»
Они, как сговорясь, вдруг обе мне пищат:
«Ах, боже мой! вот смех, вот чудеса, вот странно!
Серьезный господин, который беспрестанно
Поносит женский пол и моды и весь свет,
Заехал к mademoiselle купить себе лорнет,
Колечко, медальон иль что-нибудь такое.
И что же? На софе посиживают двое,
Как будто о делах приличный разговор
Ведут наедине». Такой нелепый вздор,
Бесстыдство матери и дочери в огласку
Невольно бросили меня сначала в краску,
И я уже хотел почтенной Крепсенштейн
Сказать и пояснить, что, если магазейн
Француженки Тру-тру слывет Пале-Роялем,
То ей, окутанной огромнейшим вуалем,
Едва ль не совестно с девицей приезжать
В такой свободный дом товары покупать.
Но быстро все мои тяжелые заботы
Пресекли новые парижские капоты.
«Ах, прелесть! Что за цвет! Прекраснейший фасон!
А эти складочки, а этот капишон!..
Ах, маменька! скорей, немедленно обновы!». —
«Изволь, мой друг, изволь!» — ответ всегда готовый
Был дочке радостной. Баронша — в кошелек,
А кошелек, как пух, и тонок и легок.
«Смотрите, да он пуст! — баронша закричала. —
Ах, мой создатель! Как забывчива я стала!
Без денег выезжать! А всё заторопясь...
Mais à propos,[2] — ко мне с улыбкой обратясь,
Сказала дружески, — я видела при входе,
Что есть у вас большой бумажный курс в расходе.
Прошу, отдайте ей за эти пустяки,
А завтра мы сочтем и прежние долги».
Что делать мне? Полез к бумажным кредиторам
И, в знак почтения к уродливым узорам
Парижских епанчей, три сотни заплатил.
Зато мне и хвала! Сказали: как он мил!

---

[1] Здравствуй, моя дорогая! (франц.). — *Ред.*
[2] Но между прочим (франц.). — *Ред.*

«Конечно, очень мил», — подумал я с досадой
И проклял магазейн со всей его помадой,
Чепцами, блондами, а более всего
С гостями вечными бароншами его.
Потом с покупкою и книжкою карманной,
Довольно гибкою от встречи нежеланной,
Я ехал отдохнуть в досужий час домой.
Но вот Кремлевский сад пестреет предо мной.
Нельзя не погулять: «Фома, держи левее,
К воротам. Стой!» — и слез. Иду большой аллеей,
Любуясь зеленью и пышностью цветов;
Сажусь под арками. Тут запах пирожков,
Паштетов, соусов — приманка сибарита —
Невольно моего коснулись аппетита.
«Толпы зевак еще и гастрономов нет, —
Подумал я, — велю подать себе котлет
И выпью рюмки две хорошего донского».
Подумал — и взошел; велел — и всё готово.
Но только сесть хотел, дверь настежь — и Ослов
С отборной партией бульварных молодцов,
Как водится всегда, охотников до рома,
Котлет, чужой жены и до чужого дома,
Ввалил прямехонько в ту комнату, где я
Готовил скромное занятье для себя.
«Любезнейший мой друг, старинный мой приятель! —
Вскричал, обняв меня, сей новый истязатель. —
Здоров ли, жив ли ты? Скажи, какой судьбой
Привел меня господь увидеться с тобой?
Позволь, тебя всего сто раз я поцелую!
Вот друг мой, господа! Мой друг, рекомендую;
Прошу его любить: он всё равно, что я.
А вам представлю их, все добрые друзья:
Вот князь Свистов, а вот поэт Ахтикропалов,
Сверчков, Бостонников, Облизов и Пропалов.
Ей-ей, сердечно рад! знакомьтесь поскорей;
Мы время проведем как можно веселей!»
И с этим словом все нахалы, пустомели,
Вертясь и кланяясь, вокруг меня обсели.
Котлеты между тем свернулися в желе
И лакомили мух покойно на столе.
Жестокая беда! Но вот еще мученье!
Является паштет, огромное строенье,

Торжественный венец искусства поваров,
Со свитой водок, вин и влаги всех родов.
Почтеннейший Ослов, на откуп взяв желудки,
Как истинный делец, успел уже за сутки
Вперед распорядить явленье пирога —
И снова я в руках могучего врага!
Облизов, приступя к решительному бою,
Сразил чудовище искусною рукою;
Огромный зев его на части разделил,
И всякий с лезвием ко трупу приступил.
Припомни, как терзал Демьян соседа Фоку,
Как потчевал его без отдыху и сроку,
И градом пот с него, несчастного, бежал;
Так точно и меня знакомец угощал —
Без срока, отдыха и даже без оглядки!
«Да кушай, милый мой, вот ножка куропатки,
Цыплята, голуби и фарш — и всё тут есть.
Отведай же, мой друг, прошу тебя я в честь».
Хочу сказать, что сыт, — не даст ответить слова:
Лишь только я начну — и рюмка мне готова.
«Пей, пей, любезнейший! Поменьше говори.
Что за бордо, сотерн, шампанское, смотри!
Да, кстати, добрый наш поэт Ахтикропалов,
Ты так запрятался меж рюмок и бокалов,
Что мудрено тебя найти и с фонарем.
Отсвистнись-ка, мой друг, каким-нибудь стишком!» —
«Готов!» — сказал поэт с довольною улыбкой;
Перст ко лбу — и в ушах раздался голос хрипкой:

Я с удовольствием сижу
В кругу друзей почтенных
И с чистой радостью гляжу
На строй бутылок пенных,
Которых слезы, как хрусталь
Лазурный, белый и румяный,
Кропят граненые стаканы —
И, не откладывая в даль,
Запью последнюю печаль.

Скончал. Бутылка хлоп — в фиале зашипело,
И «браво», как ядро из пушки, загремело...
«Списать стихи, списать! Вот истинный поэт!
Как скоро и легко! Отличнейший куплет!»

И вдруг карандаши и книжки записные
Посыпались на стол в хвалу и честь витии.
А я... как думаешь? Скорее шляпу, трость,
Да в общей кутерьме, как запоздалый гость,
Забывши заплатить за грешные котлеты,
Которые опять быть могут подогреты,
Бежать, — да как бежать! Без памяти, без сил,
Нашел свой экипаж, как бешеный вскочил.
«Пошел, Фома, пошел! Скорее, ради бога!»
Пусть там о беглеце идет у них тревога.
Уже две улицы остались позади;
Я дух переводил свободнее в груди,
И только изредка, исполненный боязни,
Погони ожидал, как будто смертной казни.
Но все несчастия, нарочно сговорясь,
Пред домом Трефиной меня толкнули в грязь,
Без всякой милости, с Фомой, кабриолетом,
Журналом дамских мод и, наконец, пакетом
Материй и платков mademoiselle Тру-тру.
Как вакхов гражданин, проснувшись поутру,
Невесело встает с услужливой постели, —
Вставал из грязи я без плана и без цели.
Вдруг тонкий голосок воздушною струей
Раздался над моей печальной головой:
«Вы ль это? Боже мой! Какое приключенье!
Не сделалось ли вам удара от паденья?
Вот люди, соль и спирт — они вас укрепят.
Прошу взойти наверх». Я бросил томный взгляд
В воздушную страну, из коей, мне казалось,
Истек приятный звук. И что же оказалось?
Особа Трефиной, дородна и тучна,
Как на море подчас девятая волна,
Стояла, на балкон небрежно опираясь.
Что было делать мне? Неловко извиняясь
В нечаянном грехе, Фому и фаэтон
Отправил я домой, а сам, без оборон
От выдумок судьбы жестокой и нахальной,
Повлекся к лестнице парадной машинально.
Чем встретили меня — нетрудно угадать.
Ни сил я не имел, ни время отвечать,
Напала на меня вся дамская эскадра;

Вопросы сыпались, как с Эрзерума ядра.
Бог знает, до чего б их штурм меня довел;
Но тем окончилось, что подали на стол.
Хвала на этот раз уставам просвещенья!
У Трефиной я был избавлен принужденья:
Сказал, что не хочу, и дело решено.
Сиди, кури табак — хозяйке всё равно.
Стол начат хорошо: особы две крестились,
Потом, как водится, сперва разговорились
О важном, — например, что будет государь
На этих днях в Москву, что будто секретарь
Такого-то суда за рубль лишился места,
И замуж за судью идет его невеста.
Потом, на полутон понизя разговор,
Коснулись ближнего. Какой-нибудь узор
Подола Мотовой в прошедшее собранье
Успел приобрести всеобщее вниманье.
Иного с головы размерили до ног,
И всякий говорил, что думал и что мог.
Приезжий между тем господчик из Калуги
Девице Трефиной оказывал услуги:
Брался ей косточку разрезать с мозжечком
И многое шептал, как кажется, о том.
Но как бы ни было, стол кончился исправно.
Я время проводил ни скучно, ни забавно;
Десерт и кофе шли своею чередой,
И я доволен был обедом и собой,
Но вот что повторю: осмей мое созданье,
А вера в дьяволов имеет основанье.
Сызмала верить им от нянек я привык
И после опытом ту истину постиг.
Есть дьяволы — никто меня не переспорит —
Не мы, а семя их кутит, мутит и вздорит.
Они, проклятые, без тела и без лиц,
Влезают и в мужчин, и в женщин, и девиц;
Сидят в них, к пакостям, страстям, порокам клонят
И, раз на шею сев, в открытый гроб загонят.
Старинный Ариман и новый падший дух
Едва ли не живут — и давят нас как мух!
Мне думать хочется, что это всё пустое,
А впрочем, вот тому свидетельство живое:
Девица Фольгина по просьбе двух шмелей,

Которые, на шаг не отходя от ней,
Точили на заказ безбожно каламбуры,
Разыгрывала им отрывок увертюры
Из оперы «Калиф»; потом, переходя
От арии в рондо, нежнее соловья,
Томнее горлицы прелестным голосочком
Пропела песню: «Раз весною под кусточком»
И прочая... Игра и пение вокруг
Сирены Фольгиной собрали знатный круг:
Дивились, хлопали, хвалили, рассуждали
И чудом из певиц торжественно назвали.
Один из сказанных услужливых господ
Приходит вне себя, как обер-франт и мот,
Скользя, подходит к ней с улыбкой чичисбея.
«Позвольте, — говорит, — божественная фея,
Устами смертного коснуться ваших рук!
Меня очаровал непостижимый звук,
Произведенный их летучими перстами».
С сим словом подлетел и страстными губами
Хотел восторг любви руке ее принесть.
Она, заторопясь наезднику присесть,
Нечаянно ногой за кресло зацепила
И франта на парке́ с собою уронила.
«Ай! Ах!» как водится; но дело уж не в том:
Закрыв лицо и грудь, горящие стыдом,
Как серна, бросилась в другую половину;
А ловкий петиметр, прелестную картину
Увидя и другим немножко показав,
Поднялся, охая, как будто он и прав.
Что́ было следствием — никто меня не спросит:
Кто нюхает табак, кто лимонаду просит,
Кто сожалеет вслух и очень рад тайком,
Кто утирается батистовым платком
И далее. Меж тем отец и мать певицы,
Разглادя нехотя наморщенные лица,
Карету — и с двора. Я тоже замышлял;
Но Сидор Карпович тревогу прокричал:
«Куда, куда и вы? .. Гей, люди, повеленье:
Вот шляпа вам и трость — убрать на сохраненье!
Ни шагу из дому, ни капли воли нет.
Вы партию жене составите в пикет,
Бостончик или вист. Два столика готовы —

Прошу не отказать, не будьте так суровы!»
Засел я нехотя, смертельно не любя
Для прихоти других женировать себя.
Проходит час и два — нам дела нет нимало:
Сражаемся, и всё! .. Мне даже дурно стало!
Виконт Де ла-Клю-Клю, парижский патриот,
Оставя в Франции жену и эшафот,
Чтоб быть учителем у русских самоедов,
По счастью был тогда из близких мне соседов.
«Vicomte, prenez ma place», [1]— сказал я, обратясь.
«Bon, bon», [2] — он отвечал. И я, перекрестясь,
Но только, верно, уж неявно и наружно,
Пошел из-за стола рассеять миг досужный.
Послушай, что теперь случилося со мной,
И верь, что все дела текут не сатаной!
В исходе одного большого коридора
Вдруг слышится мне смех и шепот разговора.
«Подслушать тайну есть позорная черта, —
Вдали остановясь, подумал я тогда. —
Быть может, через то я много потеряю...
Но черт меня возьми! — я точно различаю
Девичьи голоса. Подслушаю секрет...»
Подкрался и вошел в ближайший кабинет.
Вот тайный разговор от слова и до слова.

Девица 1-я

Да знаешь ли ты, чем Анета нездорова?

Девица 2-я

Неужели улан?...

1-я

Уж знает вся Москва!
Прошу покорнейше! .. Но только он едва
Останется в глупцах.

2-я

О это вероятно! ..
А впрочем, милая, какой мужчина статный!

---

[1] Виконт, займите мое место (франц.). — *Ред.*
[2] Хорошо, хорошо (франц.). — *Ред.*

1-я

Не Сонин.

2-я

Ха, ха, ха! Я думаю, наскучил!

1-я

Пустою нежностью в два месяца измучил!
Ах, что за фалалей! В отставку!.. Со двора!..

2-я

Налетов, камер-паж... Ma chère, [1] убей бобра.

1-я

Et vos affaires? [2]

2-я

Helas! [3] сказать тебе не смею!

1-я

Забавно! до сих пор?

2-я

Он слеп, а я робею!

1-я

Кто этот в парике осанистый брюнет,
Играет с Трефиной так счастливо в пикет?
Не знаешь ты его? Он мастерски играет.
Но Трефина, поверь, немного потеряет,
Хотя б он на нее сто тысяч записал.

2-я

Как? что? Он на ноге?..

1-я

Контракт уж подписал,
Что выиграет туз, тем пользуется дама.

---

[1] Моя дорогая (франц.). — *Ред.*
[2] А ваши дела? (франц.). — *Ред.*
[3] Увы! (франц.). — *Ред.*

2-я

Fi donc![1] так нагло жить и не бояться срама!..
А этот пасмурный и скучный кавалер,
Разбитый лошадьми, точь-в-точь как grande misère,
Из двух: или влюблен, или глупец тяжелый.

1-я

Тс!.. кажется, идут!.. Оправимся, пойдем!..

Каков был разговор! Что думаешь о нем?
А в заключение как выражено внятно:
Влюблен или глупец!.. не правда ли, приятно?
А делать нечего — наука для ушей;
Недаром говорят: есть кошки для мышей.
Итак, оправившись, как скромные девицы,
Вернулся я опять в клуб новостей столицы.
Вхожу и вижу там всезнаек дорогих
В кругу их маменек и тетенек седых.
Они уже опять и кротко и невинно,
Как куколки, сидят в беседе благочинной,
И, только изредка кивая головой,
Дивуются вранью рассказчицы одной.
Я долго не спускал исподтишка их с глазу;
Но вдруг: «от сорока и восемьдесят мазу...»
Раздалося в углу. И что же? мой брюнет
(Что ныне на ноге), огромнейший пакет
Имея пред собой наличных ассигнаций,
Оставя козырей к услугам древних граций,
Как бес понтирует с каким-то толстяком.
Что раз, то «attendez», то транспорт, то с углом!..
Толстяк уже пыхтит, лицо краснее рака,
А всё задорнее заманчивая драка.
Но наконец нет сил!.. «Нельзя ль переменить?
Прошу, мечите вы!.. Хоть карту бы убить!..»
Ни слова вопреки. Серьезно, равнодушно
Колоды обменил злодей его послушный
И мечет. Первая убита толстяком;
Вторая — также. Туз и дама пик с углом
Убиты. Карты в тос. Толстяк свободней дышит.
Другая талия — толстяк берет и пишет.

---

[1] Тьфу! (франц.). — *Ред.*

«Тьфу, счастие!» — ворчит с досадою брюнет
И с места пересел. — Пятьсот рублей валет!»
Вспотевшая рука банкёра задрожала...
Ждут оба... карты нет... идет — направо пала!..
«Насилу!.. он опять!.. проклятое плие!..
Он и отыгрывать!.. скажите сряду две
И три!.. опять идет!» Признаться, эта сцена —
Игры и счастия слепая перемена —
Невольно и меня влекла в среду толпы
Зевак, которые, недвижны как столпы,
У стульев игроков, разиня рот, стояли
И с нетерпением конца задачи ждали.
Понтёр не сводит глаз; торопится брюнет —
И вдруг четвертый раз на правую валет.
«Фальшь!— толстый закричал.— Вот скраденная карта!»
Хватает за рукав и с первого азарта
С размаха бац его колодою в висок...
Банкёр встает, но стул как раз сбивает с ног.
Кровь брызжет. Деньги, стол, мел, щетки, два стакана
Летят за ним вослед без цели и без плана.
«Убийство! караул! спасите!» — раздалось —
И всё собрание рекою разлилось.
«Гей, люди, кучера! салопы и кареты!»
Бегут по лестнице, едва полуодеты,
Теснятся, падают, толкаются, пищат —
И мигом опустел плачевный маскарад.
Я... боже упаси свидетельственной роли!
И что мудреного? Боясь такой же доли,
Хоть сроду не бывал картежным подлецом,
Схватя чужой картуз, скорей оттоль бегом.
Зову извозчика, скачу, как из Содома,
И вот, как видишь сам, сейчас лишь только дома!..
Петрушка, где халат? Сними скорее фрак,
Оправь мою постель, дай трубку и табак;
Гостей не принимать; гони их, бей коль можно
И убирайся сам — я зол теперь безбожно!

<1832>

ЧИР-ЮРТ

Любезный друг!

. . . .

...Среди ежедневных стычек и сражений при разных местах в Чечне, в шуму лагеря, под кровом одинокой палатки, в 12 и 15 градусов мороза, на снегу, воспламенял я воображение свое подвигами прошедшей битвы, достойной примечания в летописях Кавказа, и в 11 дней написал посылаемый к тебе «Чир-Юрт».

А. П. Л<озовскому>,
Крепость Грозная, 25 мая 1832 года

Песнь первая

Цель бытия души высокой,
Удел и жизнь полубогов —
Сияет слава в тьме веков,
В пучине древности глубокой.
Подобно юной красоте
В толпе соперниц безобразных,
Подобно солнцу в высоте
Перед игрой лучей алмазных,
Она блестит, она горит
Без украшений и убранства,
Среди бесплодного тиранства
Своих ничтожных эвменид.

Где тот, чью душу не волнует
Войны и славы громкий глас?

Чье сердце втайне не тоскует,
Внимая воина рассказ
О наслажденьях жизни бранной,
Кровавых сечах и боях,
О вражьих пулях и мечах,
И смерти, всюду им попранной?
Кто не стремится, не летит
Душой за взором и за словом,
Когда усатый инвалид
На языке своем суровом,
Но верном, как граненый штык,
С которым к правде он привык,
Передает детям иль внукам
Любимый ключ к своим наукам —
Большую повесть прежних лет?
О, знай, питомец Аполлона,
Там, где витийствует Беллона,
Ничтожен гений и поэт!

Есть много стран под небесами,
Но нет той счастливой страны,
Где б люди жили не врагами
Без права силы и войны!
О, где не встретим мы способных
Основы блага разрушать?
Но редко, редко нам подобных
Умеем к жизни призывать!..

Младые воины Кавказа,
Война и честь знакомы вам;
Склоните слух к моим словам,
К словам кавказского рассказа!
Я не усатый инвалид,
Наследник песней Оссиана;
Под кровом горного тумана
Мне дева арфы не вручит...
Но ропот грусти безотрадной,
Пиры кровавые мечей —
Провозгласит вам, славы жадный,
Певец печали и страстей.
Добыча юности безумной
И жертва тягостная дня,

Я загубил уже в подлунной
Состав весенний бытия.
Неукротимый и мятежный,
Покоя сладкого злодей,
Я потонул в глуби безбрежной
С звездой коварною моей.
На поле чести, в бурях брани,
Мой меч не выпадет из длани
От страха робостной души;
Но, вечной грустью очарован,
Наедине с собой, в тиши,
Мой ум бездействен, дух окован
Цепями смерти вековой,
Как гений злобы роковой.
Забытый, пасмурный и скучный,
Живу один среди людей,
Томимый мукою своей,
Везде со мною неразлучной...
Безжалостный, свирепый взор,
Привет холодный состраданья —
Всё новой пищей для страданья,
Всё новый, вечный мне укор! ..
Одни тревоги и волненья,
Картины гибели и зла —
Дарят минуты утешенья
Тому, кто умер для добра...
Так, уничтоженный для жизни,
Последней кровью для отчизны
Я жажду смыть мое пятно! ..
О, если б некогда оно
Исчезло с следом укоризны! ..
Военный гул гремит в горах;
Клятвопреступный дагестанец,
Лезгин, чеченец, закубанец
Со мною встретятся в боях!
Не изменю царю и долгу,
Лечу за честию везде,
И проложу себе дорогу
К моей потерянной звезде...

Меж тем под ризою ночною
Шумит в разбойничьем лесу

С своей обычной быстротою
По голым камням Арак-су.
Но искры бунта с новой силой
Пророк неистовый раздул,
И стал пустынною могилой
Мятежных подданных аул.
Всё пусто в нем! Свирепый пламень
Пожрал жилище беглецов;
Обломки бревен, черный камень
И пепел брошенных домов
Гласят об участи врагов.

Там, где под русскою защитой
Недавно цвел веселый мир,
Лежит возникший и разбитый
Чеченской вольности кумир.
Поля и нивы золотые,
Удел богатой тишины —
В места унылые, пустые
В единый миг обращены.
Их топчет всадник беспощадный
Своим гуляющим конем,
Меж тем как хищник кровожадный
В оцепенении немом
Клянет отмстительную руку
Неодолимого бойца,
И видит. с жалостью отца,
Тоску, отчаянье и муку
Своей жены, своих детей,
Которых он, изнеможенных,
Нагих и гладом изнуренных,
Сокрыл в пристанище зверей...

Перед аулом над рекою,
В огнях, как пламенный волкан,
Стоит громадой боевою
Каратель буйных — русский стан.
Не многолюдные дружины
В летучих ставках и шатрах
По скату вражеской долины
Вокруг себя наводят страх!

Нет, око видит с изумленьем
В пришельцах русских горсть людей;
Но эта горсть с пренебреженьем
Пойдет на тысячи смертей!..
Не в первый раз под их стопами
Хрустит в лесах осенний лист,
Не в первый раз над головами
Они внимают пули свист!
То дети чести безукорной,
Владыки сабли и штыка.
Мятежник, хищник непокорный
Их знает — эти три полка!..
Всегда в крови на вражьем трупе,
Всегда с победой впереди:
При Эндери, при Маюртупе,
Под богатырским Кошкильди!
Вблизи рассыпана ватага
Неукротимых ездоков,
Казачья буйная отвага,
Краса линейных удальцов.
Татарский вид, вооруженье,
Страны отечественной грудь —
Всё может в рыцаря вдохнуть
Боязни тайной впечатленье.
Взращенный в сечах на коне,
Он дышит смертью на войне!..
Всегда в трудах, всегда в движенье
Сия блуждающая рать;
Ее удел и назначенье —
Закон и правду охранять.
В стране гористой печенега,
Где житель русского села
Без верной шашки у седла
Небезопасен от набега;
Где мир колеблемый станиц,
Ненарушимость достояний,
И святость прав, и честь девиц
Нередко жертвою стяжаний
Неумолимых кровопийц;
Где беззащитные трепещут,
Где в тишине полночной блещут
Ножи кровавые убийц —

Необходим бесстрашный воин,
Опора слабых, страх врага,
И, верный долгу, он достоин
Из рук бессмертия — венка...

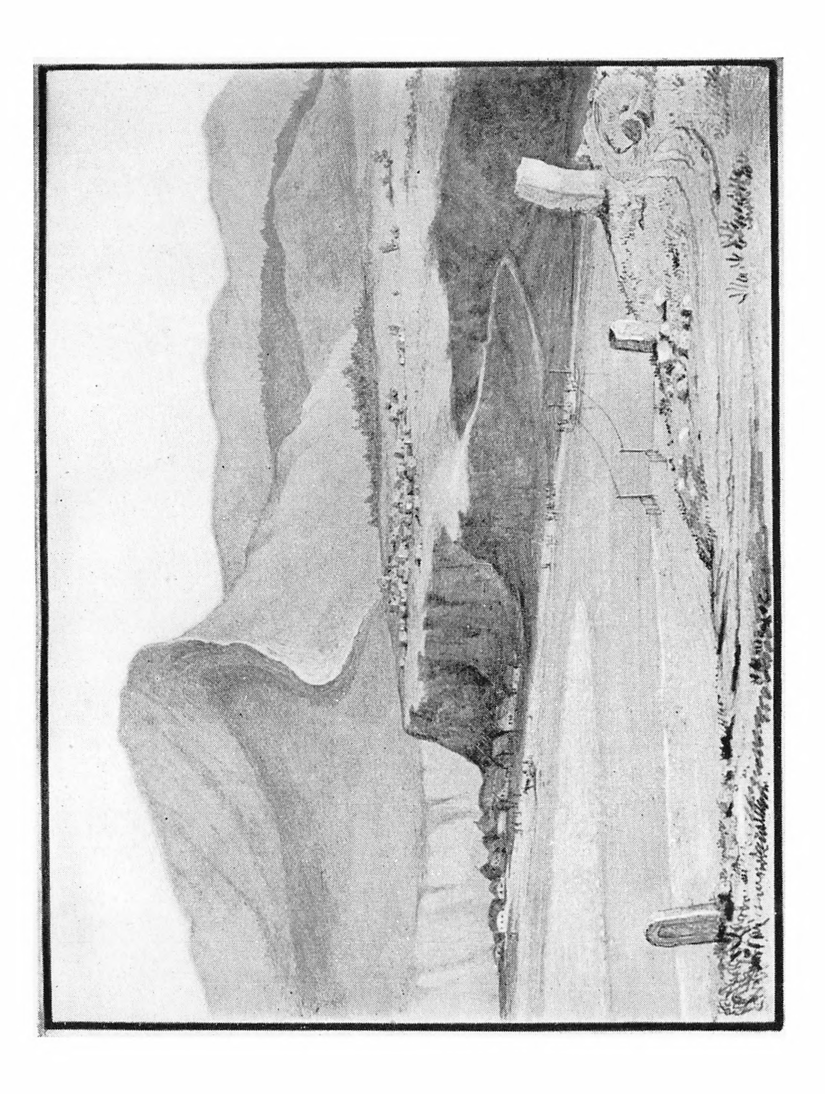
Взяла довольно храбрых воев
Неукротимая страна;
Молва гласит нам имена,
И жизнь, и подвиги героев.
Довольно трупов и костей
Пожрали варварские степи;
Но ни огонь, ни меч, ни цепи
Не уничтожили страстей
Звероподобного народа.
Его стихия — кровь и бой,
Насильство, хищность и разбой,
И безначальная свобода...

Ермолов, грозный великан
И трепет буйного Кавказа!
Ты, как мертвящий ураган,
Как азиатская зараза,
В скалах злодеев пролетал;
В твоем владычестве суровом
Ты скиптром мощным и свинцовым
Главы Эльбруса подавлял!..
И ты, нежданный и крылатый,
Всегда неистовый боец,
О Греков, страшный — и заклатый
Кинжалом мести наконец!
Что грохот вашего перуна?
Что миг коварный тишины?
Народы Сунжи и Аргуна —
Доныне в пламени войны;
Брега Кой-су, брега Кубани
Досель обмыты кровью брани!
Там, где возникнул Бей-Булат,
Не истребятся адигеи;
Там вьются гидрами злодеи —
И вечно царствует булат!

Он здесь, он здесь, сей сын обмана,
Сей гений гибели и зла,
Глава разбоя и Корана,
Бич христиан — Кази-Мулла!
«Пророк, наследник Магомета,
Брат старший солнца и луны...»
Вот титла хитрого атлета
В устах бессмысленной страны.
Он чужд пронырства лицемера:
Оно не нужно для глупцов;
Ему довольно пары слов:
Так бог велит, так хочет вера!
Он всё для горцев: судия,
Пророк, наставник, предводитель,
И первый — прав и бытия
Своих апостолов гонитель...
Там, обольщая Дагестан,
Он грабит русского вассала,
И слабый подданный шамхала
Влечется силою в обман.
Граната в парк дохнула адом...
Скалы на воздух... Гром, огонь
Взвились над морем... Всадник, конь —
Всё пало ниц кровавым градом...
Пророк исчез с своим отрядом.
Там он, разлив как океан
Свои мятежные народы
Вкруг малой горсти россиян,
Грозит бедой, отводит воды...
Но крепость русская тверда:
Не стонет воин изнуренный;
Сверкает штык ожесточенный —
И льется жаждущим вода!
Что ж гений замыслов преступных,
Посланник мнимый божества?
С гремящей славой торжества
Он оставляет недоступных,
И поучает мусульман
Перед началом первой битвы
Читать прилежнее молитвы
И верить твердо в алкоран...
Вот тайна властвовать умами!

Вот легковерие людей,
Всегда готовое мечтами
Питать волнение страстей!..
Надеждой ложной и безумной
Лукавец очи ослепит,
И сонм невежд хвалою шумной
Свою погибель одобрит.
Уже тогда, как грозно, грозно
Накажет нас правдивый меч,
Хотим мы с робостью пресечь
Удар отмстительный — но поздно!..
Тогда в ужасной наготе
Предстанет нам внезапно совесть,
И ум, блуждавший в темноте,
Прочтет ее живую повесть!
О, для чего я на себе
Влачу раскаяния бремя?..
Зачем счастливейшее время
Я отдал бурям и судьбе,
Несправедливой, своенравной,
Убийце пылкого ума?..
Ужель последней ночи тьма
Застанет труп мой, всё бесславный,
Всё ненавистный для людей,
Отраду вранов и червей?..

Меж тем под ризою ночною
Шумит в разбойничьем лесу
С своей обычной быстротою
По голым камням Арак-су.
Мелькая в нем светло и стройно,
Луна плывет в туманной мгле;
Дружина русская покойно
Стоит на вражеской земле...
Ночлег на месте — нет сомненья...
В кострах чеченские дрова,
Вокруг забота и движенья
И песни звучные слова...
Иные спят, другие бродят,
В кружках толкуют кой о чем;
Пикет сменяют, цепь разводят,
Смеются, вздорят о пустом.



В одной палатке за стаканом
Видна мирская суета;
В другой досужная чета,
Засев en grand над барабаном,
Преважно судит о плие;
А третий зритель машинально
Им поясняет пунктуально,
Что даму следут на пе.

«У всякого своя охота,
Своя любимая забота», —
Сказал любимый наш поэт;
А потому сомненья нет,
Что часто в лагере походном
Мы видим так же точно свет,
Как и в собранье благородном.
Но вот различие: в одном
Вернее, нежели в другом! . .
Тьфу — как несбыточны догадки!
Лишь только даму в третий раз
На пе загнули, вдруг приказ:
Снимать немедленно палатки!
Приказ исполнен в тишине;
Багаж уложен, цепи сняты;
В строю рассчитаны солдаты,
И всадник в бурке на коне...
Поход. Марш, марш по отделеньям!
Развились лентой казаки,
И с непонятным впечатленьем
Безмолвно тронулись полки...
Заряд на полке, всё готово! . .
На сердце дума: верно, в бой! . .
Но вопросительного слова
Не знает русский рядовой!
Он знает: с нами Вельяминов —
И верит счастливой звезде.
Отряд покорных исполинов
Ему сопутствует везде.
Он знал его давно по слуху,
Давно в лицо его узнал...
Так передать отважность духу
Умеет горский Ганнибал!

Он наш, он сладостной надежде
Своих друзей не изменил;
Его в грозу войны, как прежде,
Нам добрый гений подарил!
Смотрите, вот любимый славой!..
Его высокое чело
Всегда без гордости светло,
Всегда без гнева величаво.
Рисуют тихой думы след
Его пронзительные взоры...
Достойный — видит в них привет,
Ничтожный — чести приговоры...
Он этим взором говорит,
Живит, терзает и казнит...
Он любит дело, а не слово...
С душою доброю — он строг;
Судья прямой, но не суровый,
Бесстрастно взыщет он за долг;
За чувство истинной приязни
Он платит ласкою отца;
Никто из рабственной боязни
Не избегал его лица;
Всегда один, всегда покоен;
Походом, в стане пред огнем,
С замерзлым усом и ружьем
Нередко греется с ним воин...
Куда ж поход во тьме ночной?
Наш полководец не обманщик,
Его ответ всегда простой:
«Куда ведет вас барабанщик»...

Но мы не первый раз в горах!
Ведет в Внезапную дорога;
От ней в двенадцати верстах
Аул. Мы знаем, где тревога.
Идем. Уж полночь. Огоньки
С высот твердыни замелькали;
По камням речки казаки
С главой дружины проскакали;
За ними вслед полки вперед,
Артиллеристы на лафеты...

Патроны вверх, полураздеты,
Ногой привычною мы вброд.
Вот на горе перед аулом...
«Вперед!» А! верно, на Сулак?
Перелилось болтливым гулом:
Ведь говорил же нам казак!
Давно ль, расставшись с Дагестаном,
На этом месте, о друзья,
Наскуча длинным рамазаном,
Байрам веселый встретил я!
Тогда всё пело беззаботно
В деревне счастливых татар;
В то время русские охотно
Желали видеть их базар.
Мирно́й чеченец, кабардинец,
Кумык, лезгин, койсубулинец,
И персиянин, и еврей,
Забыв вражду своих обрядов,
Пестрели здесь, как у друзей,
Красою праздничных нарядов.
В толпе андреевцев, жидов,
Смотря на разные проказы,
Кто не купил себе обнов
Тогда на лишние абазы?
Один с ружьем приходит в стан,
Другой под буркою мохнатой,
Тот шашкой хвалится богатой,
А этот кажет ятаган.
Всего так много, так довольно,
Товар Востока налицо,
И, признаюсь, меня невольно
Пленило горское кольцо
И трубка, — ах! какая трубка!
Ее разбила у меня
Потом невинное дитя,
Одна девчонка-душегубка.
Но, верьте, я не пропущу
Смешной каприз такого роду —
И по пятнадцатому году
Шалунье славно отомщу...
Теперь где лица, где наряды?
Где разноцветный их базар?

Нигде задумчивые взгляды
Не встретят ласковых татар.
Разбойник яростный в пустыню
Торговый город обратил
И беззаконную гордыню
На пепле саклей водворил.
Одни потомки Авраама
Покорны русскому мечу
И в укрепленьях Ташкичу
Ждут смело нового байрама.

Верхи Андреевой горы
Давно сокрылись для отряда;
Ясней туманная громада,
Сырее влажные пары.
Долина глухо вторит топот
Шагов фаланги боевой,
И зашумел перед зарей
Волны Кой-су протяжный ропот.
Вот прояснился небосклон...
Река вблизи. На берег прямо
Кавалерийский легион
Коней испуганных упрямо
Торопит в воду. Залп огней
Раздался вдруг из камышей...
Покойно, тихо, без ответа
На ласку вражьего привета,
Плывут и едут казаки...
Вторичный залп... Опять молчанье...
В волнах разлившейся реки
И гул, и крик, и коней ржанье.
Вода свирепствует, кипит,
Буграми в рать отважных хлещет;
Товарищ всадника трепещет,
И леденеет, и храпит...
Вздымая морду, друг ретивый
В стихии грозной тонет с гривой,
Дрожит, колеблется, как челн,
Несет заветного рубаку,
Или, предавшись злобе волн,
Бессильный, мчится по Сулаку...
Но солнце блещет в вышине.

И русской пушки гул мятежный
Гласит на вражьей стороне
Чир-Юрта жребий неизбежный!

Вот он, отважнейший в горах,
Как Голиаф неодолимый,
Стоит в красе необозримой
На диких каменных скалах!
Возникший в ужасах природы,
Надменный крепостью своей,
Он — вечный воин мятежей
И страж разбойничьей свободы!
Назло примерной доброте,
Вассал и друг неблагодарный,
Как часто в наглой черноте
Питал он замысел коварный,
Острил убийственный кинжал
На благодетельную руку,
И ей же с робостью вверял
Свою измену, жизнь и муку!
Но он придет — сей лютый час!
Злодей проснется без отрады,
И будет тщетно скорбный глас
Просить отверженной пощады!..

О, как безумна, как дерзка
Неустрашимость смельчака!..
Он презирает наши пули;
Смеясь, готовится к войне,
И между тем в его ауле
Дымятся сакли в тишине...
Когда жена его и дети
Стремятся в ужасе к мечети
И в прахе льют потоки слез, —
Кичливый варвар с небреженьем
Дарит их ложным утешеньем
Иль взором гнева и угроз.
Слепец, уверенный тираном
В своей надежде роковой,
Клялся торжественно Кораном,
Мечом и бритой головой
Спасти могилы правоверных

От поругания собак
И кровью воинов неверных
Насытить яростный Сулак.
Но не преступного вассала
На жертву русскому обрек
Святой губитель их, пророк...
О нет, и подданных шамхала,
Мятежных жителей Тарков,
И маюртупских беглецов
Он здесь собрал для истребленья!
И я клянусь своим ружьем:
Кази-Мулла с большим умом
И вправе требовать почтенья!
Его призывный к брани клич —
Всегда злодеям новый бич!

Смотрите, вот они толпами
Съезжают медленно с холмов
И расстилаются роями
Перед отрядом казаков.
Смотрите, как тавлинец ловкой
Один на выстрел боевой
Летит, грозя над головой
Своей блестящею винтовкой;
С коня долой — удар, и вмиг
Опять в седле, стреляет снова,
К луке узорчатой приник —
И нет наездника лихого!
Вот двое пеших за бугром...
На сошки ружья, приложились...
Три пули свистнули кругом...
Они ответили и — скрылись!

Но пусть картечью и ядром
Пугают робких! Что за дума
У полководца на челе?
Среди Сулака на седле
Взирает мрачно и угрюмо
На переправу генерал.
По грудь в воде, рука с рукою,
Неверной, шаткою ногою
Пехотный сонм переступал;

Река, как ад с отверстым зевом,
Крутя валы с ужасным ревом,
Твердыню храбрых облила;
За каждый шаг — назад, стеною,
Дружину с ношей боевою
Волна свирепая гнала...
Собрав измученные силы,
Без слов, но с бодрою душой,
Они встречают мрак могилы
И образ смерти пред собой.
Один упал, другой слабеет...
Шатнулся, пал... и в целый рост!
На помощь — кони: тот за хвост,
Другой на гриве цепенеет...
Ныряют сабли и штыки;
Несутся пушки с лошадями;
Летает гибель над главами —
Идут бестрепетно полки...
Всегда задумчивый, глубокой
Ценитель сердца и людей,
Но, затаив в душе высокой
Волненье чувства и страстей,
Не изменя чела и взора,
Он вдруг решается... «Назад!» —
Он рек — и силу приговора
Покорно выполнил отряд.

Песнь вторая

Да будет проклят злополучный,
Который первый ощутил
Мученья зависти докучной:
Он первый брата умертвил!
Да будет проклят нечестивый,
Извлекший первый меч войны
На те блаженные страны,
Где жил народ миролюбивый!..
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Печальный гений падших царств,
Великой истины свидетель:
Закон и меч! — вот добродетель!
Единый меч — душа коварств;
Доколь они в союзе оба,
Дотоль свободен человек;
Закона нет — проснулась злоба,
И меч права его рассек...

Вот корень жизни безначальной,
Вот бич любимый сатаны!
Вина разбоя и войны,
Кавказа факел погребальный!..
И ты сей жребий испытал,
Чир-Юрт отважный, непокорный!
Ты грозно бился, грозно пал
С твоей гордынею упорной.
О, как ужасно разлилось
Меча губительного мщенье!
Как громко, страшно раздалось
В туманах гор твое паденье!..
И час пробил: Чир-Юрта нет!
В стенах Чир-Юрта сын побед,
Огонь, гроза и разрушенье...

Толпа врагов издалека
Взирала с радостию шумной
На отступление врага:
Оно надеждою безумной
Питало ярость смельчака;
Оно вещало суеверным
Определение небес:
«Сам рок противится неверным,
И гяур мстительный исчез!»
Сильней отвага горделивца,
Спесивей варварская честь,
И мчит по саклям кровопийца
Никем не слыханную весть...

Какой восторг и изумленье
И жен, и старцев, и детей!
Какое бурное волненье
Среди народных площадей!..
«Я здесь, рабы мои! я с вами! —
Вещает глас среди толпы. —
Я вам безгрешными устами
Открою таинства судьбы!
Как волны моря от гранита,
От вас отхлынули враги;
Но сила дивная реки
Была небесная защита.
Внимайте мне: придут полки,
Придут полки за палачами,
И меч невидимой руки
Сразит их вашими мечами!..
Молите бога! Сильный бог
Приемлет теплые молитвы,
Но для неправедных жесток
И страшен он на поле битвы!..» —
«Исчезни, рабственный позор! —
Завыли грозно изуверы. —
Умрем за вольность наших гор,
За край родной, за святость веры!»

Чей глас таинственный вещал
Слова коварства и обмана?..
Кто имя бога призывал? —
Мятежник гор и Дагестана!
Но где отряд? Ужели он
С своим вождем не занят славой?
Ужель пророком осужден
Он вечно быть над переправой
И уготовит наконец
Себе страдальческий венец
За пир последний и кровавый,
Который дать желает нам
В угодность бритым головам?..

О горе, горе! по Сулаку
Вблизи отыскан новый брод,

И вождь на гибельную драку
Проклятых гяуров ведет.

«Беда! .. Помилуй, ради бога!
Чего ты хочешь, генерал? ..
Пророк шутить не будет много:
Он нас повесить обещал!
Пропали мы, пропали гуртом...»
Но он не слышит, он идет...
И что за чудо? весь народ
Живой явился под Чир-Юртом!

Простите, милые друзья,
Когда за важностью рассказа
Всегда родится у меня
Некстати шутка и проказа!
Ей-ей, не знаю почему,
Я своевольничать охотник
И, признаюсь вам, не работник
Ученой скуке и уму.
Мне дума вольная дороже
Гарема светлого паши,
Или почти одно и то же:
Она — душа моей души.
Боюсь, как смерти, разных правил,
Которых, впрочем, по нужде,
В моральной жизни и в беде
Благоразумно не оставил;
Но правил тяжкого ума,
Но правил чтенья и письма
Я не терплю, я ненавижу
И, что забавнее всего,
Не видел прежде и не вижу
Большой утраты от того.
Я трату с пользою исчислю,
И вот что после вывожу:
Когда пишу, тогда я мыслю;
Когда я мыслю, то пишу...
Скажи же, милый мой читатель
И равнодушный судия,
Ужель я должен, как писатель,
Измучить скукою себя? ..

Ужели день и ночь для славы
Я должен голову ломать,
А для младенческой забавы
И двух стихов не написать?..
Мы все, младенцы пожилые,
Смешнее маленьких ребят,
И верь: за шалости бранят
Одни лишь глупые и злые.

Всё тихо в лагере ночном.
К земле приникнув головою
С своим хранителем-ружьем,
Приносит русский дань покою.
Питомец севера и льдов,
Не зная прихоти и неги,
Везде завидные ночлеги
Себе находит у врагов.
И сон угрюмый над аулом
Летает с образом луны;
Одна река протяжным гулом
Тревожит царство тишины.
О сон лукавый, сон опасный,
Товарищ думы и тоски!
Тебя приветствуют напрасно
Сии мятежные враги!..
Отрады сладкого забвенья
Всегда чуждается злодей,
И ты крылом успокоенья
С подругой сердца и ночей
Не осенишь его очей!
Увы, печальна, одинока,
С душевной бурей на челе,
Как жертва крови и порока,
Таится, бедная, во мгле;
Она исполнена боязни;
Для ней погиб надежды луч:
Ей светлый день за ризой туч —
Предвестник гибели и казни...
А он, убийца юных дней
Подруги сердца и ночей,
Меж тем, бессонный, на кинжале
Лежит в разбойничьем завале.

———

Но вот уж ранняя звезда
В пустынях неба показалась;
Волнистой тенью нагота
Полей и гор обрисовалась.
Ударил звонкий барабан;
Завыла пушка вестовая,
И полунощный великан
Восстал, как туча громовая.
Молитва к богу, меч во длань,
И за начальником отряда
Толпой бесстрашною на брань
Валит безмолвная громада.

Певец Гюльнары! для чего
В избытке сердца моего,
В порывах сильных впечатлений,
Назло природе и судьбе,
Зачем не равен я тебе
Волшебным даром песнопений?
Тогда бы кистию твоей,
Всегда живой и благородной,
Я тронул с гордостью свободной
Сердца холодные людей;
Тогда, владыка величавый
Перуна, гибели и зла,
Изобразил бы я дела
Войны жестокой и кровавой:
Отважный приступ христиан,
Злодеев яростную встречу,
Орудий гром, пальбу и сечу,
И смерть, и кровь, и трепет ран...
Изобразил бы я страданье
Полуживого мертвеца;
И жил и членов содроганье,
Его последнее дыханье
И чувства мертвого лица...
Но ты, певец души и чувства,
Умея смертных презирать,
Ты нам не передал искусства
Умы и души волновать!
Как непонятное явленье,
Исчезло мира изумленье —

Великий гений и поэт...
Осиротевшая природа
И Новой Греции свобода
Вещают нам: Байрóна нет!..
. . . .
. . . .

Недолго, воины Москвы,
Своих врагов искали вы!
На заповеданной молитве,
С ружьем и шашкою в руках,
Вы их узнали на холмах,
Давно готовых к лютой битве.
Свинец летучий, рассыпной
Встречает рать передовую,
И первый раз в толпу лихую
Направлен меткою рукой
Удар картечи боевой...
И разлетелся с рокотаньем
Заряд чугунного жерла,
И салатовец с содроганьем
Бежит до нового холма...
Засел... Проходит ополченье.
Кремни стучат, ядро свистит...
Защита... натиск... отраженье...
Злодей рассеян и бежит!..

Отряд идет густой колонной;
Но на пути большой овраг,
Кругом завалы; злобный враг
Из-за утесов, пеший, конный,
Стреляет в цепь и в казака;
Навстречу гул единорога,
Картечи, ядра в смельчака —
И снова чистая дорога.

Линейный всадник впереди,
Усач с крестами на груди,
Отважный Засс его главою;
Всегда в виду, всегда в огне,
Под ним летает конь гусарский;
Перед полками князь Черкасский
И полководец на коне.

Земля трясется, тучи дыма,
Жужжанье пули, свист ядра,
И штык, и сабли, и ура
Приводят в трепет мизраима.
Он уступает чудесам,
Клянет открытое сраженье
И, угрожая, в отступленьи,
Спешит к завалам и стенам.

Искусство, сила и природа
Слились, казалось, заодно
В защиту дикого народа:
И рвы, и насыпь, и бревно,
И неприступными рядами,
Как время вечные, скалы.
Над ними вьются временами
Одни свирепые орлы,
И, с алчным криком облетая
В глуби туманной вышины
Чир-Юрт и горы Балтугая,
Невольно в жителей страны
Вдыхают ужасы войны.
Там, укрепясь ожесточеньем,
Засели бодрые враги
И ожидали с небреженьем
Иноплеменные полки.
И вот они перед врагами
С своими страшными громами
Идут нетрепетной грядой;
Питомцы хищного разбоя
Огонь открыли роковой,
И зашумела над стеной
Гроза решительного боя.

Не видно более в дыму
Ни скал, ни воинов аула;
В тревоге приступа, в шуму,
В раскатах пушечного гула
Не слышно голоса вождя,
Но он повсюду, вождь упрямый:
Иди вперед, кидайся прямо
В огонь свинцового дождя —

Он там, покойный, величавый;
Он видит всё, его рука
Вам указует и врага
И путь давно знакомой славы...
Смотрите: вот бросает он
Стрелков бутырских батальон
С крутого берега Сулака.
Пока у варваров кипит
С бойцами егерскими драка,
Стрелок отважный поспешит
Тропой неведомой к оплоту —
И враг, противной стороной,
Увидит вдруг перед собой
Неотразимую пехоту.

Но бой сильнее! Вот ядро
Разбило твердое ребро
Полугранитного завала —
И изумился суевер:
Неустрашимый офицер,
Покорный воле генерала,
Взлетает с скоростью ядра
На вышину другой защиты;
За ним друзья его... Ура!
Толпы неистовые сбиты!..
И — на завале ятаган
И разогнутый алкоран.

Какое гибельное море
На осажденных пролилось;
И гром, и треск, и горе, горе:
Веленье мощного сбылось!
Бутырцы в схватке рукопашной
На опрокинутой стене;
Московец, егерь тучей страшной
На новой сбитой стороне;
Визжат картечи, ядра, пули;
Катятся камни и тела,
Гремит ужасное: «Алла!»
И пушка русская в ауле!..

Кто проникал в сердца людей
С глубоким чувством изученья;

Кто знает бури, потрясенья —
Следы печальные страстей;
Кто испытал в коварной жизни
Ее тоску и мятежи
И после слышал укоризны
Во глубине своей души;
Кому знакомы месть и злоба —
Ума и совести раздор —
И, наконец, при дверях гроба
Уничижения позор;
Кого обманывал стократно
Неверный счастья идеал;
Кто всё ужасно, невозвратно
В безумстве жалком потерял;
Кто силой опыта измерил
Земного блага суеты, —
Тому б страдальцу я поверил
Мои унылые мечты,
Мой ум, мой дух, воображенье,
Под залпом тысячи громов,
На трупах русских и врагов,
На страшном месте пораженья!..
Но, ах! в убийственной глуши
Едва ль я сам не без души!..

Всё истребляет, бьет и губит
Везде бегущего врага:
Его, беспамятного, рубит
Кинжал и шашка казака;
Жестокой местию пылая
В бою последнем, роковом,
Его пехота удалая
Сражает пулей и штыком.
Дитя безумного мечтанья,
Надежда храбрых умерла,
И падшей гордости стенанья
С собой в могилу унесла.
Бежит черкес, несомый страхом,
За ним летучая гроза
И смерти лютая коса
С своим безжалостным размахом.
В домах, по стогнам площадей,

В изгибах улиц отдаленных
Следы печальные смертей
И груды тел окровавленных.
Неумолимая рука
Не знает строгого разбора:
Она разит без приговора
С невинной девой старика
И беззащитного младенца;
Ей ненавистна кровь чеченца,
Христовой веры палача, —
И блещет лезвие меча...

Как великан, объятый думой,
Окрест себя внимая гул,
Стоит громадою угрюмой
Обезоруженный аул.
Бойницы, камни и твердыни
И длинных скал огромный ряд —
Надежный щит его гордыни —
Пред ним поверженны лежат.
Их оросили кровью черной
Его могучие сыны,
И не поднимет ветер горный
Красы погибшей стороны:
Оборонительной стены
И стражей воли непокорной...
И всё в унынии кругом!
Его судья, властитель новый,
В ущелья гор за беглецом
Теперь несет удар громовый.

Не воин, клявшийся Аллой
Рассеять сонм иноплеменный,
Не воин битвы дерзновенный,
Отважный духом и рукой,
Полурассеянный, разбитый,
Но вечно грозный для врага,
Всегда готовый для защиты,
Бежит, грозя издалека
Победоносному герою,
И вдруг нежданный перевес
Дает отчаянному бою...

Нет, воин ярости исчез
С своею клятвой на завале;
Столпы чир-юртские упали
С утратой славы мусульман,
И лютой мести ураган
Вился над робкими душами
В огне потерянных голов,
Над беззащитными руками
Обыкновенных беглецов...
Не тратьте лишнего заряда,
Рои крылатые стрелков:
Для очарованного стада
Довольно сабли и штыков!
Холмы, утесы и стремнины —
Всё неприязненному путь;
Но вслед за ним — повсюду грудь
И меч торжественной дружины...
За ней отчаянье и стон,
И кровь и смерть со всех сторон!

Между крутыми берегами,
Всегда омытыми водой,
Шумит кипучими валами
Кой-су, туманный и седой.
Противник вечный русской силы,
В холодной сфере глубины
Не раз готовил он могилы
Детям полночной стороны.
Неукротимый и суровый,
Недавно с яростию новой
Он ополчался на коней
И смелых воинов завета,
Когда толпа богатырей
На бранный берег Магомета
Вносила тысячу смертей.
Еще под каменной скалою
Привязан счастливый челнок,
На коем раннею порою
Вчера пронесся лжепророк.
С какою радостию бурной
Волною светлой и лазурной
Он лобызал его края,

Дарил, как ветер легким, бегом
И, силу дивную тая,
Остановил его под брегом.
Теперь кипучею волной,
Сражаясь с черными скалами,
Опять шумит под берегами
Кой-су, туманный и седой.

Уста коварного пророка
Вещали гибель и обман,
И обратились силы рока
На суеверных мусульман.
Но что за крик, и шум, и грохот
От стен Чир-Юрта по горам?
И пули визг и конский топот
Гласят чудесное волнам...
Вот ближе, ближе... Под скалами
Кой-су не плещет, не шумит;
Потомок Каина толпами
На берег в ужасе спешит.
Кой-су кипит, вздымает волны,
Горами хлещет в крутизну,
И воин бритый — пеший, конный —
Стремглав слетает в глубину.
За ним картечи!.. Воют, стонут,
Плывут мятежно, бьются, тонут
Сыны отчаянья и зла...
Спаси их, праведный Алла!

О, кто, свирепою душою
Войну и гибель полюбя,
Равнина бранная, тебя
Обмыл кровавою росою?
Кто по утесам и холмам,
На радость демонам и аду,
На пир шакалам и орлам,
Рассеял ратную громаду?
Какой земли, какой страны
Герои падшие войны?
Всё тихо, мертво над волною;
Туман и мир на берегах;

Чир-Юрт с поникшею главою
Стоит уныло на скалах.
Вокруг него, на поле брани,
Чернеет дыму полоса,
И смерти алчная коса
Сбирает горестные дани...

Приди сюда, о мизантроп,
Приди сюда в мечтаньях злобных
Услышать вопль, увидеть гроб
Тебе немилых, но подобных!
Взгляни, наперсник сатаны,
Самоотверженный убийца,
На эти трупы, эти лица,
Добычу яростной войны!
Не зришь ли ты на них печати
Перста невидимой руки,
Запечатлевшей стон проклятий
В устах страданья и тоски?
Смотри, во мгле ужасной ночи,
В ее печальной тишине,
На закатившиеся очи
В полубагровой пелене...
За полчаса их оживляла
Безумной ярости мечта;
Но пуля смерти завизжала —
В очах суровых темнота.
Взгляни сюда, на эту руку —
Она делила до конца
Ожесточение и муку
Ядром убитого бойца;
Обезображенные персты
Жестокой болью сведены,
Окаменелые — отверсты,
Как лед сибирский, холодны...
Вот умирающего трепет:
С кровавым черепом старик...
Еще издал протяжный лепет
Его коснеющий язык...
Дух жизни веет и проснулся
В мозгу рассеченной главы...

Чернеет... вздрогнул... протянулся —
И нет поклонника Аллы...

Повсюду, жертвою погони,
Во прахе всадники и кони
И нагруженные арбы;
И победителям на долю
Везде рассеяны по полю
Мятежной робости дары:
Кинжалы, шашки, пистолеты,
Парчи узорные, браслеты
И драгоценные ковры.

Чрез долы, горы и стремнины,
С челом отваги боевой,
Идут торжественной тропой
К аулу русские дружины.
За ними вслед — игра судьбы —
Между гранеными штыками
Влачатся грустными толпами
Иноплеменные рабы.

Восстав над вечною могилой,
В последний день издалека
Чир-Юрт, пустынный и унылый,
Встречает грозного врага.
Сверкает, пышет бурный пламень;
Утесы вторят треск и гул
И указуют пепл и камень,
Где был разбойничий аул...

Когда воинственная лира,
Громовый звук печальных струн,
Забудет битвы и перун
И воспоет отраду мира?
Или задумчивый певец,
Обманут сладостною думой,
Всегда печальный и угрюмый,
Найдет во бранях свой конец?

Май 1832

КЛАДБИЩЕ ГЕРМЕНЧУГСКОЕ

В последний раз румяный день
Мелькнул за дальними лесами,
И ночи пасмурная тень
Слилась уныло с небесами.
Всё тихо, мертво: всё гласит
В природе час успокоенья...
И он настал: не воскресит
Ничто минувшего мгновенья.
Оно прошло, его уж нет
Для добродетели и злобы!
Пройдут мильоны новых лет,
И с каждым утром новый свет
Увидит то же: жизнь и гробы!
Один мудрец, в кругу людей,
Уму свободному послушный,
Всегда покойный, равнодушный —
Среди волнений и страстей
Живет в покое безмятежном
Высоким чувством бытия.
В грозе, в несчастье неизбежном,
В завидной доле, затая
Самолюбивое мечтанье,
Он, как бесплотное созданье,
Себе правдивый судия.
В пределах нравственного мира,
Свершая тихий период,
Как скальда северного лира,
Он звук согласный издает,
Журчит и льется беспрерывно,

И исчезает в тишине,
Как аромат Востока дивный
В необозримой вышине.
Цари, герои, раб убогой, —
Один готов для вас удел!
Цветущей, тесною дорогой
Кто миновать его умел?
Как много зла и вероломства
Земля могучая взяла!
Хранит правдивое потомство
Одни лишь добрые дела...
Не вы ли, дикие могилы,
Останки жалкой суеты,
Повергли в грустные мечты
Мой дух угрюмый и унылый?
Что значат длинные ряды
Высоких камней и курганов,
В часы полуночи немой
Стоящих мрачно предо мной
В сырой обители туманов?
Зачем чугунное ядро,
Убийца Карла и Моро,
Лежит во прахе с пирамидой
Над гробом юной девы гор?
Ее давно потухший взор
Не оскорбится сей обидой...
Кто в свежий памятник бойца
Направил ужасы картечи?
Не отвращал он в вихре сечи
От смерти грозного лица.
И кто б он ни был — воин чести
Или презренный из врагов, —
Над царством мрака и гробов
Равно ничтожно право мести!

Сверкает полная луна
Из туч багровыми лучами...
Я зрю: вокруг обагрена
Земля кровавыми ручьями.
Вот труп холодный, вот другой
На рубеже своей отчизны.
Здесь — обезглавленный, нагой;

Там — без руки страдалец жизни;
Там — груда тел... Кладбище, ров,
Мечети, сакли — всё облито
Живою кровью; всё разбито
Перуном тысячи громов...
Где я? Зачем воображенья
Неограниченный полет
В места ужасного виденья
Меня насильственно влечет?
Я очарован... Сон тревожный
Играет мрачною душой...
Но пуля свищет надо мной...
Злодеи близко... Ужас ложный
С чела горячего исчез...
Объятый горестною думой,
Смотрю рассеянно на лес,
Где враг, свирепый и угрюмый,
Сменив покой на заговор,
Таит свой немощный позор.
Смотрю на жалкую ограду
Неукротимых беглецов,
На их мгновенную отраду
От изыскательных штыков;
На русский стан; воспоминаю
Минувшей битвы гул и звук,
И с удивлением мечтаю:
О воин гор, о Герменчуг!
Давно ли пышный и огромный,
Среди завистливых врагов,
Ты процветал под тенью скромной
Очаровательных садов?
Рука, решительница боев,
Неотразимая в войне,
Тебя ласкала в тишине
С великодушием героев;
Но ты, в безумстве роковом,
Восстал под знаменем гордыни —
И пред карающим мечом
Склонились дерзкие твердыни...
Покров упал с твоих очей;
Открыта бездна заблуждений.
Смотри, сквозь зарево огней,

Сквозь черный дым твоих селений —
На плод коварства и измен!
Не ты ли, яростный, у стен,
Перед решительною битвой
Клялся вечернею молитвой
Рассеять сонмы христиан
И беззащитному семейству
Передавал в урок злодейству
Свой утешительный обман?
Ты ждал громового удара;
Так вызывал твою судьбу —
И пепел грозного пожара
Решил неравную борьбу!..
Иди теперь, иди к несчастным:
Рассей их робость и тоску,
И мсти отчаяньем ужасным
Непобедимому врагу!
И спросят жены, спросят дети
Тебя с волнением живым:
«Где наши сакли, где мечети?
Веди нас к милым и родным!»
И ты ответишь им: «Родные
Лежат, убитые, в пыли;
А их доспехи боевые
На воях вражеской земли!
Удел младенца без покрова —
Делить страданья матерей;
Приют наш — темная дуброва;
Замена братьев и друзей —
Толпа голодная зверей!..»
И заглушит тогда стенанье
Жестокосердые слова,
И упадет на грудь в молчаньи
Твоя преступная глава;
И, движим грустию мятежной,
На миг чувствительный отец,
Ты будешь речью безнадежной
Тушить с заботливостью нежной
Боязнь неопытных сердец!
То снова пыл ожесточенья
В душе суровой закипит,
И над главою ополченья

Свинец разбойничьего мщенья
Из-за кургана просвистит...
А грозный стан, необозримый,
Теряясь в ставках и шатрах,
Стоит покойный, недвижимый,
Как исполин, на двух реках:
Великий духом и делами,
Фиал щедроты и смертей,
Пришел он с русскими орлами
Восстановить права людей,
Права людей — права закона,
В глухой, далекой стороне,
Где звезды северного трона
Горят в туманной вышине.
Его вожди... Скрижали чести
Давно хранят их имена!
Труба презрительныя лести
Не пробуждает времена;
Но голос славы, племена —
Отважный галл, осман надменный,
Поклонник ревностный Али,
Кавказ, сармат ожесточенный —
Им приговор произнесли...
Он свят!.. Язык врага отчизны
Свободен, смел, красноречив:
И славный Пор, без укоризны,
Был к Александру справедлив...

Вот эти славные дружины,
Питомцы брани и побед!
Где солнце льет печальный свет,
Где бездны, горы и стремнины,
Где боязливая нога
Едва ступает с изумленьем, —
Везде с крылатым ополченьем
Следы граненого штыка!..
И Герменчуг!.. Народ жестокой,
Народ, свой пагубный тиран!
Когда пред истиной высокой
Исчезнет жалкий твой обман?
Когда, признательные очи
Обмыв горячею слезой,

Ты дружбу сына полуночи
Оценишь гордою душой?..

Покойно всё. Между шатрами
Кой-где мелькают огоньки;
С ружьем и пикой за плечами
Кой-где несутся казаки;
Разводят цепи и патрули,
Сменяют бодрых часовых,
И визг изменнической пули
В дали таинственной затих...
И, вновь объятый тишиною,
Под кровом ночи дремлет стан,
Пока с грядущею зарею
Отгрянет с пушкой вестовою
В горах окрестных барабан;
Зажжется яркая денница
На склоне пасмурных небес;
Пробудит утренняя птица
Веселым пеньем сонный лес;
Обвеет дух отрадной жизни
Могучий сонм богатырей,
И дикий вид чужой отчизны
Предстанет в блеске для очей.
О, сколько бурных впечатлений
На поле брани роковой
Проснутся в памяти живой
Победоносных ополчений!
Минувший день, минувший гром,
Раскаты пушечного гула,
Картины гибели аула,
Пальба и сеча, прах столбом,
И визг, и грохот, и моленье,
И саблей звук, и ружей блеск,
Бойниц, завалов, саклей треск —
Всё воскресит воображенье...
Вот снова царствует, кипит
Оно в кругу знакомой сферы...
«Ура» отважное гремит...
Бегут на приступ гренадеры,
Долины мирные Москвы
Давно забывшие для славы;

Они бесстрашно в бой кровавый
Несут отважные главы.
На ров, на вал, на ярость встречи,
Под вихрем огненных дождей,
На пули, шашки и картечи
Летят по манию вождей.
Ни крик, ни вопли, ни стенанье —
Ничто отдельно не гремит;
Одно протяжное жужжанье,
Разлившись в воздухе, гудит.
Окопы сбиты... Враг трепещет,
Сбирает силы, грянул вновь,
Бежит, рассеялся — и хлещет
Ручьями варварская кровь...
Повсюду смерть, гроза и мщенье...
Пируют буйные штыки;
Везде разносят истребленье
Неотразимые полки!
Там егерь, старый бич Кавказа,
Притек от Куры на Аргун
Метать свой гибельный перун;
А там летучая зараза,
Неумолимый карабах,
С кривою саблею в руках,
Как черный дух, мелькает, рубит
Ожесточенного бойца
И опрокинутого губит
Стальным копытом жеребца!
Куртин, казак и персиянин,
Свирепый турок, христианин,
Пришельцы дальней стороны,
Краса грузинских легионов —
Всё пало тучею драконов
На чад разбоя и войны!..
И всё утихло: глас молитвы
В дыму, над грудой братних тел,
И шум, и стон, и грохот битвы...
Осталась память славных дел!

Один, под ризою ночною,
В тумане влажном и сыром,

С моей подругою-мечтою
Сижу на камне гробовом.
Не крест — символ души скорбящей —
Стоит над чуждым мертвецом:
Он славен гибельным мечом,
А меч — символ его грозящий...
Быть может, тень его парит,
Облекшись в бурю, надо мною,
И невидимою рукою
Пришельцу дерзкому грозит;
Быть может, в битве оживляла
Она отчизны бранный дух
И снова к мести призывала
Сокрытый в пепле Герменчуг.

Между 1832—1833

ВИДЕНИЕ БРУТА

Слетела ночь в красе печальной
На Филиппинские поля;
Последний луч зари прощальной
Впила холодная земля.
Между враждебными шатрами
Народа славы и войны
Туман сгущенными волнами
Разнес отраду тишины.
Тревоги ратной гул мятежный,
Стук копий, броней и мечей
Умолк; кой-где в дали безбрежной
Мелькает зарево огней;
Протяжно стонет конский топот,
И, замирая в тьме ночной,
Сливает эхо звучный ропот
С отзывом стражи боевой.
И тихо всё... Судьба вселенной
Погружена в глубокий сон;
Один булат окровавленный
Предпишет с утром ей закон.
Но чей булат окровавленный?
Святой защитник вольных стран
Или поносный и презренный —
Булат — убийца сограждан?
Погибнет сонм триумвирата,
Или, презревши долг и честь,
Готовит римлянин для брата
Позор и цезарскую месть?..

Всё спит... Ужасная минута!..
Ужель зловещий, тяжкий сон
Смыкает также очи Брута?
Ужель не бодрствует и он?
О нет, волнуясь жаждой боя,
В его груди пылает кровь:
В его груди, в душе героя
Кипит к отечеству любовь!..
Во тьме полуночи глубокой,
Угрюм, задумчив и уныл,
Под кровом ставки одинокой
Он безотрадно опочил.
Но сна вотще искали вежды:
Предчувствий горестных толпа,
И отдаленные надежды,
И своенравная судьба —
Его насильственно терзали;
Он ждал, он видел море бед —
За думой черной налетали
Другие черные вослед.
То, жертва сильных впечатлений,
В волненьи памяти живой
Он воскрешал угасший гений,
Судьбу страны своей родной:
Он пробегал картины славы,
Те достопамятные дни,
Когда Рим гордый, величавый
Был удивлением земли;
Когда Камиллы, Сципионы
Дробили в гневе роковом
Составы царств, крушили троны
Народной вольности мечом;
Когда рождались для потомства
Сцеволы, Регул, Цинцинат;
Когда был Рим без вероломства
Свободной бедностью богат...
То снова в вихрь переворотов
Проникнув с тайною тоской,
Он видел гибель патриотов
Над их потупленной главой:
Раздоры Мария и Силлы,
Как бурный нравственный потоп,

Разрушив щит народной силы,
Повергли Рим в кровавый гроб;
Два солнца Рима, два злодея
В крови отчизны возросли —
Помпей и Цезарь... Прах Помпея
С гражданской жизнью погребли...
Лепид, Октавий, Марк-Антоний
Судьбы заутра изрекут:
Иль самовластие на троне,
Или свободный Рим и Брут.

«Глава, десница заговора,
Я первый вольность пробудил;
Я первый гения раздора,
Завоевателя Босфора,
Отца и друга умертвил...
Ничтожный, робкий сонм сената
Моей надежде изменил,
И пред мечом триумвирата
Колена рабства преклонил.
Позор мужей, позор вселенной,
Тебя проклятие веков
Постигнет тенью раздраженной
В пределах смерти, в тьме гробов!
Звучат, о Рим, твои оковы —
Безгласен доблестный народ, —
Но, Рим, отмстители готовы!
Тарквиний, час твой настает!
Ударит он, сей вестник казни,
Его зловещий, грозный бой
Отгрянет с ужасом боязни
В сердцах отваги роковой!..
Последний раз поля отчизны
Я потоплю в крови родной,
И клик безумный укоризны
Иль голос славы вековой
Предаст потомкам дальним повесть
О битве будущего дня
И пощадит, быть может, совесть
Убийцы друга и царя!»
Так вождь свободных ополчений
Мечтал в порыве бурных дум;

Так заглушал змею мучений,
Тоску души высокий ум...
Густеет ночь; между шатрами
Молчанье мертвое и сон;
Луна закрыта облаками;
Герой в забвенье погружен;
Он жаждет сна, смыкает очи...
Но вдруг глухой, протяжный гул
В священном царстве полуночи,
Как вихорь, ставку размахнул.
Колосс огромного призрáка
Из тучи воздуха растет
И в ризе ужаса и мрака
Очам героя предстает...
Бесстрашный видит и трепещет:
Пред ним убийственный кинжал...
Извлек его, отмститель блещет —
Шатер раздался, дух пропал...
«Так я узнал — мой злобный гений!
Он всё решил, он всё сказал —
Конец несчастных покушений!..»

День битвы пагубной настал.
Шумят знамена бранной чести —
Триумвират непобедим,
И сын отваги, воин мести
Свободный пал за падший Рим!..

<1833>

КОРИОЛАН

Глава первая

РИМ

I

Была страна под небесами,
Была великая страна —
Страна чудес... но времена
Враждуют страшно с чудесами!
Был град, любимый град богов, —
Но уж давно пределы мира
Освободились от кумира
Племен, народов и веков!
Он пал — сперва, как лев свободный,
Потом, как воин благородный,
Потом, как раб!.. С лица земли
Он не исчез от укоризны;
Но душен воздух той отчизны,
Где славу предков погребли!
И, жертва общего презренья,
С тех пор на месте преступленья
Он, как измученный злодей,
Обезображенный страданьем,
Лежит, покрытый поруганьем,
В виду безжалостных людей!
Без утешенья и без силы,

Лишенный чувств и оборон,
Как лобызанием Далилы
Обезоруженный Самсон, —
Он недвижим во сне глубоком,
И филистимская вражда
Стоит в веселии жестоком
Над ложем смерти и стыда...
И залегла над ним сурово
Непроницаемая мгла —
И долго черного покрова
Не сгонит день с его чела!
И что ж? не будет лист увядший
Цвести опять между ветвей,
И горний дух, однажды падший,
Не воскресит минувших дней!

II

Он спит... Но кто не видел бури,
Когда, свирепа и грозна,
Она, как черная волна,
Мрачит и топит блеск лазури?
О, так на лоне тишины,
Над этой вечною могилой
Кумира славной старины
Летают, вьются с чудной силой
Былого тягостные сны!
Так благодатная десница
Всегда таинственной судьбы
Еще хранит свои столпы,
О Рим, всемирная столица!
И, как бездетная орлица,
Она витает над тобой,
И грустно ей расстаться с славой,
С твоей победною державой,
Теперь погибшей и рабой!..
И между тем как сон печальный
Тебя сурово тяготит,
Она улыбкою прощальной
С тобой безмолвно говорит...
И рой видений — то прекрасных,

Подобно утренней звезде,
То величавых, то ужасных,
Страшней порока в наготе,
Тебя лелеет беспрерывно,
Как мать любимое дитя,
Иль, свежей памятью шутя,
Наводит страх и ужас дивный
На труп холодный и немой
Твоей гордыни роковой...

III

И в влажном облаке тумана
Рисует он перед тобой
Перстом волшебным некромана:
И твой воинственный разбой,
И беспокойное гражданство,
И дух отважный мятежей,
И кровь свободы, и тиранство
Среди народных площадей;
Фабриций, Регул, триумвиры,
Трибуны, консулы, порфиры
В громах и прежней красоте,
Борясь с свирепыми веками,
Встают и, пышными рядами
Мелькая ярко в темноте,
Приносят дань твоей мечте...
И видишь живо ты мильоны
Своих народов и рабов,
Свои когорты, легионы
Под тенью тысячей орлов,
И океан, обремененный
Громадой черных кораблей,
И мир коленопреклоненный
Пред капитолией твоей.
И всё — и всё, что обожали
С глухим проклятьем племена,
Что безусловно освящали
Своим полетом времена, —
Всё видишь ты, и — изнуренный
Ужасной мукой Прометей,

Ты, будто вновь одушевленный
Картиной славы прежних дней, —
Ты, может быть, в тоске бессильной
Желаешь быстро перервать
Твой сон лукавый, сон могильный,
И с новой яростью восстать!
Но... безотрадные надежды!..
Прошли года — пройдут года,
И смертью скованные вежды
Не разомкнутся никогда!..

IV

Ты пал! Ты умер для потомства!
Ты — груда камней и земли!
Секиры зла и вероломства
Твои оплоты потрясли!
Нет Рима, нет — и невозвратно!
И с полунощной тишиной
Одна лишь тень его превратно
Дрожит над тибрскою волной!..
Исчезли цирки, пантеоны,
Дворцы Нерона и сенат,
И императорские троны,
И анархический булат,
И там, на площади народной,
Где, в буйном гневе трепеща,
Взывал Антоний благородный
К друзьям кровавого плаща,
Где защитил народ свободный
Своих тиранов от мечей
И, наконец, окровавленный,
Склонился выей, изнуренный,
Под иго хитрых палачей, [1] —
Там тихо всё! умолкли битвы!..
Лишь век иль два тому назад,
Бывало, теплые молитвы
То место громко огласят,

[1] Триумвиров.

Когда в угодность Каиафе,[1]
При звуке бубнов и рогов,
В великолепном *автода́фе*
Сжигали злых еретиков...

V

Теперь же в Ромуловой сфере
Костры живые не трещат —
Зато прекрасно Miserere.
Поет пленительный кастрат.
И если страннику угодно
Иметь услужливых друзей,
Его супругу благородно
Проводит ловкий чичисбей...

Глава вторая

ИЗГНАННИК

I

Кто видел над брегом туманного моря
Векам современный, огромный утес,
Который, с волнами кипучими споря,
На брань вызывает их бурный хаос?
Стоит недвижимый над черной могилой —
Но воют и плещут буграми валы;
Свирепое море с неведомой силой
Обмыло гранитные ребра скалы,
Обрушилось, пало холодной геенной,
Тяжелой громадой на вражье чело —
Сорвало, разбило — и лавой надменной
В пучину седую, как вихрь, унесло!
Те волны, то море — народная сила;
Скала — побежденный народом герой.
На поле отваги судьба довершила
Насильства и славы торжественный бой...

[1] Под именем Каиафы здесь разумеется верховный инквизитор.

II

Смотрите: бунтуют безумные страсти;
Неистово блещет крамольный перун;
Священный останок утраченной власти
Громит безответно могучий трибун.
Мятеж своевольный и ярые клики
Возникли в отчизне великих мужей:
Патриций и воин, и раб полудикий
Враждуют на стогнах отцов и детей;
И шум и смятенье в приливе народа...
«Сенат и законы!» — «Мечи и свобода!» —
Взывают и вторят в суровых толпах.
«Но слава, победы, заслуги и раны?» —
«Изгнанье злодею! Погибнут тираны!
Мы вместе сражались и гибли в боях!» —
И глухо мечи застучали в ножнах...
«Давно ли он принял от гордого Рима
Зеленый венок, украшенье вождей?» —
«Изгнанье, изгнанье! Видна диадима
В зеленом венке из дубовых ветвей!» [1]
И долго торжественный голос укора,
Мешаясь с проклятьем, в народе гремел,
И жребий изгнания — жребий позора —
Достался бесстрашному мужу в удел!..

III

Доволен и грозен неправедной силой,
Народ удалился от места суда,
И город веселый, и город унылый
Покрылся завесою тьмы и стыда...
Но кто, окруженный толпою ревнивой,
Под верной защитой булатных мечей,
Покоен и важен, как царь молчаливый,
Идет перед сонмом врагов и друзей?
Волнистые длинные перья шелома
Клубятся и вьются над бледным челом,
Где грозные тучи, предвестницы грома,

---

[1] Народные трибуны, обвиняя Кориолана во многих преступлениях против отечества, уличили его также в домогательстве верховной власти.

Как будто таятся во гробе немом,
И око, обвитое черною бровью,
Сверкает и пышет, как день на заре,
И стан величавый, и, жаркою кровью
Нередко увлаженный, меч при бедре,
Блестящий в изгибах суровой одежды, —
Он гордо проходит пред бурной толпой;
И мнится — и злобу, и месть, и надежды
Великого Рима уносит с собой...

IV

Уж поздно... Тарпея, как тень великана,
Сокрыла седую главу в облаках,
И тихо слетает на землю Диана,
В серебряной мантии, в ярких звездах.
Часы золотые! Отрадное время!..
Вам жертву приносит поклонник сует —
Лишь с сумраком ночи забудет он бремя
Душевной печали и тягостных бед.
В глуби эмпирея, на небе эмальном
Звезда молодая блестит для него,
И сон благотворный на ложе страдальном
Согреет облитое хладом чело...
И после — на муку знакомого ада,
На радость и горе, на жизнь и тоску
Навеет волшебная ночи прохлада,
Быть может, навек гробовую доску...

V

Оделась туманною мглою столица;
Мятежные площади спят в тишине.
Вдали промелькает порой колесница
Иль всадник суровый на быстром коне;
Ночные беседы, румяные девы
Заметны порою в роскошных садах,
И слышны лобзанья, и смех, и напевы,
И рядом — темницы и вопли в цепях.
И редки на улицах робкие встречи,
И голос укора, и ропот любви —
Плащи и кинжалы, смертельные сечи,

Мольба и проклятья, и трупы в крови...
И снова молчанье... Как будто из Рима
Возникло песчаное море степей...
Безоблачно небо; луна недвижима
В пространстве глубоком воздушных зыбей.

VI

У храма, под тенью душистой оливы
Внезапно нарушен священный покой:
То робкие жены — их взор боязливый
Наполнен слезами и дышит тоской.
Одна — молодая, в печали глубокой,
Как ландыш весенний, бела и нежна;
Другая — летами и грустью жестокой
Могиле холодной давно суждена.
Пред ними, закрытый волнистою тогой,
В пернатом шеломе, в броне боевой —
Неведомый воин, унылый и строгой,
Стоит без ответа с поникшей главой.
И тяжкая мука, и плач, и рыданье
Под сводами храма в отсвеченной мгле —
И видны у воина гнев и страданье,
И тайная дума, и месть на челе.
И вдруг, изнуренный душевным волненьем,
Как будто воспрянув от тяжкого сна,
Как будто испуган ужасным виденьем:
«Прости же, — сказал он, — родная страна!
Простите, сыны знаменитой державы,
Которой победы, и силу, и честь
Мрачит и пятнает на поприще славы
Народа слепого безумная месть!
Я прав и свободен! Я гордой отчизне
Принес дорогую, священную дань —
Младые надежды заманчивой жизни,
И сердце героя, и крепкую длань.
Не я ли, могучий и телом и духом,
Решал многократно сомнительный бой?
Не я ли наполнил Италию слухом
О гении Рима, враждуя с судьбой?
И где же награда? Народ благодарный,
В минутном восторге, вождя увенчал —

И вновь, увлеченный толпою коварной,
Его же свирепо судил и изгнал!
Простите ж, сыны знаменитой державы,
Которой победы, и славу, и честь
Мрачит и пятнает на поприще славы
Народа слепого безумная месть!..»

VII

Протяжно гремели суровые звуки
И глухо исчезли в ночной тишине,
Но голос прощанья в минуты разлуки
Опять пробудился, как пепел в огне:
«Свершилось! свершилось! О мать и супруга!
Мне дорого время, мне дорог позор!
Примите ж в объятия сына и друга —
Его изгоняет навек приговор!
Где дети изгнанника? Дайте скорее
Расстаться с чертами родного лица —
О, пусть лобызают младенцы нежнее
Устами невинными очи отца!
Пусть юные души дыханье обиды
В груди благородной навек сохранят, —
И некогда гордо кинжал Немезиды
Забвенному праху отца посвятят!»
И снова рыданья!.. Горячих объятий
Не слышит, не чувствует гордый герой —
Свободен... и скрылся от граждан и братий,
Как лев, уязвленный пернатой стрелой...

Глава третья

ВРАГ

I

Пробудился гений славы:
Из объятий тишины
Потекли на пир кровавый
Брани гордые сыны.

Кто ж вы? .. Яростные клики
Раздались, как гул морей...
Не восстал ли Рим великий
На народов и царей?
Не во гневе ль он суровый
Изрекает приговор —
И дарует им оковы
И блистательный позор? ..
Нет! Решитель дивных боев
Стран далеких не громит —
Над отечеством героев
Туча грозная висит.
Пали, пали легионы,
Приносившие законы
На булатных лезвиях, —
И бесстрашно окружила
Разрушительная сила
Самый Рим в его стенах! ..
Кто же смелый искуситель
Повелительной судьбы,
Ваш опасный притеснитель,
Ига римского рабы?

II

Раздавался гул громовый,
Полунощная гроза
Блеском молнии багровой
Озаряла небеса.
Над туманною рекою
Древний Анциум[1] дремал
И угрюмой тишиною
Мирных жителей к покою
Благосклонно призывал.
Племя славного народа
Крепкий город охранял;
Там отважная свобода
На границах рубежей

---

[1] Анциум — город вольсков, в котором Кориолан, после изгнания его из дома, нашел сильное покровительство.

Берегла от утеснений
Кровожадных поколений
Цвет воинственных мужей;
Там она, на поле чести,
В самой гибели жива —
Разливала ужас мести
За великие права.
Часто сильные дружины
Приходили на равнины
Плодоносной стороны;
Но тогда миролюбивый
Обожатель тишины
Покидал златые нивы
И отцов заветный плуг
И стремился горделиво
На призывный трубный звук.
Непреклонный, беспощадный,
Он пришельца поражал
И в тени лесов отрадной
Грозный подвиг воспевал...

III

Тщетно Рим неодолимый
Вызывал на лютый бой
Сына родины любимой,
Стража вольности святой.
Лишь один герой могучий
Прошумел, как вихрь летучий,
На убийственных полях:
Он покрыл костями долы,
И упали Кориолы
Перед воином во прах.
Но народ самодержавный
Осудил его бесславно
На изгнанье и позор
И без тайной укоризны
Произнес красе отчизны
Ненавистный приговор...
Благородный победитель,

Удивленье чуждых стран,
Обвинен как притеснитель
Легкомысленных граждан;
И теперь, в суровой доле,
Грустной думой удручен,
Может быть, на бранном поле
Ищет смерти, — жаждет он
Позабыть несправедливый
И блуждающий ревниво
По следа́м его закон...

IV

Город вольсков осенила,
Как холодная могила,
В шуме бури тишина;
И под кровлею надежной
Мирный житель безмятежно
Предавался неге сна.
В это время кто-то, строен,
Безоружен, но покоен,
Гость неведомый, вступал
В град и пышные чертоги,
Где глава народа — строгий
Старец Аттий — обитал.
В мрачной думе вождь верховный,
После тягостного дня,
Одинок сидел безмолвно
У отрадного огня.
Всё вокруг него дышало
Незабвенной стариной
И невольно вспоминало
Славу жизни молодой:
Шлемы, панцыри и латы,
И тяжелые булаты,
Иззубренные в боях,
Перед ним в отцовской сени
Отсвечались на стенах —
И порой как будто тени
Трепетали на гробах.

V

Охранитель беззащитных,
Раболепственных владык,
Он на битвах кроволитных
Был отважен и велик;
Сам орел капитолийской
Рог гордыни италийской,
Для тиранов роковой,
Не возмог стереть кичливо
Над его вольнолюбивой
Серебристой головой.[1]
Только раз он в вихре боя
Пал разбитый и от ран;
Но тогда его, героя,
Победил Кориолан.
Это имя было казнью
В непокорных племенах
И с невольною боязнью
Повторялось на устах;
Это имя ужасало
И народы и царей
И, как буря, навевало
Хлад на души матерей...

VI

Старый вождь сидел угрюмо
Перед тлеющим огнем
И летал печальной думой
В невозвратном и былом.
Вдруг в мечтании глубоком,
Изумлен и недвижим,
Видит он: в плаще широком
Чуждый воин перед ним.
Скрыты взор его и лета;
Он безмолвен и суров,
И садится без привета
Под защитою богов.[2]

---

[1] Да простят мне из уважения к памяти Кориолана поэтическую вольность, с которой приписал я много редких достоинств едва известному по истории Аттию Туллу. Кориолан достоин был иметь знаменитого соперника — на поприще славы.

[2] Историческое.

Понял Аттий горделивый
Гостя чудного без слов —
То язык красноречивый
Запоздалых пришлецов.

Аттий

Не порою ли ненастной,
Незнакомец, ты гоним?
Здесь, под кровлей безопасной,
Будешь здрав и невредим.
От измены, от булата
Сохранит тебя судьба,
И на путь тебе я злата
Приготовлю и раба.
Но скажи мне: кто ты, странник?
Из каких далеких стран?

Незнакомец

Я из Рима — я изгнанник!
Я твой враг — Кориолан!..

VII

Он встает... Какая встреча!
Если б яростная сеча
Их неистово свела,
Если б лаврами обвитых
Двух героев знаменитых
На погибель обрекла, —
О, тогда и гром и бури
Засверкали б на лазури
Их убийственных мечей,
И сразились бы стихии,
А не воины лихие,
Пред мильонами очей.
Но теперь — один, великий,
Без покрова и друзей,
У могучего владыки
Необузданных мужей
Ищет, с гордостью свободной,
Или жизни благородной,
Или смерти, как злодей.

Кориолан

Аттий! Рок меня коварный
Справедливо погубил —
Слишком Рим неблагодарный,
Слишком много я любил.
Он изгнал меня... я снова
У старинного врага;
Для услуг его готова
Беспощадная рука,
Для вражды непримиримой —
Голова моя и кровь!
Ах, без родины любимой
В сердце месть, а не любовь!..

Глава четвертая

ГРАЖДАНКА

I

Светило дня роскошно и светло
По небесам безоблачным текло
И озаряло Рим унылый,
Когда в виду его граждан
Военачальник чуждой силы,
Как бранный дух, предстал Кориолан.
Уже не славу, но оковы,
Не щит, а гибельный булат
Принес в деснице он суровой
Для казни Ромуловых чад.
Смотри, тиран народов вероломный,
Любимец счастья и богов,
На этот сонм, могучий и огромный,
Твоих завистливых врагов!
Дерзнешь ли ты, как прежде горделивый,
Рассеять их несметные толпы?
Падут ли в прах, с потупленною выей,
Перед тобой мятежные рабы?
Увы!.. Одни высокие твердыни,
Одни бойницы — твой покров,
И превратил огонь в печальные пустыни
Богатство сел твоих, и нив, и городов...


Лит. А. Ястребилова
Печ. позв. Цен. И. Снегиревъ
А. ПОЛЕЖАЕВЪ.

К тебе как гений разрушенья
Притек неистовый герой —
Обмыть в крови, на поле мщенья
Позор обиды роковой!..

II

Кто видел бурные потоки,
Когда с вершин утесов и холмов
Они бегут и роют путь широкий
Среди степей, среди лесов,
И рушат всё стремительною лавой, —
Так и отважные сыны
Свободы дикой и войны
Текли на подвиг величавый.
И смерть и кровь по их следам —
И исполин, доселе знаменитый,
Везде рассеянный, разбитый,
Спешит в отчаяньи к стенам.
И вопли жен осиротелых,
И укоризны матерей,
И ропот старцев, поседелых
На поле славы прежних дней,
Встречают с грустью безнадежной
Остатки робких беглецов;
И стыд неволи неизбежной
И звук торжественных оков
Над ними носятся незримо, но мятежно,
Как молния во мраке облаков...

Нередко погружен в мучительные думы,
Когда во тьме ночей дремал покойный стан,
На город мрачный и угрюмый
С невольною тоской взирал Кориолан.
В каком печальном униженьи
Стоял, как призрак, перед ним
Тот самый гордый, сильный Рим,
Краса могучих поколений,
Который, страшен и велик,
Был некогда грозой народов и владык;
Тот Рим, отечество героев,

Который он на поле боев
Прославил гибельным мечом
И, наконец, карал без сожаленья,
Как жертву праведного мщенья,
В безумстве жалком и слепом.

III

Как гражданин страны несчастной,
О ней он втайне тосковал —
Он часто к родине прекрасной
Мечтой высокой улетал;
Но приговор несправедливый,
Но голос чести и стыда
В его душе самолюбивой
Таились яростно всегда;
И он презрел, неумолимый,
Права, законы, самый рок —
И славный град вражде непримиримой
И разрушению обрек.
Увы, священная свобода!
Ни представители народа,[1]
Ни жрец верховный, ни сенат
В зловещий день не охранят
Тебя надежною эгидой
От непреклонного врага!
Кто движим местью и обидой,
Кого свирепая тоска
Казнит и мучит самовластно,
Кто утонул в пучине зла, —
Тому раскаянье ужасно,
Тому отрада немила;
Тот увлечен ожесточеньем
Безумной воли и страстей
И дышит весь уничтоженьем,
Как недруг неба и людей...
Таков Кориолан! .. Народ самодержавный,
Тебе он произнес печальные слова:
«Я гражданин изгнанный и бесславный, —
Огонь и меч — мои единые права!

[1] Здесь говорится о безуспешном посольстве к Кориолану римского сената и жрецов.

Я их внесу рукой окровавленной
В чертог тиранов и судей —
И не спасет гордыни униженной
Ни стон, ни вопль, ни святость алтарей! ..»

IV

Где раздались протяжно и сурово
Глухие звуки этих слов?
Под сводом неба, средь шатров,
Где всё шумит, где всё готово
Восстать и тучей громовой
Лететь за славою на бой...
Совершилось! .. благодатный
Луч надежды изменил!
Ополчись на подвиг ратный
Гений Рима — воин сил!
Где вы, праотцы и деды
Погибающих сынов?
О, покиньте для победы
Сени мрачные гробов!
Пронеситесь над главами
Устрашенных беглецов,
И рассеются пред вами
Сонмы лютые врагов!
Но нет! блистают копья, брони;
Стучат железные щиты;
Покрыли воины и кони
Луга, долины, высоты;
Тревога, грохот, гул и клики,
Земля и стонет и гудит —
И горе, горе, Рим великий,
Твой час, последний час пробит! ..

V

Кто этот муж иноплеменный,
Всегда и всюду впереди?
За ним волною разъяренной
Текут народы и вожди;
Его десницы мановенье,

Единый взор его очей
Приводят в трепет и волненье
Толпы воинственных мужей...
Уже он близок; из колчана
Выходят стрелы — миг один —
И, может быть, к стопам Кориолана
Падет покорный гражданин!..

VI

Но что за дивное явленье,
Откуда страх между бойцов?
Кто мог остановить внезапно ополченье
Перед лицом бледнеющих врагов?
Вся рать безмолвна, недвижима.
Навстречу ей, торжественно, из Рима
Идет не грозный легион,
Предвестник битвы кроволитной,
Но сонм унылый, беззащитный
Младых гражданок, славных жен...
С другим оружием — с слезами
И распущенными власами
На обнаженных раменах,
С словами мира на устах,
С мольбой, ничем не отразимой, —
Они идут тебя сразить
И пламень мести потушить
В твоей груди, герой непобедимый!..

VII

Кого с растерзанной душой,
С челом суровым и холодным,
Кого ты зришь перед собой?
Кто гласом грустным, но свободным
К тебе воззвал: «Кориолан!
Кого я заключу в горячие объятья:
Тебя ли — своего отечества тиран,
Навлекший на главу позорную проклятья,
Или тебя — несчастный сын?
Кто ты? Изгнанный гражданин,
Или надменный повелитель?

Когда и меч, и смерть, и плен
Ты вносишь в недра этих стен —
Зачем же медлишь, победитель,
Своих детей, жену и мать
Цепями рабства оковать?
Карай меня всей тяжестию мщенья!
Я Рим повергла в море зла
И недостойна сожаленья —
Я жизнь преступнику дала! ..»

VIII

И вопль гражданок знаменитых
И милые слова: «отец, супруг»,
Печальный вид простертых к небу рук,
Растерзанных одежд и уст полуоткрытых —
Всё душу мрачного вождя
В то время сильно волновало —
И, чувство мести победя,
Невольно к жалости склоняло.
Казалось, слова одного
Искал он в памяти: пощада;
И в тишине взирали на него
И чуждые толпы и римляне из града.
И долго был он в думу погружен,
И наконец как будто пробудила
Его от сна неведомая сила:
«О мать моя — ты победила!
Твой сын погиб, но Рим спасен! ..»

На месте том, где самовластье
Любви гражданской и красы
Спасло отчизну от грозы,
Воздвигли храм богине Счастья.[1]
Но там, где пал неистовый герой
И добродетельный изгнанник, —
Не видел памятника странник
И не вздыхал над урной гробовой...

1834

---

[1] Историческое.

КАРФАГЕН

(Начало неоконченной поэмы «Марий»)

Был когда-то город славный,
Властелин земли и вод;
В нем кипел самодержавный
И воинственный народ.
В пышных мраморных чертогах
Под защитою богов
Или в битвах и тревогах
Был он страшен для врагов.
Степи, горы и долины
И широкие моря
Покрывали исполины
Двухстихийного царя.
И соседние владыки
И далекие страны
Перед ним, как повилики,
Были все преклонены.
Багряницею и златом
Он роскошно их дарил
И убийственным булатом
В страх и ужас приводил;
Подавлял свирепой тучей
Он судьбы чужих племен —
Кто не знал тебя, могучий,
Знаменитый Карфаген?..
. . . .

<1837>

ЦАРЬ ОХОТЫ

(Василию Алексеевичу Бурцову)

Не вихрь большого света,
Как бурная река,
Уносит от поэта
Любезного стрелка!
Быть может, невозвратно?..
Что делать!.. Так и быть!
Меж тем я буду жить
Надеждою приятной,
Что некогда, шутя,
        От скуки на досуге
Иль так в веселом круге
Он вспомнит про меня
И скажет: я когда-то
Проказника знавал,
        И помню, что проклятый
Мне что-то написал.
А я ему богатый,
Какой-то полосатый
Огромнейший колпак
В знак памяти оставил.
Меня он позабавил,
Любуясь, как дурак,
На шелковый колпак!

Глава первая

I

ОН

Не черные тучи
Висят над скалой;
Не вихорь зыбучий
Взвился над землей;
Не сокол могучий
Летит с облаков
Стрелою гремучей
Разить ястребов, —
Нет! Буря не воет...
И вихорь не роет
Горячей земли.
Всё тихо, покойно,
И дивно, и стройно
В небесной дали.
И что же над прахом
В часы тишины
Объятые страхом
Трепещут страны?
То в поле выходит
Roi de la chasse,[1]
И в ужас приходит
Весенний бекас!..
То муж сановитый,
Стрелок знаменитый,
Гусар отставной,
Привыкший к победам,
К веселым обедам
И к воле лихой.
Знакомый с громами,
Любя старину,
С лесными врагами
Ведет он войну.
Он долго не метит:
Лишь глазом заметит,
Спускает курок —
И птица у ног!..

---

[1] Король охоты (франц.). — *Ред.*

Не знает ни тьмы, ни денницы
Великий стрелок.
Не видя поднявшейся птицы,
Он слышит лишь крыльев полет,
Прицелился, грянул, и птица падет!
Как новый Суворов,
Без правил он бьет,
От дроби и взоров
Ничто не уйдет!
Едва появился
Лесной удалец —
Он — паф! .. покатился!
Он — хлоп! .. и конец! ..
Как солнце в огромном
Хаосе миров,
Блистает он в скромном
Хаосе стрелков,
Предводит их сонмом,
Как муромский витязь Илья.
А те лишь зевают
И грустно считают
Свои пуделя.

II

ОНИ

Куда ж, скажите мне, мятежною ватагой
Вы собрались, мои друзья?
Зачем, упитанные влагой
Живого Ноева ручья,
Вы с поприща котлет, бифштекса и ростбифа,
С улыбкой вандала и наглостию скифа,
Накинув ружья на плеча,
Вдруг поднялися сгоряча,
Схватили яростно патроны
И, застегнув на шпензерах крючки,
В сажень величиной надели сапоги
И кожаные панталоны?
И что за грозный, страшный вид!
Он вестник будущего боя:
Провинциальный сибарит
Преображается в героя!

Везде тревога и содом:
Собак голодных завыванье,
Лакеев брань и коней ржанье,
И шум, и крик, и всё вверх дном!..
Пустеют барские палаты
И раболепственные хаты.
«Сюда! — кричат конфедераты,
Накинув шапки набекрень. —
Настал, настал великий день!
Сегодня мы себя покажем...
Злодея Бурцова накажем
И всеторжественно докажем,
Что он отнюдь не великан,
Что мы вобьем его в болото,
Что он над М<уромом> не пан
И, наконец, не Царь охоты!..»
Так демон зависти и мщенья
Раздора пламень раздувал
И легионы ополченья
На подвиг бранный вызывал!
Так некогда сычи и совы,
Поднявшись ночью из дупла,
Хотели массой бестолковой
Напасть на сонного орла.
Но он могучими крылами,
Приосанившись, размахнул, —
И где с летучими мышами
Их взбунтовавшийся аул?
Так точно Васеньку сбирались
Другие мыши погребать!..
Сперва шутили и смеялись,
Потом хотели отпевать;
Но кот лукавый зорким глазом
Окинул их исподтишка,
Расправил лапищи — и разом
Передушил их в два прыжка!..

III

ЗАГОВОРЩИКИ. ОХОТА

Уже по небу разливалась
Багряноцветная заря,

Природа тихо пробуждалась,
С восходом дневного царя,
Когда холмы, леса, болота,
В хаосе шумных голосов,
Узрели вдруг Царя охоты
Между завистливых врагов.
С челом открытым, величавым,
Любуясь зеркалом ружья,
Перед собранием лукавым
Он шел как вождь и судия.
Всегда на брань идти готовый,
Владыка долов и полей,
Он видел происки и ковы
Своих товарищей-друзей,
Но, улыбаясь равнодушно,
На них без страха он смотрел
И лишь в душе великодушной
О бедных витязях жалел.
И вот огромная ватага
Уже рассыпана в лесах
И взволновалася, как брага
В полузамазанных чанах.
С ращыпом бары и лакеи
Тревожно заняли посты;
Скрывают их, как батареи,
Колоды, кочки и кусты.
Пятьсот собак, как волки, рыщут
Вокруг болот, пугая дичь;
Псари бранятся, скачут, свищут.
Везде призывный гул и клич!
Вот раздается выстрел первый!..
Сильнее тысячи громов
Он раздражительные нервы
Потряс невольно у стрелков...
«Ведь это он!..— в оцепененьи
Один другому говорит.—
Клянусь, бекас на положенье
Не поднялся и уж убит!
Смотри, смотри... Опять наметил...
Ужель и этот упадет?..
Ах, варвар!.. Так его и встретил...
А черт лягавый и несет!»

Скрывая горестное чувство,
«Тут важного нет ничего, —
Бормочет третий про него. —
Одно лишь счастье, без искусства».
«Конечно, счастье», — целый хор,
Приосанившись, возглашает,
А он меж тем, от этих ссор
Вдали, смеется да стреляет
И, всем толкам наперекор,
Суму исправно набивает.
И между тем часы бегут,
Всё занимательней охота.
Давно с измученных текут
Ручьи убийственного пота,
А толку нет... Позор! беда!
Громят, расстреливают небо...
Не знают, как, не знают, где бы
Им приютиться от стыда.
Иной несчастный в полоумье
Ягдташ свой щепками набил;
Другой в отчаянном раздумье
Пять рюмок водки проглотил.
А тот без совести лакея
Совсем невинного бранит;
Сам промах дал и, не краснея,
Слугу безмолвного винит,
Клянется небом и землею:
«Не я стрелял, а мой слуга!»
А раб с поникшей головой,
Убитый властью роковой,
Твердит: «Да, дрогнула рука».

IV

СЛЕДСТВИЯ ОХОТЫ. БОЛЬНОЙ. ОБЩЕЕ УНЫНИЕ

В лесах дремучих, в чистом поле
Гуляет витязь удалой,
И, повинуясь грозной доле,
Дергач и тетерев глухой,
И дупельшнеп, и куропатка,
Кулик и рябчик молодой —

Всё исчезает без остатка
Пред ним, как мантия ночей
При блеске солнечных лучей
Перед десницей роковой.
Бессмертной славою покрытый
И с полновесным ягдташом
Перед завистливою свитой
Мелькает он с своим ружьем.
Ему предшествует победа!
За ним — досада и раздор.
Где он — там робкая беседа,
Где нет его — там шум и вздор!
Хотите ль знать, как у соседа
Об нем заводят разговор?
«Сам черт в ружье его двуствольном
Нашел квартиру и сидит,
И нас в упрямстве своевольном
Без сожаления стыдит.
Все наши козни, вероломства
Ему нимало не вредят:
Оценит строгое потомство
Его деяний пышный ряд,
Неимоверными хвалами
Его осыплет навсегда,
А мы, с своими пуделями,
Как петербургская орда
Поэтов с белыми стихами,
Мы канем в Лету, господа!
Зачем же завистью напрасной
Себя мы будем очернять,
И почему б единогласно
Печальной правды не сказать?
Он — Царь охоты? .. Согласимся!
Обуха плеть не перебьет...
И, право, лучше помиримся
С таким злодеем без хлопот!»
Так наконец в печали слезной
Один из тружеников рек,
Когда с охоты бесполезной
Пришел домой и занемог.
И тихо вкруг его постели,
Занявшись жирным пирогом,

Друзья усталые сидели
В молчаньи мрачном и немом.
Они сидели. Пот кровавый
С их лиц нахмуренных бежал,
И каждый важно, величаво
Свою бутылку осушал.
— «Ну, что ж, друзья? .. Ведь
справедливо? —
Нахмурясь в очередь свою,
Сказал больной красноречивый. —
Скрепите исповедь мою!
Она, поверьте, благородна
И не унизит никого!
К чему упорствовать бесплодно?
Примите лучше всенародно
Сознанье сердца моего.
Простилось с вами, о заботы,
Мое горячее чело!
Склонись пред ним: он — Царь охоты,
Мне сердце вещее рекло». —
Умолк. Как воин в лютой сече,
На щит расколотый упав,
Или торжественное вече
Новогородцы потеряв,
Или свирепые медведи,
Рыкая жалостно в цепях,
Вздохнули грустные соседи
При этих пагубных словах.
«Увы! увы! — сказал протяжно
Один задумчивый герой, —
Я вижу сам, борьбе отважной
Конец приходит роковой.
Погибла древняя свобода
Дремучих Муромских лесов,
И из великого народа
Республиканцев и стрелков —
О, верх плачевный униженья! —
Растут, исходят поколенья
Немых бесчувственных рабов.
Как Бруты смелые, напрасно
Для счастья вольности прекрасной
Мы не щадили наших сил.

Ах, Бурцов, Цезарь самовластный,
Пришел, увидел, победил!..
Где наши подвиги и слава,
Слепого счастия закон?
Одна осталась нам забава:
Стрелять кукушек и ворон!» —
«Увы! увы! О горе, горе! —
Повсюду громко раздалось. —
Какое гибельное море
Над нами быстро разлилось!»

V

УДИВИТЕЛЬНОЕ ПРОРОЧЕСТВО И ВИДЕНИЕ. СМЕРТЬ ЕГО. УЖАС ЗРИТЕЛЕЙ

И между тем больной кончался
И отходил уже во мглу,
И пот холодный разливался
По бледному его челу;
Слабел заметно тихий голос...
И вдруг поднялся дыбом волос,
И он, как будто бы пророк,
В жару неистовом изрек:
«Где я, где я?.. Какие тучи
Над головой моей висят?..
В моей груди — огонь кипучий...
В моей душе — свирепый ад!..
Я вижу, вижу ряд ужасных,
Ряд изумительных картин!
Среди охотников несчастных
На злаке муромских долин,
Среди болот непроходимых,
Между лесов необозримых
Возник какой-то исполин...
О, верьте, я не очарован!
Мое виденье — не обман!..
Броней железной не окован
Его красивый легкий стан...
Он не доспехами стальными,
Он не оружием велик...
С очами карими, живыми,

Причесан он à la[1] мужик,
В венгерке с черными шнурами,
С ружьем блестящим за спиной,
С кавалерийскими усами,
С полугишпанской бородой,
С улыбкой гения и славы,
Как Царь охоты величавый,
Стоит он, светел и румян,
Рассеяв зависти туман!..
Но что? .. Упала предо мною
Завеса будущих времен!..
Мой светлый взор не омрачен
Непроницаемого мглою...
Я вижу ясно... Это он!..
О, бог великий, бог правдивый,
То он!.. И что же? .. Перед ним
Толпою бледной, нечестивой
Мы, окаянные, стоим!..
И он величественно страшен,
А мы — в отчаяньи смешном...
Венком лавровым он украшен,
А мы — зеленым лопухом!..
Друзья! Свершилось!.. Умираю!..
Внемлите гласу моему.
В последний раз вам завещаю
Повиновение к нему...
Смотрите!.. Вот!.. О други, братья!..
Он здесь!.. Смотрите!.. вот он!.. вот!
С его охотничьего платья
Кровь бекасиная течет...
По раменам его играют
Струи каштановых кудрей...
Ружье и пояс украшают
Две пары жирных дупелей...
Прости! Помилуй... Царь охоты!»
И вдруг несчастного постиг
Припадок яростной зевоты,
И, искажая бледный лик,
Прильпе к устам его язык...
Прильпе... Но взор его блудящий

[1] Как (франц.). — *Ред.*

Какой-то ужас выражал,
И вдруг, поднявши перст дрожащий,
Он им на что-то указал;
Как будто вымолвить, страдалец,
Он что-то дивное хотел,
Всё дико, пристально смотрел...
Зевнул протяжно, захрапел...
И в воздухе недвижный палец,
Остановясь, окаменел.
Восстали витязи... У мощных
Мороз по коже пробежал,
И их испуганный кагал,
Как рой видений полунощных,
От трупа хладного бежал.

VI

КОНЕЦ ВРАЖДЕ. ТОРЖЕСТВО ЦАРЯ ОХОТЫ. ДОЛГИОС. СЛАВА

Откуда шум, откуда клики
В веселой Муромской земле?
Какие радостные лики,
Какие светлые enflés [1]
Сидят без горя, без заботы
За преогромнейшим столом?
И между ними Царь охоты
С своим торжественным челом...
Шато-марго и дрей-мадера,
Душистый грейцих, ве-се-пе [2]
И всё, что кончится на е,
Как благодатная Венера,
Или безумная холера,
Гуляет в дружеской толпе.
«Messieurs! Товарищи, синьоры,
Маркизы, фоны, господа! —
Гласит веселая орда. —
Отныне скука и раздоры,

---

[1] Enflé — техническое выражение в кругу одного веселого общества.

[2] «V. C. P.» — марка шампанского Veuve Cliquot Ponchartrain.

Междоусобия и споры
От нас бежали навсегда!
Сейчас, сейчас на этом месте
Воздвигнем дружеству алтарь,
И все, не изменяя чести,
Речем торжественно, без лести,
Что Бурцов — гений наш и царь!
Да, уж давно леса, болота,
Созданья умные и тварь,
Давно сказали: он наш царь,
Другого нет Царя охоты!
Он царь двуствольного ружья!
Он властелин коростеля,
Он первый консул куропатки,
Он богдыхан перепелов, —
Кричит полсотня голосов. —
Никто, никто ему перчатки
Не смеет бросить из стрелков.
Ура! Ура! герой Василий!
Прости, что мы до этих пор
Тебя, как должно, не почтили!
Забудь наш бедный заговор!»
И вдруг с улыбкою приветной
К нему собранье потекло,
И пышный лавр зеленоцветный
Украсил гордое чело.
«Он твой! Он твой! Его делами
Ты, о Василий, заслужил
За то, что воздух пуделями,
Подобно многим, не кормил!
Другого Бурцова в подлунной
Мы не увидим, не найдем...
И верь, на лире многострунной
Твои деянья воспоем!
Ура! Ура!..» И хор избранный,
Немного спиртом обуянный,
Лихую песню затянул,
И витязь, лавром увенчанный,
Едва в восторге не уснул!
Но кто свирепый, долголикий,
Как тень, покинувшая мглу,
Бросая взор угрюмый, дикий,

Стоит задумчиво в углу?
Кто этот муж, который, грозно
Повеся голову и нос,
Глядит так важно и серьезно
На светлый пир? .. То — Долгиос!
Не имя предков благородных
Себе в наследье он стяжал...
Он сам в число мужей свободных
Господской милостью попал.
Но, бич зверей и птиц ужасный,
Прославясь гибельным ружьем,
До этих пор единогласно
Считался первым он стрелком.
Подобный крепостью Немвроду,
Но, побежденный и без сил,
Свою охотничью свободу
Еще он дорого ценил.
Внушенью зависти послушный,
Безумной местию горя,
Не мог он видеть равнодушно
Венка болотного царя.
Итак, в слепом ожесточеньи
И с ерофеичем в руке,
Стоял печально в отдаленьи
В широком синем сюртуке.
И в этот миг, как фланколетом,
Импровизаторским куплетом
Был уничтожен, поражен...
О боже! Что услышал он?
«Погибла слава Долгиоса!
Он потерялся, оробел,
С кровавой пеною из носа
Стоит в углу и почернел».[1]
Он это слышит! .. Страшно блещет
Зеленый огнь в его очах...
Как вальдшнеп, бьется и трепещет
Большой стакан в его руках...
И наконец, от злобы воя,
Как дух низринутый, как бес,

---

[1] Экспромт, сказанный Долгиосу одним из членов стрелкового общества.

Из ненавистного покоя
Он с ерофеичем исчез...
Ликуй теперь, победоносец!
Хвала тебе, дубровный царь,
Ты, как великий ружьеносец,
Соорудил себе алтарь!
Пройдут века... Исчезнет слава
Наполеоновых побед,
Но ты, к бессмертью величаво
Ты проложил огромный след.
Умрут и лесть и вероломство,
Как ядовитый василиск,
Тебе ж правдивое потомство
Воздвигнет вечный обелиск...
Твоих соперников накажет,
Сорвет покров туманный с глаз
И временам грядущим скажет:
«Il fut Roi, mais... de la chasse...»[1]

СОВЕТ ПЕРНАТЫМ

О птицы Муромских лесов!
Он был, он есть, он будет вечно,
Не утучняйте же беспечно
Его роскошных пирогов!

1837

[1] Он был королем, но... <королем> охоты... (франц.). — *Ред.*

ПЕРЕВОДЫ

ОССИАН

МО́РНИ И ТЕНЬ КОРМАЛА

Мо́рни

Владыко щитов,
Мечей сокрушитель
И сильных громов
И бурь повелитель!
Война и пожар
В Арвене пылают,
Арвену Дунскар
И смерть угрожают.
Реки мне, о тень
Обители хладной!
Падет ли в сей день
Дунскар кровожадный?
Твой сын тебя ждет,
Надеждою полный...
И море ревет,
И пенятся волны;
Испуганный вран
Летит из стремнины;
Простерся туман
На лес и долины;
Эфир задрожал,
Спираются тучи...
Не ты ли, Кормал,
Несешься могучий?

Тень

Чей глас роковой
Тревожить дерзает
Мой хладный покой?

Мóрни

Твой сын вопрошает,
Царь молний, тебя!
Неистовый воин
Напал на меня —
Он казни достоин...

Тень

Ты просишь...

Мóрни

Меча!
Меча твоей длани,
От молний луча!
Как бурю во брани,
Узришь меня с ним;
Он страшно заблещет
На пагубу злым;
Сын гор затрепещет,
Сраженный падет —
И Мóрни воздвигнет
Трофеи побед...

Тень

Прими — да погибнет!..

<1825>

ОСКАР АЛЬВСКИЙ

(Поэма лорда Байрона)

I

Луна плывет на небесах;
 Сребрится берег Лоры;
В туманных диких красотах
 Вдали чернеют горы.
Умолкло всё... окрестность спит;
 Промчалось время боев:
В чертогах Альвы не гремит
 Оружие героев.

II

Как часто звездные лучи
 Из туч, в часы ночные,
Сребрили копья и мечи
 И панцыри стальные,
Когда, презревши тишину,
 Пылая духом мести,
Летел сын Альвы на войну —
 Искать трофеев чести!

III

Как часто в бездны этих скал,
 Веками освященных,
Воитель мощный увлекал
 Героев побежденных!

Быстрее сыпало тогда
Свой блеск светило ночи,
И муки смерти навсегда
Смежали храбрых очи.

IV

В последний раз на милый свет
Из тьмы они взирали,
В последний раз луне привет
Изобразить желали.
Они любили — им луна
Бывала утешеньем;
Они погибли — им она —
Отрадой и мученьем...

V

Исчезла слава прежних лет
И сильные владыки,
И замок Альвы, храм побед, —
Добыча повилики.
В забвеньи сладостных певцов
И воинов чертоги,
И бродят лани вкруг зубцов
И серны быстроноги.

VI

В тяжелых шлемах и щитах
Героев знаменитых,
В пыли висящих на стенах
И лаврами обвитых,
Гнездится дикая сова
И ветр пустынный свищет;
На поле битв растет трава
И вепрь свирепый рыщет...

VII

О древний Альва — мир тебе,
Ничтожности свидетель!
Со славой отдал долг судьбе
Последний твой владетель.
Погас его могучий род;
Нет ужаса народов,
И звук мечей не потрясет
Твоих железных сводов.

VIII

Когда зажгутся небеса,
Расстелются туманы,
И гром, и вихри, и гроза
Взбунтуют океаны, —
Какой-то голос роковой,
Как бури завыванье
Иль голос тени гробовой,
Твое колеблет зданье.

IX

Оскар, вот твой медяный щит,
Воюющий с грозами,
Носясь по воздуху, звучит
Над Альвскими стенами!
Вот твой колеблется шелом
На тени раздраженной,
Как черной нощию, крылом
Орлиным осененный.

X

Ходили чаши по рукам
В рождение Оскара;
Взвивался пламень к облакам
Веселого пожара. [1]

---

[1] Бритты имели обыкновение зажигать дубы в дни празднеств.

Владыка Альвы ликовал
В кругу своих героев,
И бард избранный воспевал
И гром и вихри боев.

XI

Ловец пернатою стрелой
Разил в стремнинах ланей,
И рог отрадный боевой
Сзывал питомцев браней.
Призывный рог пленял их слух,
И арфы золотые
Восторгом зажигали дух,
Как девы молодые.

XII

«О, будь, невинное дитя, —
Пророчил старый воин, —
Могуч, бестрепетен, как я,
Будь Ангуса достоин!
Да будут девы прославлять
Копье и меч Оскара;
Да будет злобный трепетать
Оскарова удара!»

XIII

Проходит год — и снова пир:
У Ангуса два сына;
И весел он при звуке лир,
И радостна дружина.
Копье ли учат их метать —
Их дикий вепрь трепещет;
Стрелу ли меткую пускать —
Никто верней не мечет.

XIV

Еще младенцы по летам —
Они в рядах героев:
По грозным, пагубным мечам
Их знают в вихре боев.
Кто первый грянул на врагов?
Чьих стран герои эти?
То цвет Морвеновых сынов,
То Ангусовы дети.

XV

Чернее вранова крыла,
С небрежной красотою
Вокруг Оскарова чела
Власы вились волною;
Их ветр вздымал на раменах
Угрюмого Аллана.
Оскар был месяц в облаках;
Аллан — как тень тумана.

XVI

Оскар, с бестрепетной душой,
Чуждался зла и лести;
Всегда волнуемый тоской,
Аллан был склонен к мести.
Оскар, как искренность, не знал
Притворствовать искусства;
Аллан в душе своей скрывал
Завистливые чувства.

XVII

С блестящей утренней звездой
В лазури небосклона
Равнялась гордой красотой
Царица Сутгантона.

И не один герой искал
Супругом быть прекрасной, —
И к деве милой запылал
Оскар любовью страстной.

XVIII

Кеннет и царственный венец
Приданым к сочетанью,
И в думе радостной отец
Внимал его желанью;
Ему приятен был союз
С коленом Гленнальвона:
Он мнил посредством брачных уз
Соединить два трона.

XIX

Я слышу рокоты рогов
И свадебные клики,
И сонмы старцев и певцов
Ликуют вкруг владыки;
Летают персты по струнам,
Пылает дуб столетний,
И ходит быстро по рукам
Стакан отцов заветный.

XX

В одеждах пышных и цветных
Герои собралися,
И в Альве песни дев младых
И цитры раздалися.
Кипит в сердцах восторг живой:
Все пьют веселья сладость —
И Мора, в ткани золотой,
Таит невольно радость.

XXI

Но где Оскар? Уж меркнет день;
Клубятся в небе тучи;
Покрыла лес и горы тень...
Приди, ловец могучий!
Луна лиет дрожащий свет
Из облака тумана;
Невеста ждет — и нет их, нет
Оскара и Аллана.

XXII

Пришел Аллан, с невестой сел,
И в думу погрузился.
И вот отец его узрел:
«Куда Оскар сокрылся?
Где были вы во тьме ночной?» —
«Гоняя лютых вепрей,
Давно расстался он со мной
В кустах дремучих дебрей».

XXIII

«Гроза ревет; быть может, он
Зашел далеко в горы:
Ему приятней зверя стон
Руки прелестной Моры». —
«Мой сын, любезный мой Оскар! —
Вскричал отец унылый. —
Где ты? где ты? Какой удар
И мне и Море милой!»

XXIV

«Скорей, о воины-друзья,
Обресть его теките,
Спокойте Мору и меня:
Оскара приведите!

Ступай, Аллан, — ищи его,
Пройди леса, долины...
Отдайте сына моего
Мне, верные дружины!»

XXV

В смятеньи все. — «Оскар, Оскар!» —
Взывают звероловы,
И грозно вторит им удар
В поднебесье громовый.
«Оскар!» — ответствуют леса,
«Оскар!» — грохочут волны,
И воют буря и гроза —
И все опять безмолвны.

XXVI

Денница гонит мрак ночной,
Свод неба прояснился.
Проходит день, прошел другой, —
Оскар не возвратился.
Приди, Оскар! — невеста ждет,
Ждут девы молодые;
И нет его — и Ангус рвет
Власы свои седые.

XXVII

«Оскар, предмет моей любви!
Оскар, мой светлый гений!
Ужели ты с лица земли
Нисшел в обитель теней?
О, где ты, сына моего
Убийца потаенный?
Открой его, открой его,
Властитель над вселенной!»

XXVIII

«Быть может, жертва злобы, он
Лежит без погребенья,
И труп героя обречен
Зверям на расхищенье;
Быть может, змей в его костях
Белеющих таится,
И на скале Оскаров прах
Луною серебрится».

XXIX

«Не с честью он, не в битве пал,
Но от руки поносной;
Сразил могучего кинжал —
Не меч победоносный.
Никто слезой не оросит
Оскаровой могилы
И славы холм не посетит
В час полночи унылый».

XXX

«Оскар, Оскар! Закрыл ли ты
Пленительные взоры?
Правдивы ль Ангуса мечты
И вышнему укоры?
Погиб ли ты, сын милый мой,
Души моей отрада?
Сдружися, смерть, сдружись со мной,
Небес благих награда!»

XXXI

Так старец, мучимый тоской,
Излил свое волненье;
И чужд душе его покой,
И чуждо утешенье;

Повсюду горестный влачит
Губительное бремя,
И редко дух его живит
Целительное время.

XXXII

«Оскар мой жив, — он льстит себя
Надеждою приятной,
И снова мнит: — несчастен я,
Погиб он невозвратно».
Как звезды яркие во мгле
То меркнут, то пылают,
Печаль с отрадой на челе
У Ангуса сияют.

XXXIII

Текут за днем другие дни
Чредою постоянной,
И кроют будущность они
Завесою туманной.
Плывет луна; проходит год;
«Оскар не возвратится», —
И реже старец слезы льет
И менее крушится.

XXXIV

Оскара нет — Аллан при нем:
Он дней его опора;
И тайным пламенным огнем
К нему пылает Мора.
Подобный брату красотой
И дев очарованье,
Привлек он Моры молодой
Летучее вниманье.

XXXV

«Оскара нет, Оскар убит,
И ждать его напрасно», —
Стыдливо дева говорит,
Сгорая негой страстной. —
Когда ж он жив, то, может быть,
Я — жертвою обмана;
Люблю его, клянусь любить
Прелестного Аллана».

XXXVI

«Аллан и Мора! год один, —
Им старец отвечает, —
Продлите год: погибший сын
Мне сердце сокрушает!
Чрез год и ваши и мои
Исполнятся желанья;
Я сам назначу день любви
И бракосочетанья...»

XXXVII

Проходит год. Ночная тень
Туманит лес и горы;
И вот настал желанный день
Для юноши и Моры.
Пышнее на небе блестит
Светило золотое;
Быстрей во взорах их горит
Веселие живое.

XXXVIII

Я слышу рокоты рогов
И свадебные клики,
И сонмы старцев и певцов
Ликуют вкруг владыки;

Летают персты по струнам,
    Пылает дуб столетний,
И ходит быстро по рукам
    Стакан отцов заветный.

XXXIX

В одеждах пышных и цветных
    Герои собралися,
И в Альве песни дев младых
    И цитры раздалися.
Забыта горесть прежних дней;
    Все пьют блаженства сладость,
И средь торжественных огней
    Таит невеста радость.

XL

Но кто сей муж? Невольный страх
    Черты его вселяют;
Вражда и месть в его очах,
    Как молнии, сверкают.
Незнаем он, не Альвы сын,
    Свирепый и угрюмый;
И сел от всех вдали один,
    Исполнен тяжкой думы.

XLI

Окрест рамен его обвит
    Плащ черный и широкий;
Перо багровое сенит
    Шелом его высокий.
Слова его, как гул вдали,
    Как гром перед грозою;
Едва касается земли
    Он легкою стопою.

XLII

Уж полночь. Гости за столом;
 Живее арфы звуки,
И кубок с дедовским вином
 Из рук летает в руки.
Желают счастья молодым,
 Поют во славу Моры;
Стремятся радостные к ним
 Приветствия и взоры.

XLIII

И вдруг, как бурная волна,
 Воспрянул неизвестный,
И воцарилась тишина
 И трепет повсеместный...
Умолк весёлый шум речей
 И свадебные клики,
И страх проник в сердца гостей,
 И Моры, и владыки.

XLIV

«Старик, — сказал он, — вкруг тебя,
 Как звезды вкруг тумана,
Пируют верные друзья
 И славят брак Аллана.
Я пил за здравие сего
 Счастливого супруга...
Пей ты за здравье моего
 Товарища и друга!»

XLV

«Скажи мне, старец, для чего
 Оскар не разделяет
Веселья брата своего?
 Зачем не поминает
Никто при вас о сем ловце?

Где Альвы украшенье?
Зачем не здесь он, при отце?
Реши мое сомненье!»

XLVI

«Оскар где? — Ангус отвечал,
И сердце в нем забилось,
И в золотой его бокал
Слеза из глаз скатилась. —
Давно, мой друг, Оскара нет;
Где он — никто не знает;
Лишь он один на склоне лет
Меня не утешает».

XLVII

«Лишь он один тебя забыл... —
С улыбкою ужасной
Свирепый воин возразил. —
А может быть, напрасно
Ты плачешь каждый день об нем,
И нам бы о герое
Беседовать как о живом
В пиру, при шумном рое».

XLVIII

«Наполни кубок свой вином,
И пусть он переходит
Из рук в другие за столом:
Оскара он приводит
На память любящим его.
Я всем провозглашаю:
За здравье друга моего
Оскара — выпиваю!..»

XLIX

«Я пью, — ответствует старик, —
За здравие Оскара!» —
И загремел всеобщий крик:

«За здравие Оскара!» —
«Оскар в душе моей живет, —
Сказал старик, — как прежде;
И если жив он, то придет, —
Я верю сей надежде».

L

«Придет иль нет, но что ж Аллан
Не пьет вина со мною
И держит полный свой стакан
Дрожащею рукою?
Зачем, скажи, Оскаров брат,
Зачем сие смущенье?
Иль ты не можешь и не рад
Исполнить предложенье?»

LI

«Какой тебя волнует страх?
Мы пили — не робели!»
И быстро розы на щеках
Аллана помертвели.
Течет с лица холодный пот,
На всех взор дикий мещет;
К устам подносит — и не пьет,
И в ужасе трепещет.

LII

«Не пьешь, Аллан! прекрасно, так!
Любви весьма нелестной
Ты показал нам явный знак! —
Воскликнул неизвестный. —
Я вижу: хочешь честь воздать
Геройскому ты праху,
Но на челе твоем печать
Не радости, а страху».

LIII

Аллан неверною рукой,
Пред воином грозящим,
Подносит кубок круговой
К устам своим дрожащим...
«Я пью, — сказал, — за моего
Любезного Оскара...»
И кубок пал из рук его
Как будто от удара!

LIV

«Я слышу голос: это он —
Братоубийца злобный!» —
Раздался вдруг протяжный стон
И вопль громоподобный.
«Убийца мой!» — отозвалось
По всем концам собранья,
И с страшным гулом потряслось
Стремительно всё зданье...

LV

Померк румяный свет огней,
Загрохотали громы,
И стал незрим в кругу гостей
Чудесный незнакомый;
И отвратительный фантом,
В молчании суровом,
Предстал, одеянный плащом,
Широким и багровым.

LVI

Из-под полы огромный меч,
Кинжал и рог блистают,
И перья черные до плеч
С шелома упадают;

Зияет рана на его
Груди окровавленной,
И страшны бледное чело
И взор окамененный.

LVII

С приветом хладным и немым
На старца он взирает
И, взор осклабив, перед ним
Колено преклоняет;
И грозно кажет на груди
Запекшуюся рану
Без чувств простертому среди
Друзей своих Аллану.

LVIII

Вновь громы в мрачных облаках
Над Альвой загремели;
Щиты и латы на стенах
Протяжно зазвенели,
И тень, в ужасной красоте,
Одеянная тучей,
Взвилась и скрылась в высоте,
Как метеор летучий.

LIX

Расстроен пир; собор гостей
Умолк, безмолвен в страхе!
Но кто — не Ангус ли? кто сей
Поверженный во прахе?
Нет, дни владыки спасены:
Он жить не перестанет;
Но дни Аллана сочтены:
Он более не встанет...

LX

Без погребенья брошен был
    Убийцей труп Оскара,
И ветр власы его носил
    В долине Глентонара.
Не в битве жизнь окончил он,
    Не мощною рукою,
Венчанный славой, поражен,
    Но братнею стрелою.

LXI

Как в летний зной увядший цвет,
    Он пал, войны питомец!
Ему и памятника нет!..
    Ужасный незнакомец,
Никем не узнанный, исчез;
    Другое привиденье,
Как было признано, — с небес
    Оскарово явленье.

LXII

Прошли твои златые дни,
    Невеста гроба, Мора!
Не узрят более они
    Им пагубного взора!
Живи, снедаема тоской,
    Печальна и уныла;
Взгляни сюда: сей холм крутой —
    Алланова могила.

LXIII

Какие барды воспоют
    На арфе громогласной
И поздним летам предадут
    Конец его ужасный?

Какой возвышенный певец
    Возвышенных деяний
Возложит риторский венец
    На урну злодеяний?

LXIV

Пади, венок поэта, в прах!
    Ты — не награда злобе:
Одно добро живет в веках,
    Порок — истлеет в гробе!
Напрасно жалости злодей
    У менестреля просит:
Проклятье брата и людей
    Мольбы его разносит.

<1826>

ПАНАР

ПЕСНЯ

Как смешон,
Неумен
Муж ревнивый,
Неучтивый!
Как хотеть
Завладеть
Лишь ему
Одному
(Без причины)
И рукой
И душой
Половины!
Хоть сердись,
Хоть бранись,
Коль захочется Амуру,
То жена,
Сатана,
Изомнет твою фризуру!
Будешь горестно рыдать,
Будешь лоб свой проклинать —
Но напрасно!
Не найдешь себе утех
И услышишь только смех
Повсечасно.
Станут дыбом волоса,
Коль споют тебе в глаза
Песенку такую,
Хитрую и злую:

Как смешон,
Неумен
Муж ревнивый,
Неучтивый!
Как хотеть
Завладеть
Лишь ему
Одному
(Без причины)
И рукой
И душой
Половины!

<1829>

ВОЛЬТЕР

ПРОЩАНИЕ С ЖИЗНЬЮ

(Посвящается Л. А. Якубовичу)

C'est que la mort n'est pas
ce que la foule en pense!

H⟨ugo⟩ [1]

Итак, прощайте! Скоро, скоро
Переселюсь я наконец
В страну такую, из которой
Не возвратился мой отец!
Не жду от вас ни сожаленья,
Не жду ни слез, мои друзья!
Враги мои! уверен я,
Вы также с чувством сожаленья
Во гроб уложите меня!
Удел весьма обыкновенный!..
Когда же в очередь свою
И вам придется непременно
Сойти в Харонову ладью,
Чтоб отыскать в реке забвенья
Свои несчастные творенья, —
То, верьте, милые, и вас
Проводят с смехом, в добрый час!
Когда сыграл на сцене мира
Пустую роль свою актер,
Тогда с народного кумира
Долой мишурная порфира,
И свист — безумцу приговор!..

---

[1] Смерть не то, за что принимает ее толпа! Г<юго> (франц.). — *Ред.*

Болезнью тяжкой изнуренных,
Я видел много разных лиц:
Седых ханжей, седых девиц,
Мужей и мудрых и почтенных.
Увы! греховного плода
Они вкушали неизбежно,
И отходили безмятежно
Никто не ведает куда!
Холодный зритель улыбался;
Лукавый родственник смеялся;
Сатира колким языком
О них минуты две судила,
Потом холодная могила
Навек бесчувственным песком
Их трупы грешные прикрыла!..

Скажите ж мне в последний раз,
Непостижимые созданья:
Куда из круга мирозданья,
Куда вы кроетесь от нас?
Кто этот мир без сожаленья
Покинуть может навсегда?
Не тот ли, кто без заблужденья,
Как неподвижная звезда
Среди воздушного волненья,
Привык умом своим владеть,
И, сын бессмертия и праха,
Без суеверия и страха
Умеет жить и умереть.

25 ноября 1835
Москва

ЮНОСТЬ

О други, сорвемте румяные розы
Весной ароматною жизни младой!
И время летит, и напрасные слезы,
Увы, не воротят минуты златой!
Как плаватель робкий, грозой устрашенный
И быстро носимый в пучине валов,
Готовится к смерти — и в думе смущенной
Завидует миру домашних богов;
И поздно желает беды неизбежной,
Терзаемый лютой тоской, миновать
И снова, не видя отрады надежной,
Безумец дерзает судьбу порицать;
Так точно, о други, и старец, согбенный
Под игом недугов и бременем лет,
Стремится, приятной мечтой окрыленный,
К весне своей жизни — и нет ее, нет!..
«Отдайте, отдайте мне юные годы
И младости краткой веселые дни!» —
Он во́пит — и тщетно; как вихри, как воды,
В туманном пространстве исчезли они,
И грозные боги не слышат моленья...
Он розы блаженства срывать не умел;
Беспечный, не мог изловить наслажденья,
И цвет на могиле — страдальца удел...
Сорвемте же, други, румяные розы
Весною цветущею жизни младой,
Ведь время летит, и напрасные слезы,
Увы, не воротят минуты златой!..

<1826>

МЕЧТА

Простерла ночь свои крыле
  На свод небес червленый;
Туманы вьются на земле...
  В сон легкий погруженный,
На камне диком я сижу
  В мечтаниях унылых
И в горькой думе привожу
  На память сердцу милых.
Вдруг из-за черно-сизых туч,
  Серебряной струею,
С луны отторгнувшийся луч
  Блеснул передо мною.
О милый луч, зачем рассек
  Ты горние туманы?
Иль исцелить мои притек
  Неисцелимы раны?
Или сокрытые судьбой
  Поведать тайны мира?
О луч божественный, открой,
  Открой, пришлец эфира:
Или к несчастливым влечет
  Тебя волшебна сила,
И снова к счастью расцветет
  Душа моя уныла?
Так! Я восторгом упоен
  И мыслию священной:
Не ты ли в образ облечен
  Души мне незабвенной?
Быть может, вьется надо мной
  Дух милый, в виде тени;
Быть может, ивы сей густой
  Он потрясает сени.
Ах, если это не мечта,
  В час полночи священный,
Носися вкруг меня всегда,
  О призрак драгоценный!
Хотя твоим полетом слух
  Мой робкий насладится,
И изнемогший, скорбный дух
  Внезапно оживится...

Но месяц посреди небес
Облекся пеленою.
Где милый луч мой? Он исчез —
И я один с мечтою!

1826 (?)

ЗЛОБНЫЙ ГЕНИЙ

Когда задумчивый, унылый
Сижу с тобой наедине
И, непонятной движим силой,
Лью слезы в сладкой тишине;
Когда во мрак густого бора
Тебя влеку я за собой;
Когда в восторгах разговора
В тебя вселяюсь я душой;
Когда одно твое дыханье
Пленяет мой ревнивый слух;
Когда любви очарованье
Волнует грудь мою и дух;
Когда главою на колена
Ко мне ты страстно припадешь
И кудри пышные гебена
С небрежной негой разовьешь,
И я задумчиво покою
Мой взор в огне твоих очей, —
Тогда невольною тоскою
Мрачится рай души моей.
Ты окропляешь в умиленьи
Слезой горючею меня;
Но и в сердечном упоеньи
В восторге чувств страдаю я.
«О мой любезный! ты ли муки
Мне неизвестные таишь?»
Вокруг меня обвивши руки,
Ты мне печально говоришь:
«Прошу за страсть мою награды!
Открой мне, милый, скорбь твою!
Бальзам любви, бальзам отрады
Тебе я в сердце излию!»

Не вопрошай меня напрасно,
Моя владычица, мой бог!
Люблю тебя сердечно, страстно —
Никто сильней любить не мог!
Люблю... но змий мне сердце гложет;
Везде ношу его с собой,
И в самом счастии тревожит
Меня какой-то гений злой.
Он, он мечтой непостижимой
Меня навек очаровал,
И мой покой ненарушимый
И нить блаженства разорвал.
«Пройдет любовь, исчезнет радость, —
Он мне язвительно твердит, —
Как запах роз, как ветер, младость
С ланит цветущих отлетит!..»

Август 1826

БОНАПАРТЕ

Есть дикая скала на лоне океана...
С крутых ее брегов, под ризою тумана
Приветствует тебя, задумчивый пловец,
Гробница мрачная, обмытая волнами,
Вблизи ее лежат обросшие цветами
Разбитый скипетр и венец...

Кто здесь? Нет имени!.. Спросите у вселенной!
То имя начертал булат окровавленный
От скифского шатра до нильских берегов —
На бронзе, на груди бойцов ожесточенных,
В народных племенах, в мильонах изумленных
Пред ним склонявшихся рабов.

Два имени векам переданы веками;
Но никогда ничье громовыми крылами
Не рассекало мир с подобной быстротой;
Нигде ничья нога сильнее не врезала
Следов в лицо земли — и грозную сковала
Судьба над дикою скалой...

Вот здесь его дитя шагами измеряет;
Враждебная пята гробницу попирает;
Громовое чело объято тишиной;
Над ним в вечерней мгле жужжит комар ничтожный,
И слышит тень его один лишь гул тревожный
Волны, летящей за волной.

И мир тебе, о прах великого героя,
Ты цел и невредим в обители покоя.
Глас лиры никогда гробов не возмущал;
Всегда таила смерть убежище для славы;
Ничто не оскорбит удел твой величавый:
Тебе потомство — трибунал.

Твой гроб и колыбель сокрыты в мгле тумана;
Но ты, как молния, возник из урагана,
И безыменный муж вселенную сразил.
Так точно славный Нил под Мемфисом глубокий,
В Мемноновых степях струит свои потоки
Еще без памяти, без сил.

Упали алтари, разрушилися троны;
Ты миру даровал победы и законы,
Ты славой наречен над вольностью царем —
И век, ужасный век, который местью грянул
На царства и богов, перед тобой отпрянул
На шаг, в безмолвьи роковом.

Ты грозного числа врагов не устрашался;
Ты с призраком, второй Израиль, состязался,
И призрак изнемог под тяжестью твоей;
Возвышенных имен могучий осквернитель,
Ты с слабостью играл, как демон-соблазнитель
Играет с чашей алтарей.

Так, если старый век, при факеле могильном,
Терзает, рвет себя в отчаяньи бессильном,
Издавши вольный клик, в заржавленных цепях —
То вдруг из-под земли герой неблагодарный
Встает, разит его — и ложь, как сон коварный,
Падет пред истиной во прах.

Свобода, слава, честь — мечты очарованья —
Гремели для тебя, как бранные воззванья,
Как отзыв роковой воинственной трубы,
И слух твой, языком невнятным пораженный,
Внимал лишь одному волнению вселенной
И воплю смерти и борьбы.

И чуждый прав людей, надменный, величавый,
У мира одного ты требовал — державы.
Ты шел... и пред тобой везде рождался путь,
И лавры на скалах пустынных зеленели;
Так меткая стрела летит до верной цели,
Хотя б сквозь дружескую грудь.

И никогда фиал минутного безумья
С чела не разгонял державного раздумья;
Ты пурпура искал не в чаще золотой;
Как воин на часах, угрюмый и бессонный
Ни вздоха, ни слезы, ни ласки благосклонной
Ты не дарил красе младой.

Войну, тревогу, стон, лучи зари багровой
На копьях и мечах любил твой дух суровый
И только одного товарища в боях
Лелеяла твоя десница громовая,
Когда, широкий хвост и гриву воздымая,
Он бил копытом сталь и прах.

Не равный никому гордыней равнодушной,
Ты пал без ропота, судьбе твоей послушный;
Ты мыслил... и презрел и зависть и любовь!
Как царственный орел, могучий сын эфира,
Один всевидящий ты взор имел для мира —
И этот взор был: смерть и кровь!

Внезапно овладеть победной колесницей,
Вселенную потрясть могучею десницей,
Попрать одной ногой трибунов и царей,
Сковать ярмо любви из зависти коварной,
Заставить трепетать народ неблагодарный
Освобожденный от цепей,

Быть века своего и мыслию и жизнью,
Кинжалы притупить, рассеять бунт в отчизне,
Разрушить и создать всемирные столпы,
Под заревом громов, надежды неизменной,
Оспорить у богов владычество вселенной —
О сон! .. О дивные судьбы! ..

Ты пал, однако, пал — на пиршестве великом,
И плащ властительный ты на утесе диком
Увидел наконец, растерзанный врагом, —
И рок, единый бог, в которого ты верил,
Из жалости сажень земли тебе отмерил
Между могилой и венцом.

О, если б я постиг глубокие мечтанья,
Ужасные плоды того воспоминанья,
Которое тебя покинуть не могло! ..
На доблестную грудь бездейственные руки
Ты складывал крестом, и тягостные муки
Мрачили грозное чело.

Как пастырь на брегу реки уединенной,
Завидя тень свою в волне одушевленной,
Следит ее вблизи и в недрах глубины, —
Так точно на скале, печальный и угрюмый,
Ты гордо вызывал торжественною думой
Дни величавой старины.

И, радуя твои внимательные взоры,
В роскошной красоте текли они как горы,
И слух твой утешал их ропот вековой,
И каждая волна, блестящую картину
Раскинув пред тобой, скрывалася в пучину,
И ты летел за ней душой.

Вот здесь ты на мосту, в огне, перед громами;
Там степи заметал враждебными чалмами;
Там стонет Иордан, узрев тебя в волнах;
Там горы подавил стопой неодолимой;
Там скипетр обменил твой меч непобедимый;
А здесь... но что за чудный страх?

Зачем ты отвратил испуганные очи?
Бледно твое чело! .. скажи, во мраке ночи
Что бурная волна к стопам твоим несет? ..
Не тяжкой ли войны печальные картины,
Не кровью ли врагов обмытые долины?
Но слава, слава всё сотрет.

Загладит всё она — всё, кроме преступленья;
Но перст ее, но перст... он кажет жертву мщенья —
Труп юноши в крови... и мутная волна
Несла его, несла и снова возвращалась,
И, будто судия, к убийце обращалась
С ужасной повестью она.

А он, как заклеймен печатью громовою,
Он быстро закрывал чело свое рукою;
Но кровь из-под руки прозрачно и светло
Являлась и текла струей неукротимой;
Багровое пятно, как царской диадимой,
Венчало бледное чело.

И вот, тиран, и вот за это вероломство
Восстанет на тебя правдивое потомство;
Кровавого пятна ничто не истребит!
Ты выше и славней соперника Помпея,
Но кто, скажи мне, кто и Мария-злодея
В тебе невольно не узрит?

И умер наконец ты смертию народной;
Уснул, как селянин на пажити бесплодной,
Без платы за труды, с притупленной косой.
Мечом вооружась, как будто для осады,
У вышнего просить суда или награды
Явился ты с твоей рукой.

В последние часы, болезнью изнуренный,
Один с своим умом пред тайной сокровенной,
Казалось, он искал чего-то в небесах;
Невнятно лепетал язык его суровый,
Хотел произнести неведомое слово, —
Но замер голос на устах.

Окончи — это бог, владыка тьмы и славы,
Царь жизни и смертей; он силу и державы
Вручает и назад торжественно берет.
Ответствуй — он один поймет непостижимых;
Он судит и казнит царей несправедливых;
Ему рабы дают отчет.

Но гроб его закрыт... он там уже... молчанье!
Пред богом на весах добро и злодеянье!..
Он там... с лица земли исчез великий муж...
О боже, кто постиг пути твоих велений?
Что значит человек? Увы, быть может, гений
Есть добродетель падших душ.

<1833>

ГЮГО

ЛУННЫЙ СВЕТ

Per amica silentia lunae.
Virgilius[1]

В водах полусонных играла луна.
Гарем освежило дыханье свободы;
На ясное небо, на светлые воды
Султанша в раздумье глядит из окна.
Внезапно гитара в руке замерла!
Как будто протяжный и жалобный ропот
Раздался над морем... Не конский ли топот,
Не шум ли глухой удалого весла?
Не птица ли ночи широким крылом
Рассекла зыбучей волны половину?
Не дух ли лукавый морскую пучину
Тревожит, бессонный, в покое ночном?
Кто нагло смеется над робостью жен?
Кто море волнует? .. Не демон лукавый,
Не тяжкие весла ладьи величавой,
Не птица ночная! .. Откуда же он,
Откуда протяжный и жалобный стон? ..
Вот грозный мешок! .. Голубая волна
В нем члены живые и топит и носит,
И будто пощады у варваров просит...
В водах полусонных играла луна.

<1833>

[1] Луна дружелюбно сияла. Виргилий (лат.). — *Ред.*

ГИМН НЕРОНА

Nescio quid molleatque facetum.
Horacius[1]

I

Друзья! Не мудрым угрожает
Тяжелой скуки длинный час!
Вам пир роскошный предлагает
Нерон и консул в третий раз.
Нерон, владыка полумира,
В руках которого гремит
Перун и греческая лира,
Животворящая гранит.

II

Услышьте голос мой призывный!
Нет, никогда и слух и взор
Не услаждали вы так дивно,
Паллас и милый Агенор!
Ни эти шумные обеды,
Где наш Сенека заседал
И чаши дружеской беседы
Вином фалернским наполнял.

III

Ни вечера, когда Аглая,
В галере легкой и цветной,
Пленяла нас полунагая
Своей волшебною красой!
Ни цирк воинственно мятежный,
Где сонмы гнусные рабов
Встречались с смертью неизбежной
Между когтями диких львов.

---

[1] Не знаю ничего более нежного и милого. Гораций (лат.). — *Ред.*

IV

Ко мне! Мы с верха этой башни
В огне увидим целый Рим!
Что зубы тигра! Пламень страшный,
Как самый ад, неодолим!
Я образую цирк широкой
Между семи священных гор,
Где озарится в тьме глубокой
Весь Рим, как светлый метеор!

V

Так — мира сильный обладатель
Досуг печальный усладит!
Так — землю он, как бог-каратель,
Перуном грозным поразит!
Но время! Гидра огневая
Шумит торжественным крылом,
И вот, хребет свой извивая,
Зарделась в сумраке ночном.

VI

Смотрите! Вот она не дремлет!
И блеск и дым ее бойцы!
И будто с ласкою объемлет
Она и стены и дворцы.
О, для чего мои лобзанья,
Как пламень серный, не горят;
Не могут в душу лить страданья;
Не пожирают, не мертвят?

VII

Внемлите голосу молений
И воплю жалкому детей!
Смотрите, бледные, как тени,
Они мелькают средь огней!

Колонны, двери золотые
Трещат, колеблются, падут
И в волны Тибра голубые
С рекою бронзовой текут.

VIII

И гибнут в лавах бесконечных
Порфир, и мрамор, и гранит —
И вас, о статуи предвечных,
Победный пламень не щадит!
Руководим моею волей,
Он всё до хижин обоймет;
И Аквилон в широком поле
Останки Рима разнесет.

IX

Прости, надменный Капитолий!
Нерон сказал — и совершит!
Вот арка Силлы! Грозной доли
Теперь она не избежит!
Пылают портики и храмы,
Весь Рим! — Властительный Зевес,
Ужели эти фимиамы
Не достигают до небес?

X

И что пророчества Сивиллы,
И где судьба семи долин?
Она сказала: «Вражьи силы
Тебя возвысят, исполин!
О Рим, удел твой — бесконечность!
Ты сын бессмертья и веков!»
— Друзья мои! Вся эта вечность
Продлится несколько часов!

XI

Прекрасны пламенные воды,
Тебя я понял, Герострат!

Повсюду вас, мои народы,
Они, как змеи, окружат!
Освободите от короны
Мое горящее чело!
Венок мой свежий, благовонный
Золой и пеплом занесло!

XII

Окровавленные одежды
Вином душистым обольем!
Одни безумные невежды
Облиты кровью за столом!
В высоких, сильных наслажденьях
Забудем злобную игру
И станем жить не в сожаленьях,
Но в упоеньи на пиру!

XIII

Я наказую Рим державный!
Я омрачу его звезду!
Он жертвы робкие бесславно
Приносит Зевсу и Христу!
Что ж алтарей не воздвигает
И мне, властителю рабов,
Когда вседневно умножает
Число своих полубогов!

XIV

Я уничтожу Рим — и смелый
Восстановлю его опять!
Но христиане!.. Копья, стрелы
Должны их всюду поражать!
На смерть их всех — на поруганья!
Они зажгли великий Рим!
Гей, раб мой? Где благоуханья?
Мне запах дыма нестерпим!

<1837>

ВОСПОМИНАНИЕ ДЕТСТВА

Cuncta supercilio.
Horacius[1]

Мне было восемь лет, когда Наполеон
Однажды пробегал народный Пантеон.
Чтоб видеть мужа битв, увенчанного славой,
От глаз моей родной укрылся я лукаво,
Как молодой птенец от материнских крыл.
Герой уже давно мой ум воспламенил:
Мне чудились его сраженья и победы.
Младенец, заводил я пылкие беседы
О подвигах мечей под заревом огня;
И мать моя, в толпе, страшилась за меня.
И между тем, когда властитель знаменитый
Явился, окружен блистательною свитой,
И дети робкие шептали матерям:
«Ужели это он, столь грозный королям?» —
Непостижимый страх, невольный и священный,
Внезапно оковал мой дух воспламененный.
Ни шум народных волн, рассыпанных за ним,
Подобно спутникам за солнцем золотым,
Ни шляпа ветхая, светлей короны славной,
Мелькавшая в толпах на голове державной,
Ни сонмы данников, читавших приговор
На иглах золотых его гремучих шпор,
Ни эти старые, седые гренадеры,
Колонны твердые его великой сферы,
Безмолвные с трудом, при кликах торжества,
Как будто пред лицом земного божества,
Ни этот пышный град коленопреклоненный,
Лишь думой о любви к отчизне оживленный,
Ни этот звучный хор — великий гимн побед:
«Спасем и сохраним Империю от бед!» —
Ни всё великое, печатью вдохновенья
Вонзенное в сердца, исполненные рвенья
К отчизне и к нему, — могло меня сразить,
Наполнить грудь мою каким-то исступленьем.
О нет, о нет, с другим, живейшим впечатленьем
Торжественного дня я вышел из толпы!

---

[1] Со всею серьезностью. Гораций (лат.). — *Ред.*

Я помню этот миг: муж славы и судьбы,
Скучая торжеством, как жертвой бесполезной,
Прошел суров и нем, как полубог железный!
И вечером, когда упал уже с отца
Воинственный доспех старинного бойца, —
Играя золотым, блестящим эполетом,
Я робко предложил вопрос ему об этом
Возвышенном челе, объятом тишиной;
Отец не отвечал, поникнув головой.
Но часто наша мысль волною разноцветной
Струится в памяти, и след ее заветный
В волнении страстей, в бездейственной тиши,
Врезается, как тень, во глубину души!
Однажды вечером, пред солнечным закатом,
Когда по небесам сияющая златом
Роскошно разлилась вечерняя заря,
Как чистый фимиам небесного царя,
Вдали от суеты столицы раскаленной,
Отец меня увлек на холм уединенный,
И там пленялись мы надзвездной красотой, —
Я снова был объят знакомою мечтой...
И с грустию в душе, как зеркало прозрачной,
Невинно повторил вопрос мой неудачный.
«Скажи, — я говорил, — скажи мне, отчего
Посланник божества — владыка, царь всего,
Герой Наполеон, унылый и печальный,
Мелькал среди толпы, как факел погребальный?»
Тогда, мое чело открытое обняв,
На дальний небосклон с улыбкой показав,
«Мой сын, — ответил он, — не думай, что немая
Холодная земля, как масса гробовая,
Бесплодна и мертва! О, верь! живет она,
Как воздух и огонь, как бурная волна!
Всё дышит бытием в груди ее могучей
И движется, как вихрь молниеносной тучи,
Когда она висит сурова и грозна!
Растений и плодов златые семена
И днем и по ночам, как змеи молодые,
Пронзают ей лицо и ребра вековые,
Вокруг ее сосцов вращаются, кипят
И миллионом уст их, жадные, сушат!
Внутри ее горит неугасимый пламень:

То образует он неоцененный камень,
То влагу обратит в пленительный кристалл,
То, в мраке растопив блистательный металл,
Порою разольет рекою многоцветной
Его над головой неодолимой Этны!..
И, мать великая бесчувственных сынов,
Для них она всегда под бременем трудов.
Под ризою ночей, как гении свободы,
Струятся из нее целительные воды,
И обнимает всё десницею своей
Она — и плющ, и кедр, и нивы, и людей!
Смотри же: всё на ней прекрасно и спокойно.
Не может ей вредить ни вихрь, ни пламень знойный.
Румяные плоды вокруг ее чела!
Всё тихо, — но меж тем, когда пучина зла
В груди ее таится и не плещет,
Быть может, тысяча рабов трепещет,
И нивы злачные без цвета и одежд
Предстанут пред лицо обманутых надежд!..
Так действует душа глубокая поэта,
Когда, холодная и мертвая для света,
Творит она свой мир, как мощный ураган.
Так воин в тишине обдумывает план.
Их грудь напоена зиждительною лавой,
Которая зажжет зарницей величавой
В определенный час пространный небосклон.
Но час еще далек! Таков Наполеон,
Одевший рамена державной багряницей,
Влекущий за своей победной колесницей
Народы и царей на поприще войны, —
Безмолвны перед ним великие страны!
И что же? Удручен таинственною думой,
Ты видел, он прошел безмолвный и угрюмый.
Быть может, о мой сын, давно его чело
Грядущие судьбы из мрака извлекло!
Быть может, мыслию пророческой томимый,
Полсвета подарил он Франции любимой
И зрит уже Берлин, и Вену, и Милан,
И Лондон, и Мадрид, и древний Ватикан,
Несущие к нему торжественные дани.
Закон и меч в его непобедимой длани!

Колеблется земля под тронами царей,
И между ними вдруг глава богатырей,
Закованный в броню, как призрак Оссиана,
Вселенной предстает с державой Карломана;
И между тем, когда в уме его растет
Великих подвигов грядущий период,
Несметные толпы бойцов неустрашимых
Рождаются, идут в рядах неодолимых.
Конскрипт, охотник — всё подъемлется, шумит,
Призывный барабан пред ставками гремит,
Железом, бронзою все площади покрыты,
На верфи исполин колеблется маститый,
Ядро покоится в убийственном жерле,
И флоты на морях, и войско на земле!
Его стихия — гром, военная тревога,
И, может быть, в душе земного полубога,
В таинственной душе, сокрытой от людей,
Создался новый мир из солнечных лучей».
В другие времена, увенчанного славой,
Как Цезаря, в стенах столицы величавой
Увидел я опять избранного судьбой!..
Пророчество отца уж не было мечтой:
Как прежде, перед ним курились фимиамы,
Но думы грозные и замысел упрямый
Виднелись на его возвышенном челе,
Как черные пары на зеркальном стекле:
За ним текли его когорты, легионы,
Сто золотых орлов, развитые знамена,
Огромные уста орудий боевых
Тянулись посреди широких мостовых,
Сурово преклонясь на тяжкие лафеты;
Но скоро дивный блеск таинственной кометы
Исчез и потонул в блистательной пыли.
Наполеон прошел... И между тем вдали
При имени его, стократно повторенном
И пушками в толпах народа разнесенном,
Гремел, не умолкал язык колоколов,
Сливаясь с тысячью приветных голосов,
И громко славила великая столица
В то время своего великого любимца!..

<1837>

НАПОЛЕОН

I

Когда земная твердь утробою кипящей
Алкает поглотить великие страны,
Когда разносит вихрь под солнцем яд блудящий,
И горы потрясут, как пламенник войны,
Седых своих вершин громады вековые,
И расстилает ураган,
Как безграничный океан,
Пески и тучи огневые, —
Тогда они — небес таинственный глагол!
И если, наконец, ужасные явленья
Не уничтожат вечных зол
И с мира не сорвут покрова заблужденья,
То вдруг чудесный муж, десница божества,
Изъятый от земли, одеянный громами,
Восстанет и блеснет над жалкими странами,
Как бич при звуках торжества!
Нередко сонмы их, отверженные вечным,
Гремели славою в народных племенах,
С анафемой текли в безумии беспечном
И падали опять с анафемой во прах!
Наперсники ума воинственных Немвродов,
В бездушные толпы окованных народов
Они вносили огнь и меч!
Бежали их лица надежда и отрада, —
И были на земле они как духи ада,
Грозя ее своим дыханием зажечь...

II

Недавно в мраке анархии
Отчизна доблестных мужей,
Сойдя от древней монархии
До безначальных мятежей,
Повергла в новые оковы
Цареубийственный раздор,
И деспот лагеря суровый
Изрек ей смелый приговор:

Так иногда в грозе ужасной
Долины топит океан
И извергает самовластно
На брег дымящийся вулкан!
Сначала — исполин могучий и народный,
Он рабство поразил у нильских пирамид,
И будто заклеймил шатер его походный
Владык уснувших прах холодный
Печатью мести и обид!
И возвратился он, как деспот своенравный,
И тщетно Франция, кляня удел бесславный,
Ждала счастливых дней! .. Суровый исполин,
Тяжелою пятой поправши фараонов,
Уже определил среди упавших тронов
Воздвигнуть для себя великий и один!
И между тем его багряная порфира
Была темна, как ночь, убийство озаря.
Венсенская тюрьма почтила в нем кумира,
А Лувр — свирепого царя!
И был он возведен на царство полубогом:
Монарх-священник осенил,
В молчаньи горестном и строгом,
Его во имя бога сил!
Владыка гордый полвселенной,
Он, может быть, таил в душе своей боязнь
И получить хотел венец окровавленный
Из рук, в которых спят прощение и казнь.

III

Когда он хочет, бог правдивый,
Предавший извергу людей,
Разбить сосуд свой нечестивый,
То уничтожится злодей!
Пусть нарицается надменно
Он обладателем вселенной
И спит в безумстве роковом,
Презрев законы провиденья, —
Он, полный грусти и смятенья,
Проснется в ужасе немом!

IV

Под знаменем побед, во мраке преступлений,
Отступник божества, влачил он за собой
Несметные толпы народных поколений,
Играя славой и судьбой!
Гремя до берегов Эвксина и Варяжских,
Он покорил сынов Пелажских
В виду Галгаковых сынов.
И после, возвратясь с бесстрашными в отчизну,
Он созывал владык, как будто бы на тризну,
С ним ликовать между гробов!
Он десять государств, как брачные одежды,
Во гневе разорвал десницею своей
И думал наконец сомкнуть покойно вежды
На троне всех земель — в собраньи королей.
Орлы его, паря над двадцатью странами,
Под северными небесами
Остановили свой полет!
Но там великий вождь не увенчался славой:
В стенах Кремля пожар кровавый
Поднялся, как зари блистательный восход.

V

Он пал царем — потом мятежный
И нераскаянный боец
Восстал опять, чтоб безнадежно
Упасть — навеки наконец!
Тогда, развеявши тиранство,
На бесконечное пространство
Его умчали от земли, —
И пленник, грозный и великий,
Был на утес заброшен дикий,
Как лавр, затоптанный в пыли!
Там он, оледенев, как лава огневая,
Забытый, изгнанный, во власти у врагов,
Узнал, как тяжела неволя роковая
Под страшным бременем оков.
Внимая торжеству престолов обновленных,
Как дивный метеор, в лучах воспламененных
Блистал он грозно на скале.

Он умер! — Робкий слух промчался по вселенной,
Затихнул и умолк, как пленник изнуренный
Путем великим на земле.
Так уничтожен блеск надменной диадимы.
На скипетр обменял он меч непобедимый,
На трон — воинственный шатер.
Вся жизнь его была — военный договор!
Железного бича руки своей кровавой
Он втайне трепетал, властитель величавый.
Солдат — он был неустрашим.
Исчерпав глубину души своей жестокой,
Он пробежал пути и славы и порока, —
Воскресло лишь одно несчастье перед ним.

14 и 15 июня 1837

ТРОЯНКИ

(Кантата)

Αλλ' ῳ των χαλκεγχεων Τρωων
Αλοχοι μελεαι,
Και κουραι και δυσνυμφοι,
Τυφεται Ιλιον. Αιαζωμεν.[1]

Эврипид

Троянки пленные на бреге Симоиса,
Страдальческой толпой,
Воспоминали дни беспечности святой,
Которые для них так быстро пронеслися.
С слезами на очах,
С челом, увядшим от печали,
Они на Илион разрушенный взирали,
И грусть их излилась в унылых голосах.

Хор

Отечество рабов, погибшая держава,
Исчез твой блеск, померкла слава!

Троянка

Царей соседственных надежда и оплот,
Как часто Илион был верной их защитой!
Бесчисленный народ,
Как волны, наполнял сей город знаменитый;

[1] Но, о несчастные супруги троянцев меднокопейных <т. е. вооруженных медными копьями. — *Ред.*>, несчастные девы, не вступившие в брак! Дымится Илион! Будем стенать! Эврипид (греч.). — *Ред.*

Полет губительный веков
Коснуться не дерзал его огромных башен;
Возникший из земли велением богов,
Верхами храмов и дворцов
Касался он, как полубог бесстрашен,
Обители твоих божественных творцов.

Другая

И пятьдесят сынов — честь Трои —
Сидели на пиру у доброго отца,
И старец изливал веселие в сердца,
И верил в счастие земное,
Не видя счастию конца!

Третья

Надежда царственного дома,
О Гектор, ты приемлешь щит;
Железом грудь твоя блестит;
Перо с тяжелого шелома
Чело высокое сенит.
Перед Гекубой устрашенной
На играх меч твой засверкал,
И лавр победный увенчал
Твою главу, непобежденный.
Прими, Гекуба, сей венок,
Надежды радостной залог,
Из рук любимого героя...
Увы! преступный сын и брат
Вновь обнажат его булат...
Но игры грозные тогда увидит Троя!

Юная дева

Так Поликсена молодым
Своим подругам говорила:
«Для нас весна под небом голубым
Благоухание разлила;
Для нас и игры и цветы...»
Увы, она не говорила:
«На этих берегах, где в блеске красоты
Цвету я жизнью безмятежной,
Оплачут жребий мой жестокий, неизбежный!»

Своим подругам никогда
Она не говорила:
«Я кровью орошу прекрасные места,
Где с вами игры я делила;
Среди несорванных цветов
Мне гроб безвременный готов!»

Хор

Отечество рабов, погибшая держава,
Исчез твой блеск, померкла слава!

Троянка

Что за корабль на белых парусах
Скользит по влаге моря сонной?
Его как будто на крылах
Амур лелеет благосклонный.

Другая

Он в наши стены мчит раздор,
Убийство, гибель и позор!
О бог морей, Нептун, отмсти прелюбодею!
Властительный Зевес,
Сошли твой ярый гром и молнию с небес
Навстречу хищнику, злодею!

Троянка

Но нет, труба звучит,
Железо засверкало;
Трещат скалы, упал разрушенный гранит;
Кровь льется, туча стрел и копий засвистала...
Там колесница, там боец
Встречают в тесноте свой жалостный конец.
И смерть запировала!
Ужасный вид:
Гроза в боях,
Ахилл летит —
И все во прах!
Пред ним боязнь,
За ним вослед
Позор и казнь,
И море бед...

Внезапный страх
У всех в очах;
На поле брани,
С мечом во длани,
Стоит один,
Против Зевеса
И Ахиллеса,
Приамов сын!

Другая

Несчастные троянки,
Омойте чистою водой
Его священные останки:
Пал Гектор, пал герой!..
Где амбра, аромат, мастики и куренья?
Пусть вкруг его костра гремит ваш жалкий стон,
Сливаясь с песнию живою сожаленья!..
Трояне, воины, уж нет его!.. Вот он!..
Кропите жаркими слезами
Прах сына славы и побед!..
Венчайте, девы, гроб великого цветами!..
Приам идет за сыном вслед...

Троянка

Ты спишь, о Илион, и с радостью жестокой
Ликует Пирр в твоих стенах;
Как тигры алчные в глуши далекой,
Повсюду нанося отчаянье и страх,
Свирепствуют сыны торжественной Эллады.

Другая

Разгонит ветр ночную тень;
Аргос осветит ясный день;
Но Трою — мрачный, без отрады!

Троянка

О ночь ужасная, коварный сон!
Зачем вокруг меня мелькают привиденья?
Откуда тусклый блеск и зверский вопль и стон?
Как бедственна минута пробужденья!..

Юная троянка
Мой брат Стенеллом умерщвлен.

Другая
Сестра моя в огне Аяксовых объятий.

Третья
К Улиссовым стопам отец мой низложен.

Троянка
О, день позора, день проклятий!..
Дворцы разграблены; святыня сожжена;
Младенцы, сестры, девы, жены
Под меч иль в плен без обороны...
Одна могила всем гражданам суждена!..

Другая
Простите вы, поля родные Трои,
Угасший род царей, погибшие герои,
Святой отчизны красота!
И Ида с пышными холмами
И солнце светлое с родными небесами,
Простите навсегда!..

Троянка
Лесов и мрака грозный житель,
Тигр алчный к той долине подойдет,
Где некогда травой святыня зарастет,
И осквернит его приход
Богов старинную обитель.

Другая
И пастырь Иды молчалив,
В развалинах священных,
Под тенью лавров и олив,
Троянской кровью обагренных,
Где стонет в сонме убиенных
Приама-мученика тень, —
Придет искать следов разрушенной державы,
Гробницы Гектора; а над могилой славы
Играет между тем блуждающий олень...

Третья

А мы, несчастные останки разрушенья!
    В слезах пройдет наш грустный век;
    Волной обиды и презренья
Нас море выбросит на чужеземный брег.

Четвертая

Узрим пиры врагов; с мучительным позором
    Мы уготовим им столы;
Укажут жены их с улыбкой и укором
На наши робкие, покорные главы;
И в чашах золотых, в которых наши деды
Пивали некогда за вольность и любовь,
Мы будем подносить для наглой их беседы
    Вино, разврат и нашу кровь...

Троянка

Воспойте Илион, отверженный богами,
Воспойте, скажут нам, ничтожные рабы!
    Пусть гимны Трои между нами
    Гремят велением судьбы!..
        О реки Илиона,
Мы пели радостно на ваших берегах,
    Когда вокруг отеческого трона
    Кипел с веселием в сердцах
    Народ, любимый небесами,
В войне и тишине прославленный землями!..
Но гимн троянский, гимн неволи роковой,
    Не огласит земли чужой!..

Другая

    Ты хочешь слышать песнь рабыни,
Бесчувственный народ? Отдай нам матерей,
Отдай отцов, детей и братьев, и мужей!
Исторгни Илион из жалостной пустыни,
В которую его умел ты превратить!
Но если власть твоя не в силах возвратить
    Величия сожженного Пергама,
        Когда не можешь оживить
        Сынов и воинов Приама, —
Послушай плач, а гимн неволи роковой
        Не огласит страны чужой!..

Хор

Простите ж вы, поля родные Трои,
Угасший род царей, погибшие герои,
Святой отчизны красота!
И Ида, с пышными холмами,
И солнце светлое с родными небесами,
Простите навсегда!..

<1833>

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ

Печальна и бледна, с высокого балкона,
В полночной тишине внимала Дездемона
Напеву дальнему беспечного гребца;
И взор ее искал гондолы невидимой,
С которой тихий звук гармонии любимой
К ней долетал, как звук пернатого певца.

И, грустная, она блуждающее око
Вперяла на ладью, мелькавшую далеко
В пространстве голубом, над сонною волной,
Лишь изредка во мгле звездою озаренной,
Как будто мрак души, внезапно освещенный
Надежды и любви отрадною мечтой.

Всё скрылось; но она была еще вниманье...
Неистовой любви безумное страданье
Приходит ей на мысль — на арфе золотой
Поет она судьбу Изоры несчастливой.
И ей ли не понять тоски красноречивой,
Когда она поет удел свой роковой?

Потом, напечатлев, с улыбкою прощальной,
Лобзанье на челе наперсницы печальной,
«Прости!» — сказала ей с слезою на очах,
И после, предана неизъяснимой муке,
Воздела к небесам младенческие руки
И пала пред лицом всевышнего во прах...

И, полная надежд и тайных ожиданий,
Отрады и тоски, молитвы и страданий,

На ложе мрачных дум и девственной мечты
Идет она, склонив задумчивые взоры, —
И долго, долго тень унылая Изоры
Вилася над главой уснувшей красоты.

И как спала она в беспечности небрежной!
Как ласково у ней по груди белоснежной
Рассыпалась волна гебеновых кудрей,
Как пышно и легко покровы золотые
Лелеяли и стан и формы молодые —
Создания любви и пламенных страстей!..

Порой мятежный сон тревожил Дездемону;
Она была в огне, и вздох, подобный стону,
Невольно вылетал из трепетной груди,
И яркая слеза, как юная зарница
В туманных небесах, скатившись по реснице,
Скользила и вилась вокруг ее руки.

Прорезав облаков полночных покрывало,
Казалося, луна с участием взирала
На бледные черты прекрасного лица,
Как бы на памятник безвременной могилы
Или на горлицу, уснувшую уныло
Под сетью роковой жестокого ловца...

О, как она была божественно прекрасна,
Руками белыми обвивши сладострастно
Лилейное чело, как греческий амфор!
Как трогательно всё в ней душу выражало,
Как всё вокруг нее невинностью дышало —
Кто мог бы произнесть ей грозный приговор?..

И вдруг глубокое молчанье
Прервал глухой, протяжный гул,
Как будто крылья размахнул
Орел на бранное призванье,
Иль раздалось издалека
Рыканье тигра роковое,
Который бил, от злобы воя,
Громады знойного песка.
То был Отелло, мрачный, дикой,

Вошедший медленно в покой, —
Бродящий с страшною улыбкой
Вокруг страдалицы младой.
Внезапный шум во мраке ночи
Тогда извлек ее от сна:
Подняв чело, открывши очи,
Невинной роскоши полна,
Еще с печатью сновидений
На отуманенном челе,
Полна тоски и наслаждений,
Как юный ангел на земле,
Она глядит и видит... Боже!
Свирепый, бледный, как злодей,
Бросая мутный взор на ложе,
Стоит Отелло перед ней,
Отелло с сталью обнаженной,
Отелло с молнией в очах,
Отелло с громом на устах:
«Погибель женщине презренной!..»
Бледна как смерть, она встает —
Бежит, но он рукой железной
Предупреждает бесполезный
И поздновременный уход:
Бессильную, полуживую,
Ожесточенный не щадит,
И будто жертву молодую
На ложе брачное влачит...
Напрасны слезы и моленья;
Напрасно, в власти у врага,
Стан, полный неги, наслажденья,
Вился и бился, как волна...
Не слышит он ее стенанья:
Он душит мощною рукой
Красу подлунного созданья,
И Дездемона — труп холодный и немой...

Так некогда, дыша прохладой ночи ясной
Под небом голубым Италии прекрасной,
Внимая шуму волн на берегу морском,
На ложе из цветов, под миртовою тенью
Раскинута и вся предавшись наслажденью,
Помпея юная была объята сном.

Под ризой вечера в груди ее высокой
Рождался иногда протяжный и глубокой
Стон девственной мечты и тихо замирал;
И влажный блеск садов ее ветвистых,
Как будто бы венком из волосов душистых,
Прелестное чело ей пышно осенял...

О, как была она в рассеяньи приятном
Похожа на звезду под небом благодатным,
Простертым с роскошью над ней!
С какою негой прихотливой
Ей навевал эфир ревнивый
На очи тишину и мирный сон детей!

О, как была она беспечна и покойна
Над влагою морской, раскинутою стройно
Под золотом луны, вокруг ее дворцов,
Над этой влагою прозрачно-голубою,
Одетою, как дух, огромной пеленою
Из мрака, туч и облаков.

О, пробудись, несчастное созданье!
Проснись — ужель не слышишь ты
Подземной бури завыванье
Под страшной ризой темноты?
Смотри, смотри — во мраке ночи
Зарделись огненные очи;
Повсюду гул, и гром, и звук...
Беги! То он, неодолимый,
Никем в боях непобедимый,
Волкан — твой пагубный супруг!..

Вот, озаряя свод надзвездный,
Встает огромный великан
Над истребительною бездной;
Взмахнул, как сильный ураган,
Своими жгучими крылами;
И, смертоносными руками
Готовясь землю обхватить,
С кровавым и отверстым зевом,
Пылая яростью и гневом,
Тебя идет он поглотить!..

Увы, несчастная Помпея!
Напрасно, бледная, в слезах,
Ты извиваешься в когтях
Убийцы — огненного змея!
Как дикий лев, рассвирепев,
Играет он своею жертвой,
И над бездушной, полумертвой
Возлег, открыв широкий зев...
Его огни, как море, плещут
Вокруг колонн, дворцов трепещут,
И, разливаясь, грозно мещут
Везде отчаянье и страх;
И пожирает ярый пламень
Кристалл, и золото, и камень,
Сверкая в молнийных лучах...
. . . .

Но я не на челе развалин драгоценных,
Но на челе существ, умом одушевленных,
В которых жили мысль, и чувства, и сердца,
Хочу узреть следы свирепого бойца!
На них он отразил с суровостью печальной
Чертами дивными свой ужас гениальный.
Что падший памятник? .. Разрушенный кумир!
Но мертвое чело: идея, целый мир! ..
О, дайте ж мне среди грозы и разрушенья
Искать у мертвецов восторга вдохновенья
И кистью слабою, но резкой и живой
Представить страшный вид картины роковой,
Унылой, горестной, великой, безотрадной,
Которой рамой был Везувий кровожадный! ..
Взгляните ж — в дымных облаках
Вот мать с младенцем на руках!
Едва залог любви прекрасной,
Невинный сын, увидел день,
Как разлилась над ним ужасно
И навсегда ночная тень.
Еще младенческие звуки
В его устах не раздались;
Ни разу трепетные руки
Вокруг родной не обвились;
Еще сама она впервые

Лобзала очи голубые
Кумира нежности своей
И, превратясь в очарованье,
Его невинное дыханье
Пила с блаженством матерей...
Как вдруг волкан, суровый, дикой,
Завыл над светлою четой —
И мир ее души, с любовью и улыбкой,
С слезою на очах и ласкою немой,
Угас, как метеор под ризою ночной!
А он, ручей блестящий и прозрачный,
Едва волну свою разлил,
Едва хотел нестись долиной злачной,
Как первый вопль его уже последним был!
Итак, унылый вид печали безнадежной,
Вид женщины с убитою душой,
Лишенной счастия быть матерью нежной,
Невинное дитя, сраженное судьбой
При гибели несчастного народа,
Волкан, обрушенный, как страшная невзгода
На робкую главу, весенний цвет земли,
Которого б крыле зефиры унесли, —
Всё это для меня ужаснее паденья
Высоких пирамид, богатых городов;
Их вызовет опять для будущих веков
Великий гений просвещенья!
Воскреснут мрамор и гранит —
Их оживит могучее воззванье,
Но кто ей, матери, кто первое лобзанье
Младенца сына возвратит?

Картина 1-я

Плиний и Везувий

Плиний

Блистай еще, греми, Везувий ненасытный,
Открой твоих богатств источник любопытный.

Везувий

Довольно для тебя разрушенных дворцов,
Бунтующих стихий и пламенных валов,
Разлитых, как моря, между развалин диких!

Плиний

О нет, во глубину пучин твоих великих
Проникнуть должен мой неустрашимый взор —
Увижу, оценю чудес твоих собор!..

Везувий

Несчастный, удались!

Плиний

Но кто ж тебя опишет?

Везувий

Смотри — мое жерло огнем и пеплом дышит!

Плиний

Я опишу их!

Везувий

Прочь, пока твое чело
Кипучей лавою еще не обожгло.

Плиний

Так в ней я омочу перо мое живое
И в книге разолью как пламя огневое!

Везувий

Смотри: мильон огней я сыплю на тебя!..

Плиний

Еще!.. Везувий, вновь!.. Зевес, как счастлив я!..
Заметил дым густой из пропасти безмерной;
Поднявшись, разливал над нею запах серный;
Как ель высокая, он в воздухе стоял...
Блеск молний...

Везувий

Так умри на ребрах этих скал!..

Плиний

Еще!.. Везувий, вновь! Диктуй! Я продолжаю!..

Везувий

Надменную главу я снова поражаю!

Плиний

Я ранен! Кровь бежит из ран моих ручьем...
Но пусть! Иду к тебе! .. Я снова над жерлом!
Везувий! .. Я беру окровавленный камень.

(пишет)

«Он черен и горяч... его извергнул пламень!»

Везувий

Ты дальше не пойдешь.

Плиний

Быть может.

Везувий

Я сказал:
Ты дальше не пойдешь! ..

Плиний

Но всё ли я узнал?

Когда в последний раз бесчувственные вежды
Сон вечный тихо осенит,
То облачают труп в печальные одежды,
И в гробе роковом ничто не говорит,
Кого скрывает он под черной пеленою;
Лишь руки, на груди лежащие крестом,
Колено, голова, рисуемые стройно
Прозрачно-тонким полотном,
Вещают в тишине, что гость его покойный
Был некогда с душой. Так точно и волкан,
Как будто удручен печалию немою,
Помпею облачил в дымящийся туман
И скрыл ее чело под лавой огневою...
И где величие погибшей красоты?
Всё пепел, уголь, прах — всё истребили боги!
Кой-где освободив главу от пыльной тоги,
Разбитый храм унылые мечты
Наводит и гласит, как голос эпопеи:
Здесь прах Помпеи! ..

<*1837*>

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящее издание охватывает почти все поэтическое наследие А. И. Полежаева, за исключением нескольких произведений (преимущественно ранних, а также переводных), не представляющих значительной художественной или историко-литературной ценности. (Перечень произведений, не вошедших в данный сборник, см. на стр. 453.)

Новыми в составе настоящего издания являются: послание «Федору Алексеевичу Кони», значительная часть перевода драматической поэмы Э. Легуве «Последний день Помпеи», а также полный текст стихотворения «Тарки», частично опубликованный в издании 1955 года.[1] Стихотворение «Гений», текст которого воспроизводился во всех предыдущих изданиях по прижизненным публикациям, в настоящем издании дается по автографу, обнаруженному Ю. М. Лотманом среди бумаг А. Ф. Мерзлякова. Стихотворение «Три нации», являющееся сокращенной переделкой «Четырех наций» и опубликованное в издании 1939 года как вариант последнего, в данном сборнике включено в основной текст.

Автографический сборник «Часы выздоровления», частично опубликованный Н. Ф. Бельчиковым в 1934 и 1939 годах, дал возможность восстановить ряд французских эпиграфов к стихотворениям Полежаева, опускавшихся во всех предыдущих собраниях его произведений.

В настоящем издании уточняются некоторые названия произведений Полежаева. Прежде всего принимаются как отражающие авторскую волю, закрепленную в автографах, уточнения, внесенные в издание 1955 года: отвергаются как произвольные заголовки: «Другу моему А. П. Лозовскому» («Бесценный друг счастливых дней. . .»), «К своему портрету» («Судьба меня в младенчестве убила. . .»), «Е. И. Бибиковой» («Зачем хотите вы лишить. . .»). Кроме того, в сборнике опущены заголовки: «Еще нечто» («Притеснил мою свободу. . .») и «Опять нечто» («Ай, ахти! ох, ура. . .»). Эти заголовки, имеющиеся в автографической тетради, подаренной

[1] Точные библиографические данные упоминаемых здесь изданий даются в перечне основных изданий стихотворений А. И. Полежаева на стр. 454—455.

поэтом А. П. Лозовскому и не предназначавшейся к печати, объясняются порядком расположения стихотворений, вписанных Полежаевым в эту тетрадь: вслед за стихотворением «Нечто о двух братьях князьях Львовых» шли стихотворения с заголовками, продолжающими предыдущее название — «Еще нечто» и «Опять нечто». Стихотворения «Кладбище Герменчугское» и «Духи зла» (публиковавшееся в последних изданиях произведений Полежаева под заголовком «Тайный голос») печатаются под названиями, данными им в первых публикациях. Уточнено также название одного из последних произведений поэта — «Карфаген» (Начало неоконченной поэмы «Марий»).

В настоящем издании более точно определено соотношение оригинальных и переводных произведений Полежаева. Так, стихотворение «Валтасар», обычно считавшееся подражанием Байрону, в действительности является оригинальным произведением, а «Прощание с жизнью» — переводом последнего стихотворения Вольтера «Adieu à la vie» (1778).

Установление канонического текста произведений Полежаева не всегда возможно прежде всего из-за отсутствия авторитетных источников: автографы поэта сохранились в небольшом количестве, а прижизненные публикации его произведений далеко не всегда отражали волю автора — цензура беспощадно уродовала полежаевские тексты, а те из них, которые без изменений пропускались ею, печатались обыкновенно без участия поэта, крайне небрежно, с большим количеством искажений и неточностей. Многие автографы Полежаева, которые одно время находились в распоряжении Н. Х. Кетчера и П. А. Ефремова, редактировавших собрания стихотворений поэта 1857 и 1889 годов, до сего времени не разысканы. Возможно, что они навсегда утрачены. Таким образом, в основу настоящего сборника не может быть положено ни одно из собраний стихотворений Полежаева. Источники текста произведений поэта устанавливаются отдельно для каждого из них, причем в особо сложных случаях допускается контаминация нескольких источников текста (поэма «Сашка», «Негодование», «Тарки» и др.), что в каждом отдельном случае мотивируется в примечаниях.

Сложнейшим вопросом творческой биографии Полежаева является научная хронологизация его творческого наследия, до сих пор понастоящему не разработанная. Впервые серьезное внимание этому вопросу уделил П. А. Ефремов в издании сочинений Полежаева 1889 года. Последующие редакторы в основном придерживались хронологии Ефремова и его системы датировки. Между тем последняя далеко не безупречна в научном отношении. Так, например, Ефремов часто не проводил различия между временем написания того или иного произведения и датой его первой прижизненной публикации. Отдельные стихотворения в издании 1889 года были датированы без всякой научной аргументации («Погребение», «Мечта» — перевод из Ламартина). Основываясь на времени появления данного стихотворения в печати, Ефремов нередко датировал время его написания годом-двумя раньше, даже при отсутствии достаточных оснований. В действительности, за исключением произведений, поддающихся датировке на основании отраженных в них фактов и точно датированных самим поэтом, время написания большей части его произведений пока неизвестно. В этих случаях под текстом стихотво-

рения указывается дата первой прижизненной публикации, заключаемая в угловые скобки. Даты в угловых скобках употребляются и в тех случаях, если имеются документальные сведения о том, что произведение написано не позже данного года. Некоторые произведения оказалось целесообразным датировать периодом в 2—3 и более лет. В ряде случаев введены предположительные даты, сопровождающиеся знаком: (?). Шесть стихотворений, не публиковавшихся при жизни Полежаева, помещены в конце первого отдела сборника (включающего оригинальные стихотворения) без дат, поскольку время их написания установить не удалось даже с той или иной степенью вероятности.

Стихи и отдельные слова, зашифрованные Полежаевым и восстановленные редактором в тексте сборника, заключены в угловые скобки. Все примечания Полежаева к своим произведениям помещены в тексте; редактору принадлежат лишь переводы иноязычных текстов.

В примечаниях вначале дается ссылка на первопечатный текст, затем следует указание на источник текста и в заключение — реальный комментарий. Если в примечании отсутствует специальное указание на источник текста, то это означает, что данное произведение печатается по тексту первой публикации. Все стихотворения и поэмы Полежаева, опубликованные до его смерти, включались в состав вышедших при его жизни поэтических сборников, поэтому в тексте примечаний отсутствуют сведения о вхождении данного произведения в тот или иной прижизненный сборник.

Текст стихотворения «Гений» подготовил к печати Ю. М. Лотман, им же написано и примечание к нему. Хронологическая канва (основные даты) жизни и творчества Полежаева составлена В. И. Безъязычным.

Условные сокращения, принятые в примечаниях

ВЕ — «Вестник Европы».
«Гал.» — «Галатея».
ГПБ — Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Рукописное отделение.
ИРЛИ — Институт русской литературы АН СССР. Рукописное отделение.
ЛН — «Литературное наследство».
МТ — «Московский телеграф».
«Нива» — «Нива». Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения.
РА — «Русский архив».
РПЛ — Русская потаенная литература XIX столетия. Отдел первый. Стихотворения. Часть первая. С предисловием Н. Огарева. Лондон, 1861.
РС — «Русская старина».
«Тел.» — «Телескоп».
ЧВ — Автографический сборник «Часы выздоровления».

Сокращенные обозначения книг и сборников Полежаева см. в перечне основных изданий стихотворений А. И. Полежаева на стр. 454—455.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Непостоянство (стр. 39). Впервые — ВЕ, 1825, № 23—24, стр. 181—182. Печатается по изд. 1832 г., стр. 148—149.

Воспоминание (стр. 40). Впервые — ВЕ, 1826, № 1, стр. 27—31. Печатается по изд. 1832 г., стр. 128—129, с восстановлением по первой публикации пропущенной половины 31-го стиха.

Любовь (стр. 41). Впервые — ВЕ, 1826, № 1, стр. 32—33. Положено на музыку композитором П. Сокальским.

Гений (стр. 42). Впервые — ВЕ, 1826, № 12, стр. 281—290. В настоящем издании текст стихотворения впервые печатается по рукописи (Всесоюзная Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, ф. 207, п. 24, ед. хр. 1). Рукопись представляет автограф Полежаева с нанесенными поверх него поправками А. Ф. Мерзлякова. Текст с редакторской правкой Мерзлякова впервые опубликован в кн.: А. Ф. Мерзляков. Стихотворения, ч. 1, М., 1867, стр. 202—204. Существует третий текст стихотворения, опубликованный в № 12 ВЕ за 1826 г. за подписью Полежаева. Автограф Полежаева, хранящийся в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина, следует датировать временем не позже начала сентября 1825 г. На это указывают стихи, посвященные образу «вельможи», который имеет «власть царя в руках», почти дословно повторяющие портрет Аракчеева, нарисованный К. Ф. Рылеевым в сатире «К временщику». Затем стихотворение было передано Мерзлякову, который снял опасные намеки, но сохранил общий свободолюбивый дух произведения. «Гений», как известно, был написан Полежаевым по заказу университетского начальства для торжественного университетского акта, ежегодно отмечавшегося 3 июля в связи с окончанием учебного года. Однако к весне 1826 г., когда стихотворение должно было читаться на торжественном акте, видимо по требованию того же университетского начальства, перепуганного арестами и судом над декабристами, стихотворение было переделано в официальном духе. Автором этой переделки едва ли мог быть Полежаев, который, видимо, не захотел авторизовать изуродованный текст, и во время публичного чтения 3 июля 1826 г. произнести его пришлось кандидату Гаврилову. Однако к 20-м числам положение поэта изменилось. № 12 ВЕ, судя по объявлениям в «Московских ведомостях», пошел в печать 24 июля, а 28 июля (т. е. в день ареста Полежаева) раздавался подписчикам. Видимо, за несколько дней до ареста Полежаева в университете уже было известно в какой-то мере о сделанном на него доносе. По крайней мере, университетское начальство было запрошено о поведении поэта и, вероятно, из ведомственных соображений, стремясь замять опасный скандал, поспешило дать Полежаеву положительную характеристику. В этих условиях очень важно было подчеркнуть верноподданные чувства поэта, павшего жертвой доноса, а сам Полежаев не мог уже противиться тому, чтобы под стихотворением была поставлена его подпись. В 1832 г. журнальный текст «Гения» вошел в сборник стихотворений Полежаева, изданного в том же году. Совершенно очевидно, что теперь, когда вся дальнейшая

судьба поэта зависела от Николая I, Полежаев уже не мог отказаться от этого текста. Ввиду отсутствия полной уверенности в правильном прочтении в рукописи «Гения» отдельных слов, зачеркнутых Мерзляковым, в настоящем издании эти слова заключены в угловые скобки.

Новая беда (стр. 45). Впервые — РС, 1871, № 10, стр. 444—445, под заглавием «Послание к поповнам» и без указания автора. Печатается по изд. 1933 г., стр. 140—142, где оно опубликовано по списку, сохранившемуся среди бумаг Ф. А. Кони (ИРЛИ) и имеющему подпись: «А. Полежаев». Стихотворение является откликом на переполох в среде духовенства, вызванный проектом указа Александра I, запрещавшего лицам духовного звания и членам их семей носить светские одежды. *Блонды* — род кружев. *Фотий* (1792—1838) — архимандрит, ханжа-реакционер. В последние годы жизни Александра I имел на него сильное влияние. *Флавий* Иосиф — римский историк I в. н. э., автор книги «Древности иудейские». *Шаликов* Петр Иванович, князь (1768—1852) — московский литератор-карамзинист и издатель журналов и газет. Слащавый тон и курьезность суждений Шаликова сделали из него всеобщую мишень для эпиграмм и анекдотов.

Ночь (стр. 47). Впервые — ВЕ, 1826, № 5, стр. 35—36.

Погребение (стр. 48). Впервые — изд. 1832 г., стр. 130—131.

Четыре нации (стр. 49). Впервые, без четвертой строфы, — «Библиографические записки», 1859, № 20, стр. 634—635. Со строфой, посвященной России, впервые опубликовано в РПЛ, стр. 179—181. В настоящем издании печатается по автографу ИРЛИ. Стихотворение имело распространение в списках как при жизни Полежаева, так и в более поздние времена, причем оно в ряде случаев приписывалось Пушкину. По преданию, сохранившемуся в роду Струйских, стихотворение было написано Полежаевым в 1827 г. во время кратковременного посещения родных мест и имело название «Четыре народа».

Вечерняя заря (стр. 51). Впервые — «Гал.», 1829, № 3, стр. 151—153, под названием «Вечер». Печатается по тексту изд. 1832 г., стр. 136—137, с учетом списка из доноса Шервуда (1829), хранящегося в Центральном Государственном Историческом архиве СССР (в Москве), а также списка из бумаг Ф. А. Кони — в ИРЛИ.

Цепи (стр. 53). Впервые — альм. «Северное сияние», М., 1831, стр. 178—179, под названием «Глас несчастливца». Печатается по изд. 1832 г., стр. 99—100, с учетом текста в доносе Шервуда.

Рок (стр. 54). Впервые — изд. 1832 г., стр. 97—98. Печатается по этому тексту с учетом текста в доносе Шервуда. *Али Янинский* (1741—1822) — албанский паша, наместник Албании, добившийся почти полной самостоятельности в управлении страной, бывшей под властью турецкого султана. Погиб от рук солдат султана Махмуда. В России были известны переводы двух книг об Али Паше Янин-

ском — Пукевиля (1822) и Дешаплета (1824). *Фирман* — указ турецкого султана. *Крез* — полулегендарный последний Лидийский царь (560—548 гг. до н. э.), известный своим баснословным богатством. *Кир* — основатель древнего Персидского царства, завоеватель Мидии, Лидии и Вавилона. Как сообщает Ксенофонт, Кир был настигнут смертью в постели, что имеет в виду Полежаев («И Кир, уснув на лоне нег»). *Народный гладиатор* — по-видимому, Спартак.

Валтасар (стр. 55). Впервые — «Гал.», 1829, № 6, стр. 331—332, одновременно — МТ, 1829, № 2, стр. 175—176. Печатается по тексту доноса Шервуда. В МТ стихотворению был дан заголовок «Видение Валтасара (подражание Байрону)». Этим была положена традиция считать его подражанием байроновскому стихотворению «Видение Валтасара» (из «Еврейских мелодий»). Изучение этого вопроса привело, однако, к выводу о полной самостоятельности стихотворения Полежаева. Это, в частности, находит подтверждение в публикации «Гал.» и в списке «Валтасара» в доносе Шервуда: в обоих случаях отсутствует указание на связь стихотворения с Байроном. Самостоятельность «Валтасара» подтверждается и тем, что Полежаев передает библейский рассказ иначе, нежели Байрон (например, различно у Байрона и Полежаева освещение деталей библейского первоисточника). Несомненно, что внимание к этому библейскому сюжету пробудили у Полежаева события августа—сентября 1826 г. в Москве, когда вся официальная «первопрестольная» готовилась к торжествам по случаю коронации Николая I. Именно в это время происходит «полежаевская история», резко усилившая в мировоззрении поэта антицаристские настроения, отразившиеся в ряде стихотворений.

Песнь пленного ирокезца (стр. 56). Впервые — «Гал.», 1829, № 10, стр. 209—210. Известна также в списке Шервуда и в списке из собрания О. М. Бодянского, находящегося в настоящее время в Гос. Историч. музее. Известны музыкальные обработки этого стихотворения Н. П. Огаревым, а также И. М. Рачинским и А. С. Размадзе. Аллегорическая форма этого произведения подсказана поэту сведениями об ирокезах и обычае мщения и истязания пленных у них, содержащимися в книге аббата де-Ла Порта («Всемирный путешественник, или Познание Старого и Нового света..., изданное господином аббатом де-Ла Порт, а на российский язык переведено с французского», т. 8. СПб., 1816, стр. 24—25). *Ирокезцы* (ирокезы) — группа индейских племен, населявших некогда северо-восточную часть Северной Америки. Во время ее колонизации европейцами ирокезы почти полностью были истреблены.

Ренегат (стр. 57). Впервые — «Гал.», 1829, № 49, стр. 158—159. Наиболее полный текст этого стихотворения опубликован в изд. 1933 г., стр. 176—179, который воспроизводится в настоящем издании. *Кальян* — восточный курительный прибор.

Живой мертвец (стр. 60). Впервые — «Гал.», 1830, № 4, стр. 226—227. Печатается по тексту изд. 1857 г., стр, 112—113.

Провидение (стр. 61). Впервые — «Тел.», 1831, № 12, стр. 463—465. Печатается по изд. 1832 г. В тетрадке стихотворений поэта, полученной Ф. А. Кони от неизвестного друга Полежаева, «Провидение» помещено после стихотворения «Живой мертвец» и снабжено припиской: «Написана через 6 часов после предыдущей пьесы» (изд. 1955 г., стр. 426). Стихотворение отражает намерение поэта предупредить ожидавшееся им прогнание сквозь строй самоубийством, а также подъем сил, связанный с получением известия о помиловании.

«Притеснил мою свободу...» (стр. 63). Впервые — «Звезда», 1930, № 1, стр. 218. Печатается по автографу ИРЛИ. Стихотворение является откликом Полежаева на столкновение с фельдфебелем, в результате которого поэт оказался в длительном заключении. В автографической тетрадке, подаренной поэтом А. П. Лозовскому, стихотворение находится в окружении произведений 1835 г., что давало повод датировать его этим годом (в изд. 1933 г.). Однако следует считать, что стихотворение было лишь записано в 1835 г., поэтому в настоящем издании принимается как единственно правильная дата, связывающая это стихотворение с известным в биографии Полежаева эпизодом 1828 г.

Александру Петровичу Лозовскому (стр. 64). Публиковалось в отрывках под разными заголовками начиная с 1829 г. в «Гал.» 1829—1830 гг. и других периодических изданиях, а также в ряде посмертных изданий Полежаева. Впервые в более полном виде, под заглавием «Арестант», — РПЛ, стр. 164—178, и в первом биографическом очерке о Полежаеве, принадлежащем Д. Д. Рябинину (РА, 1881, № 2, стр. 343—347, под названием «Спасские казармы»). Наиболее полная редакция этого произведения была впервые дана в изд. 1933 г., стр. 161—172. В настоящем издании воспроизводится текст последнего с некоторыми поправками по автографу ИРЛИ и ЧВ. Автограф ИРЛИ дает возможность восстановить зашифрованные Полежаевым слова, относящиеся к царю, вере, церкви и т. д. В 4-й главке дается предположительное чтение зашифрованных Полежаевым слов: «Вторый Н.... Ис...... У..... Б... и Н...» Эти строки расшифровываются как «Вторый Н<ерон> Ис<кариот> У<дав> Б<разильский> и Н<емврод>». Предлагаемое чтение воссоздает гневную диатрибу в адрес царя, что вполне соответствует общей идейной направленности произведения. *Лозовский Александр Петрович* (1809 — год смерти неизв.) — ближайший друг Полежаева, горячие дружеские чувства к которому постоянны в творчестве поэта с 1828 г. и буквально до последних дней Полежаева. Лозовский был издателем почти всех прижизненных изданий стихотворений Полежаева, его литературным душеприказчиком. См. о нем примечание к стихотворению «Красное яйцо», стр. 437, а также изд. 1933 г., стр. 88—89, и В. И. Безъязычный. А. И. Полежаев и царская цензура. «Научные труды Московского заочного полиграфического института», вып. 3. М., 1955. *Аббадона* — образ падшего ангела, печального духа в поэме Клопштока «Мессиада». *Уриил* — имя одного из серафимов в той же поэме. *Дриады* — богини, покровительницы деревьев в античной мифологии. *Броня сермяжная* — сол-

датская шинель. *Вал Земляной* — улица и прилегающий к ней район на линии Садового кольца в Москве, где находились Спасские казармы. Рядом со Спасскими казармами помещался учрежденный в начале XIX в. странноприимный дом графа Шереметьева, в котором содержались «немощные и бедные». *Лежит вербованный поэт* — имеется в виду вербовка, т. е. наем в солдаты. *Штыком рожденный для штыка* — по-видимому, Полежаев намекает на то, что его подлинный отец, Л. Н. Струйский, служил в гвардии и был уволен в отставку подпрапорщиком («штык-юнкером»). *Быть по сему* — обычная форма царской утверждающей резолюции (конфирмации). *Ленотр* Андрэ (1613—1700) — французский садовый архитектор, планировавший Версальский и другие парижские парки. *Молох* (или Ваал) — финикийское божество, которому приносились человеческие жертвы. Обреченные люди сжигались в огромном зеве каменного идола этого божества. *Покал* — бокал (от латинского poculum). *Немврод*, или Нимврод — библейское имя легендарного основателя Вавилонского и Ассирийского царств. Наделенный особой силой, он стал не только ловким охотником-звероловом, но употреблял свою силу и к порабощению людей. Ему приписывалось учреждение против воли бога царства, основанного на силе, и построение так называемой Вавилонской башни. *Система звезд, прыжок сверчка...* Здесь Полежаев обнаруживает знакомство с философскими сочинениями Поля Гольбаха. Главка, начинающаяся этим стихом, содержит в сжатой форме аргументы известного в философской литературе возражения атеиста Гольбаха теологу Мальбраншу о противоречии идеи божества понятию о свободе воли человека (см. Поль Гольбах. Система природы. М., 1940, стр. 292—293). *Струйский* — здесь Полежаев обращается не к отцу, а к своему дяде Александру Николаевичу, по отношению к которому он испытывал чувство раскаяния.

Кремлевский сад (стр. 75). Впервые — «Гал.», 1829, № 22, стр. 32—34. *Кремлевский* (или Александровский) *сад* в Москве — парк, созданный вдоль западной кремлевской стены на месте оврага, по которому протекала заключенная в 1819 г. в трубу речка Неглинка. Кремлевский сад был торжественно открыт в 1822 г., 30 августа (в день «тезоименитства» царя Александра I).

На смерть Темиры (стр. 76). Впервые — «Гал.», 1829, № 35, стр. 196—197.

Табак (стр. 77). Впервые — «Гал.», 1829, № 26, стр. 57—58. Стихи 9—12 в первой публикации отсутствуют. Печатается по изд. 1857 г., стр. 101, с восстановлением начала 9 стиха («тиран» вместо «злой рок») по указанию журнала «Северный вестник» (1889, № 2, стр. 88), что подтверждается списком этого стихотворения, находящимся среди бумаг Ф. А. Кони (изд. 1955 г., стр. 426).

Наденьке (стр. 78). Впервые — альм. «Эхо», М., 1830, стр. 146—148.

Казак (стр. 79). Впервые — «Нива», 1915, № 8, стр. 584. В этой публикации, воспроизводящей текст переписанного рукою

А. П. Лозовского сборника «Последние стихотворения А. Полежаева», в стихе 25 нарушен размер: «мрачного предчувствия нет». *Черные горы* — цепь гор в Чечне и Дагестане, тянущаяся вдоль главного Кавказского хребта. Название происходит от густых лесов, покрывающих горы и придающих им темный цвет. *Трам абазинский* — верховая лошадь абхазской (абазинской) породы конного завода Трама. *Кинжал Базалая, булат Атаги* — вооружение горцев, названное по имени оружейного мастера Базалая и селению Атага, известному выделкой шашек. *Труд Царяграда* — ружья и пистолеты турецкой работы, которыми были вооружены горцы и которые в качестве трофеев попадали к казакам.

Тарки (стр. 80). Впервые — изд. 1832 г., стр. 211—212, где был опубликован отрывок (32 начальных стиха), входивший во все последующие издания произведений Полежаева до изд. 1955 г., стр. 111—113, в котором опубликовано несколько десятков ранее неизвестных строк этого стихотворения, по списку, находящемуся среди бумаг М. И. Семевского (ИРЛИ). В настоящем издании публикуется традиционный текст, дополненный списком М. И. Семевского, сообщенным В. И. Безъязычным. Первые два пропуска имеются в списке, остальные пропуски означают стихи, неудобные для печати. Стихотворение отражает впечатления от посещения Полежаевым в мае 1831 г. *Тарков* — селения в прибрежном Дагестане, резиденции шамхала Тарковского. *Шамхал* — титул дагестанского феодального владетеля, верного русскому правительству. *Пето* — точное значение этого слова установить не удалось. Возможно, что это обозначение денег на одном из дагестанских языков или на кавказском жаргоне. *Тахта* (тохта) — стой, постой (на кумыкском языке). *Бер-абазы* — название серебряных монет.

Черная коса (стр. 83). Впервые — изд. 1832 г., стр. 196—197. Стихотворение написано вскоре после штурма селения Чир-Юрт (19 октября 1831 г.). Это стихотворение Полежаева было положено на музыку неизвестным композитором и как старая боевая песня кавказских солдат «Там, где свистящие картечи» бытовала долгое время на Кавказе (см. Сборник кавказских военных песен. Собрал М. П. Колотилин. Тифлис, 1907, № 9). Известно свидетельство мемуариста о популярности романса на слова Полежаева в 50-е годы. Тот же мемуарист сохранил предание о том, по какому поводу написано это стихотворение: «...когда взяли Чир-Юрт, Полежаев, ходя по грудам тел и развалинам, увидел убитую мусульманку, девушку несравненной красоты, у которой была перерублена коса, так что едва держалась на нескольких волосках. Полежаев, будучи поражен смертью несчастной красавицы, бережно перерезал волосы, отделил от головы косу и спрятал ее под мундир, у своего поэтического сердца, на память» (изд. 1955 г., стр. 428).

Песни

I. «Зачем задумчивых очей...» (стр. 84). Впервые — альм. «Венера, или Собрание стихотворений разных авторов», ч. 1. М., 1831, стр. 148—149. Печатается по изд. 1832 г., стр. 169—170. Положено на музыку для фортепьяно Ив. Рупини под названием

«Каватина». Известно также переложение на музыку этого стихотворения П. Сокальским.

II. «У меня ль, молодца...» (стр. 84). Впервые — изд. 1832 г., стр. 171—172. Положено на музыку П. Сокальским и В. Соколовым.

III. «Там, на небе высоко...» (стр. 85). Впервые — изд. 1832 г., стр. 173—175.

Песнь погибающего пловца (стр. 87). Впервые — изд. 1832 г., стр. 142—147, одновременно в «Сыне отечества и северном архиве», 1832, № 8, стр. 52. Печатается по изд. 1832 г., стр. 142—147.

Ожесточенный (стр. 90). Впервые — изд. 1832 г., стр. 83—84 и одновременно в «Тел.», 1832, № 11, стр. 307—308, под заглавием «Отверженный». Печатается по тексту изд. 1857 г., стр. 110—111, где опубликована более поздняя редакция. *Авель* — согласно библейской легенде, сын Адама и Евы, убитый своим старшим братом Каином.

Звезда (стр. 91). Впервые — изд. 1832 г., стр. 157—158.

Кольцо (стр. 92). Впервые — изд. 1832 г., стр. 159—162.

Букет (стр. 94). Впервые — изд. 1832 г., стр. 163—164.

К друзьям (стр. 94). Впервые — изд. 1832 г., стр. 132—135, где отсутствуют стихи 19—20. *Я пережил мои желанья* — из элегии Пушкина, 1821 г., начинающейся этой строкой (у Пушкина вместо «мои» — «свои» желанья). *Минувших дней очарованья* — стих из «Песни» Жуковского (1818). *Люблю я бешеную младость* — цитата из «Евгения Онегина» (глава I, строфа XXX).

Ночь на Кубани (стр. 97). Впервые — изд. 1932 г., стр. 189—195. Печатается по изд. 1857 г., стр. 138—142. *Новый Геллеспонт* — по-видимому, Полежаев называет так Кавказское побережье Черного моря, имея в виду усилившееся здесь в это время турецкое влияние (Геллеспонт — греческое название пролива Дарданеллы, отделяющего европейский материк от Турции). *Ах, кто мечте высокой верил* — отрывок, включающий 33 стиха и начинающийся этой строкой, относится к А. П. Лозовскому, о чем свидетельствует цитата в примечании Полежаева к стихотворению «Александру Петровичу Лозовскому» (см. стр. 65 настоящего издания).

Ожидание («Как долго ждет...») (стр. 101). Впервые — изд. 1832 г., стр. 165—166. Печатается по изд. 1857 г., стр. 100.

Море (стр. 102). Впервые — «Тел.», 1832, ч. 7, № 4, стр. 480—482. Печатается по изд. 1832 г., стр. 73—75.

Водопад (стр. 103). Впервые — изд. 1832 г., стр. 76—77.

Романсы

I. «Пышно льется светлый Терек...» (стр. 104). Впервые — изд. 1832 г., стр. 176—177. В изд. 1857 г., стр. 62—63, стихотворение имеет название «Терек».

II. «Утро жизнью благодатной...» (стр. 105). Впервые — изд. 1832 г., стр. 178—179.

III. «Одел станицу мрак глубокий...» (стр. 106). Впервые — изд. 1832 г., стр. 180—181.

Черкесский романс (стр. 106). Впервые — изд. 1832, стр. 182—185.

Мертвая голова (стр. 108). Впервые — изд. 1832 г., стр. 198—199.

Акташ-Аух (стр. 109). Впервые — изд. 1832 г., стр. 200—201. Стихотворение относится ко времени не ранее 8 января 1832 г., когда был взят *Акташ-Аух* — укрепленный дагестанский аул на реке Акташ, в нагорном Дагестане.

«Бесценный друг счастливых дней...» (стр. 110). Впервые — изд. 1832 г., стр. 5—8. Стихотворение обращено к А. П. Лозовскому.

Федору Алексеевичу Кони (стр. 111). Впервые — ЛН, № 60, кн. 1. М., 1956, стр. 596—597. Автограф этого стихотворения обнаружен и опубликован В. И. Безъязычным. *Кони Федор Алексеевич* (1809—1879) — известный русский драматург-водевилист, журналист и театральный критик. Около 1825 г. познакомился с Полежаевым, с которым встречался по возвращении поэта с Кавказа и имел многих общих друзей и знакомых из числа воспитанников Московского университета и университетского Благородного пансиона, московских интеллигентов-разночинцев из театральных и литературных кругов. (О Кони и его отношениях с Полежаевым см. указанную выше публикацию В. И. Безъязычного в ЛН, стр. 595—596.)

Демон вдохновения (стр. 112). Впервые — сб. «Кальян», стр. 67—72. *Ариман* — бог тьмы, олицетворение злого начала в древнеперсидской религии. *Оризмад* (Ормузд) — доброе божество в той же религии.

Цыганка (стр. 115). Впервые — сб. «Кальян», стр. 75—76. Называя цыганку «фараонкой» и употребляя связанное с ней выражение «африканские цветы», Полежаев разделяет популярное в то время неверное представление о происхождении цыган от древних египтян. Поэтическим откликом на это стихотворение явилось стихотворение Л. Мея «Полежаевской фараонке» (1859).

Раскаяние (стр. 116). Впервые — сб. «Кальян», стр. 79—82. Стихотворение отражает сложные психологические переживания поэта, которые, однако, не поддаются комментированию из-за отсутствия биографических данных.

Сон девушки (стр. 117). Впервые — сб. «Кальян», стр. 89—92.

Ахалук (стр. 119). Впервые — сб. «Кальян», стр. 95—96. *Ахалук* (архалук) — мужская верхняя одежда в виде короткого кафтана. *Атагинка* — жительница чеченского села Атага. *Уздени* — свободное военное сословие у кавказских горцев. *Могол* — Великий Могол, титул верховного властителя Ост-Индской империи, уничтоженный в 1806 г. *База* — чеченское женское имя.

Призвание (стр. 120). Впервые — сб. «Кальян», стр. 99—100. Было неоднократно положено на музыку: А. Виллуаном, Ц. Кюи, В. Соколовым.

Степь (стр. 120). Впервые — сб. «Кальян», стр. 103—106.

Песнь горского ополчения (стр. 121). Впервые — сб. «Кальян», стр. 115—116.

Окно (стр. 122). Впервые — сб. «Кальян», стр. 109—112.

Отрывок из послания к А. П. Л. . . . . .у (стр. 123). Впервые — сб. «Кальян», стр. 119—122. Стихотворение обращено к А. П. Лозовскому. *Молоканки* — казачки, уроженки Северного Кавказа, принадлежащие к молоканам — религиозной секте, являющейся одной из разновидностей раскола в русской церкви. *Чихирь* — молодое, еще не перебродившее виноградное вино. *Кази-Мулла*, или ших-Гази-хан-Мухаммед (1785—1832) — первый имам (т. е. духовный и светский глава мусульман) Чечни и Дагестана, проповедник мюридизма — религиозно-политического учения, сторонники которого боролись против России. *Бей-Булат* Таймазов — известный в 20-е годы XIX в. на Северном Кавказе чеченский абрек. Перешел на сторону русских и был убит кровниками.

Иван Великий (стр. 125). Впервые — сб. «Кальян», стр. 125—130. *Бриарей* — мифологический образ сторукого великана. По-видимому, основанием для сравнения с этим образом колокольни Ивана Великого в Московском Кремле послужило предание о якобы находящихся на колокольне ста колоколах. *Реншильд* и *Шлиппенбах* — плененные русскими войсками в Полтавском сражении (1709) шведские генералы. *Век Семирамиды* — так льстиво величали эпоху царствования Екатерины II, которую Вольтер и Дидро называли «Северной Семирамидой», по аналогии с легендарной ассирийской царицей. *Герои Альпов* и *Тавриды* — русские полководцы А. В. Суворов и Г. А. Потемкин. *Оссиан* — легендарный кельтский поэт III в. *Жозефина* — первая жена Наполеона, вдова казненного во время революции адвоката Богарнэ. *Сармат* — условное название поляков (ср. в думе Рылеева «Иван Сусанин»). «Новыми сарматами» называет Полежаев французов, вспоминая 1812 г. *Под небом Африки* — указание на ссылку Наполеона в 1815 г. на остров св. Елены (в южной части Атлантического океана, у западных берегов Африки).

Имениннику (стр. 127). Впервые — «Развлечение», 1860, № 17, стр. 197, где опубликованы первые десять строк под заголовком «А. П. Л.....у» (т. е. Лозовскому). Впервые в полном виде — РА, 1881, № 2, стр. 349—350. Печатается по ЧВ. Авторская пометка («На Лубянке, дом Лухманова. 30 августа 1833 г.») вызвала изыскания, которые позволили установить, что А. П. Лозовский в этом доме не проживал. Однако среди жильцов этого дома в 1833 г. был Александр Иванович Виллуан (1807—1876) — пианист и композитор, учитель братьев Рубинштейнов. Известно, что Виллуан писал музыку на слова некоторых стихотворений Полежаева. Сопоставление этих фактов позволяет предполагать возможность знакомства Полежаева с Виллуаном, в окружении семьи которого и могло быть написано это стихотворение.

В альбом Ф. А. Кони (стр. 129). Впервые — изд. 1889 г., стр. 198, где приведено факсимиле рукописи с припиской Л. Якубовича. О *Кони* см. примечание к стихотворению «Федору Алексеевичу Кони» (стр. 433). Стихотворение написано не позднее 1834 г., так как в начале этого года Полежаев покинул Москву, где он неоднократно встречался с Ф. А. Кони, а в 1835 г. Кони переехал в Петербург, и личное общение с ним Полежаева оборвалось.

Духи зла (стр. 129). Впервые — «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1838, № 17, стр. 326, под заглавием «Духи зла» и в том же году — в сб. «Арфа», стр. 57—59, под названием «Божий суд». Печатается по автографу, принадлежащему Е. И. Бибиковой-Раевской и подаренному ею в нынешнюю Государственную Публичную библиотеку им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Снимок с этого автографа с заглавием «Тайный голос» воспроизведен при изд. 1889 г. Копия, переписанная рукой Е. И. Бибиковой для отправления Бенкендорфу, находится при архивном деле «О монаршем воззрении на участь унтер-офицера Тарутинского егерского полка Полежаева» (см.: Судьба литературного наследства А. И. Полежаева. Обзор В. Баранова — ЛН, № 15. М., 1934, стр. 248—249).

«Судьба меня в младенчестве убила...» (стр. 130). Впервые — РА, 1882, № 6, стр. 241. Печатается по автографу, принадлежавшему Е. И. Бибиковой (ГПБ). Автограф без заглавия. Снимок с автографа воспроизведен в изд. 1889 г. Стихотворение представляет собой надпись Полежаева к своему портрету, нарисованному Е. И. Бибиковой в Ильинском в июле 1834 г. Подлинный портрет (акварель), с которого воспроизведена гравюра в изд. 1889 г. и который стал самым популярным портретом Полежаева, опубликован впервые в ЛН, № 60, кн. 1. М., 1956, стр. 599, и прилагается к настоящему изданию.

К Е..... И..... Б.....й (стр. 131). Впервые — сб. «Арфа», стр. 73—78. Печатается по изд. 1889 г., стр. 178—180, где стихотворение было опубликовано П. А. Ефремовым по автографу, принадлежавшему Е. И. Бибиковой, к которой и обращено это стихотворение.

«Зачем хотите вы лишить...» (стр. 132). Впервые — РА, 1882, № 6, стр. 240. В изд. 1889 г., стр. 182, стихотворение имеет заголовок, произвольно приданный ему П. А. Ефремовым. В автографе стихотворение имело продолжение, часть листа с которым отрезана (см. «Русский библиофил», 1913, вып. 3, стр. 94). Стихотворение написано по поводу попытки Бибиковых оказать Полежаеву денежную помощь. В денежных делах поэт был, по свидетельству современников, до крайности щепетилен.

Черные глаза (стр. 132). Впервые — «Московский наблюдатель», 1838, кн. 2, стр. 271—272, где опубликованы стихи 1—60. Полный текст — в сб. «Арфа», стр. 45—54. Посвящено Е. И. Бибиковой. Белинский прозорливо угадал в этом стихотворении «важный, хотя и безвременный факт в жизни поэта» и дал стихотворению оценку как «страшной похоронной песне самому себе». *Элоиза* — роман Ж.-Ж. Руссо «Новая Элоиза» (1761).

Негодование (стр. 136). Впервые — сб. «Арфа», стр. 63—65. Текст ввиду отсутствия точного автографа или авторитетного списка контаминируется по двум основным источникам: стихи 1—33 печатаются по тексту «Арфы», причем один сомнительный катрен 21—24 исправлен по изд. 1857 г.; стихи 33—34, отсутствующие в «Арфе», имеются в изд. 1857 г., стр. 115. С половины стиха 44 по 52 редактор изд. 1857 г. Н. Х. Кетчер заменил опасные стихи девятью рядами точек, которым, очевидно, соответствуют стихи 44—52 в изд. 1889 г., стр. 164—165. Однако в последнем не указано, из какого источника почерпнуты эти стихи. Стихотворение входило в состав задержанного и изуродованного цензурой сборника «Разбитая арфа», лишь в 1838 г. вышедшего под названием «Арфа». В рукописи «Последних стихотворений А. Полежаева», доставленной 28 января 1838 г. в Московский цензурный комитет А. П. Лозовским и к печати не разрешенной, стихотворение называется «Дума» и является укороченной, может быть более ранней редакцией.

На болезнь юной девы (стр. 138). Впервые — сб. «Арфа», стр. 69—72. Адресат стихотворения неизвестен.

Баю-баюшки-баю (стр. 140). Впервые — сб. «Арфа», стр. 81—84.

Автор и читатель (стр. 141). Впервые — сб. «Арфа», стр. 91—96. В первопечатном тексте отсутствует фамилия князя Шаликова (см. о нем примечание к стихотворению «Новая беда», стр. 427), имеющаяся в изд. 1889 г., стр. 518.

Разочарование (стр. 135). Впервые — сб. «Арфа», стр. 87—88.

Сарафанчик (стр. 144). Впервые — сб. «Арфа», стр. 99—100. Положено на музыку А. А. Алябьевым и А. Г. Гурилевым, переложено для фортепьяно и гитары.

Картина («О толстый муж, и поздно ты, и рано...») (стр. 145). Впервые — сб. «Арфа», стр. 108—109.

Глупой красавице (стр. 145). Впервые — сб. «Арфа», стр. 110.

Атеисту (стр. 146). Впервые — сб. «Арфа», стр. 111. Экспромт нельзя рассматривать как выступление Полежаева, направленное против атеизма: очевидно, это возражение против поверхностных аргументов неизвестного нам лица.

Напрасное подозрение (стр. 146). Впервые — сб. «Арфа», стр. 112.

На память о себе (стр. 146). Впервые — изд. 1889 г., стр. 199. А. Я. фон Ашеберг, сообщивший текст этого стихотворения П. А. Ефремову, указал на то, что Полежаев, находясь в г. Мещовске, Калужской губ., провел два дня в семье смотрителя духовного училища И. Ф. Чупрова, оставив на память о себе это стихотворение (изд. 1889 г., стр. 539).

Отчаяние (стр. 147). Впервые — «Тел.», 1836, № 12, стр. 457—458. Печатается по ЧВ, откуда взят и эпиграф. Стихотворение положено на музыку В. И. Главачем («О, дайте мне кинжал и яд...»).

Русские песни

I. «Разлюби меня, покинь меня...» (стр. 147). Впервые — «Тел.», 1836, № 12, стр. 51—52. Печатается по ЧВ. В год смерти Полежаева (1838) это стихотворение было положено на музыку А. Е. Варламовым и издано литографией А. С. Ястребилова (сообщено В. И. Безъязычным).

II. «Долго ль будет вам без умолку идти...» (стр. 148). Впервые — «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1838, № 23, стр. 155—156. Печатается по ЧВ.

Красное яйцо (стр. 149). Впервые — «Развлечение», 1860, № 14, стр. 157—158. По недосмотру редакторов не вошло в состав изданий 1888, 1889, 1892 и 1933 гг. Введено в состав издания сочинений Полежаева Н. Ф. Бельчиковым (изд. 1939 г., стр. 299—301). В первой публикации стихотворение снабжено следующим примечанием: «Редактор получил это стихотворение при следующем письме:

Милостивый государь!

Пересматривая бумаги, оставшиеся с 1838 г. после смерти Александра Ивановича Полежаева, я нашел несколько собственноручных его стихотворений, не бывших еще в печати и совершенно неизвестных. Не желая, чтобы они затерялись совершенно для настоящих и будущих издателей стихотворений Полежаева, честь имею препроводить пока одно из них, написанное в 1836 году в апреле месяце, в самую заутреню. Если вы его радушно примете, то я с особенным удовольствием буду присылать и следующие.

А. П. Л<озовски>й».

После этого в журнале появился ряд стихотворений, присланных Лозовским («Имениннику», «Султан. Отрывок», отрывок из послания 1828 г. «Александру Петровичу Лозовскому»). Название стихотворения связано с христианским обычаем дарить красные (крашеные) яйца. Кроме того, существовал старый русский обычай дарить арестантам на пасху красные яйца. Стихотворение содержит воспоминания поэта о трагических днях заключения в каземате Спасских казарм в 1828 г., где Полежаев познакомился с Лозовским. Можно предполагать, что, служа в штате Московского комитета общественного призрения, именно Лозовский принес судебное решение, освободившее поэта от прогнания сквозь строй, равного смертной казни. О Лозовском см. выше (стр. 429).

Три нации (стр. 151). Впервые — ЛН, № 15. М., 1934, стр. 64. Печатается по ЧВ.

Он и она (стр. 152). Впервые — «Нива», 1914, № 12, стр. 639—640. Печатается по ЧВ.

Удивительное приключение одного стихотворца (стр. 153). Впервые — сб. «Часы выздоровления», стр. 31 — 33. Печатается по тексту ЧВ.

Когда-то (стр. 154). Впервые — сб. «Часы выздоровления», стр. 29—30, где были опубликованы три строфы. Последняя строфа была опубликована впервые в «Ниве», 1914, № 12, стр. 641—642. Печатается по ЧВ.

К М...е А...е Я...й (стр. 154). Впервые — сб. «Часы выздоровления», стр. 39. Печатается по ЧВ. В изд. 1939 г. название этого послания раскрыто как «Марье Александровне Языковой», о которой сообщается, что она была сестрой П. А. Языкова, инспектора классов Строительного училища в Петербурге (до 1843 г.) и департамента железных дорог, вышла замуж за некоего Лихотникова; с ней Полежаев встретился в Москве в 1835 г. (изд. 1939 г., стр. 444).

Картина («Как ты божественно-прекрасна...») (стр. 155). Впервые — сб. «Часы выздоровления», стр. 41—43. Печатается по ЧВ.

Ожидание («Напрасно маменька при мне...») (стр. 156). Впервые — «Нива», 1914, № 12, стр. 639—640. Печатается по ЧВ.

Тюрьма (стр. 157). Впервые — «Отечественные записки», 1840, № 2, стр. 155—156, под заглавием «Узник». Печатается по ЧВ.

Осужденный (стр. 158). Впервые — изд. 1857 г., стр. 59—61. В изд. 1939 г., стр. 101—103, опубликовано по ЧВ; по этому же источнику текст печатается и в настоящем издании. *Дантон* Жорж Жак (1759—1794) — известный деятель Великой Французской революции XVIII в., пользовавшийся большой популярностью. С обострением классовых противоречий стал на позиции примиренчества, что привело его в лагерь контрреволюции. Гильотинирован 5 апреля

1794 г. *Грекур* Жан Батист (1683—1743) — французский аббат и писатель, автор антицерковных и эротических сказок. *Анахарсис Клоц*, т. е. Клоотс Жан Батист (1755—1794) — деятель Великой Французской революции XVIII в., отличавшийся крайним атеизмом в своем мировоззрении. Называл себя «личным врагом бога». Входил в кружок Гольбаха. Казнен на гильотине.

Из VIII главы Иоанна (стр. 161). Впервые — «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1838, № 20, стр. 384—385, где стихотворение имеет заглавие «Грешница». Печатается по ЧВ. Автограф восстанавливает правильную строфику стихотворения, связанную с соответствующими стихами Евангелия от Иоанна.

К набеленной красавице (стр. 162). Впервые — сб. «Часы выздоровления», стр. 45—48, печатается по ЧВ.

Глаза (стр. 163). Впервые — сб. «Часы выздоровления», стр. 49—51. Печатается по ЧВ.

Грусть (стр. 164). Впервые — сб. «Арфа», стр. 103—104. Одновременно — в «Московском наблюдателе», 1838, кн. 2, стр. 202—203. Находится в составе рукописи «Последние стихотворения Полежаева» без разночтений против текста «Арфы». Положено на музыку А. Е. Варламовым.

Белая ночь (стр. 165). Впервые — сб. «Часы выздоровления», стр. 26—28. Более полный текст — «Нива», 1914, № 12, стр. 641. Печатается по последнему тексту с исправлениями, сделанными по ЧВ. *Бессонные дозоры* — ночные караулы солдат.

Эндимион (стр. 167). Впервые — сб. «Часы выздоровления», стр. 23—25. Печатается по ЧВ, откуда взят эпиграф из Гюго и внесены некоторые уточнения. *Эндимион* — в античной мифологии прекрасный юноша, пастух, сын Зевса, пожелавший погрузиться в вечный сон ради сохранения своей красоты.

Русский неполный перевод китайской рукописи (стр. 168). Впервые — «Нива», 1915, № 8, стр. 587—590. Печатается по этому тексту. Стихотворение датировалось в предыдущих изданиях 1835 или 1836 гг. Здесь предпочтена дата 1837 г. как более вероятная, — несомненным указанием на эту дату является дата «1737 г.» в заглавии стихотворения. Полежаев использует в этом стихотворении устойчивую традицию — маскировку действия под восточный колорит (Китай — излюбленное место иносказаний в сатирической литературе того времени).

Венок на гроб Пушкина (стр. 172). Впервые — сб. «Часы выздоровления», стр. 7—22, где текст стихотворения был сильно искажен цензурой. В более полном виде — РС, 1916, № 7, стр. 51—58. Н. Ф. Бельчиковым опубликованы по автографу недостающие в предыдущих публикациях части этого стихотворения и французский эпиграф к нему (ЛН, № 15. М., 1934, стр. 62; ср. изд. 1939 г., стр. 306—313). Печатается по ЧВ, открывающемуся этим

откликом Полежаева на смерть Пушкина. Стихотворение завершается катреном «Утешение», принадлежность которого Полежаеву в течение долгого времени считалась сомнительной. Возможно, Полежаев оказался в числе лиц, поверивших в легенду о «милости» царя по отношению к Пушкину, легенду, которая после смерти поэта усиленно распространялась представителями правительственных кругов. Вероятнее, однако, что «Утешение» — подачка цензуре, рассчитанная на то, чтобы облегчить выход в свет сборника «Часы выздоровления», который цензура признала незаслуживающим одобрения к печати «по господствующему в нем духу и направлению». *Неведомый поэт, но юный, славы жадный* — М. Ю. Лермонтов, стихотворение которого «Смерть поэта» получило большое распространение и с одним из списков которого, как следует полагать, был знаком Полежаев (см. В. Баранов. Отклик А. И. Полежаева на стихотворение Лермонтова «Смерть поэта». — ЛН, № 58. М., 1952, стр. 485—487).

<Отрывок из письма к А. П. Лозовскому> (стр. 179). Впервые — в изд. 1857 г., стр. 159—161. Внесены исправления в стихи 4, 27—30 на основании сообщения Н. Лернера (см. изд. 1933 г., стр. 290—291). В изд. 1857 г. стихотворение имеет примечание: «Пьеса эта написана за несколько дней до смерти» (стр. 159). А. П. Лозовским указана более точная дата — «за месяц до смерти», на основании чего стихотворение датируется декабрем 1837 г.

Гальванизм, или Послание к Зевесу (стр. 180). Впервые — «Звезда», 1933, № 7, стр. 165. Вошло в изд. 1939 г., стр. 329—330, как «недатированное». Печатается по ЧВ. Как видно из текста «замечания» Полежаева к этому стихотворению, оно было им написано после лечения электричеством у «известного и опытного медика». По всей вероятности, Полежаев лечился в Москве, так как трудно допустить, чтобы «известный и опытный медик», применявший в своей практике совершенно новый и сложный по тем временам метод лечения, находился где-нибудь в провинции. Между тем в 30-е годы Полежаев дважды проживал в Москве: первый раз после возвращения из кавказских походов в 1833 г., второй — в 1836—1838 гг. Однако в какой именно период московской жизни Полежаева протекало его лечение, установить пока не удалось. *Гальвани* Луиджи (1737—1798) — итальянский врач и ученый, которому принадлежит важная роль в развитии учения об электричестве и о применении его в медицине. Проделывая опыты над лягушками, Гальвани установил, что их препарированные мышцы реагируют на действие разряда электрической машины. *Ганимед* — в античной мифологии прекрасный юноша, унесенный на небо Зевсом, его виночерпий.

«Ай, ахти! ох, ура...» (стр. 182). Впервые — «Красная газета», 1925, № 315, стр. 5. Первая научная публикация по автографу ИРЛИ — «Атеней. Историко-литературный сборник», кн. 3. Л., 1936, стр. 12. Вошло в изд. 1933 г., стр. 260—262. Печатается по этому тексту. В настоящем издании остается нерасшифрованным стих 43, который в изд. 1939 г., стр. 280, прочитан: «Так у<мри же теперь>». Это чтение, ввиду его произвольности, не принимается. Стих 41, как содержащий неудобные для печати выражения, опущен.

Стихотворение представляет собою обращение к царю от имени солдат — участников событий 14 декабря 1825 г. на стороне правительства, которые силою оружия, направленного на восставших, утвердили власть Николая I. Известно, что в своем манифесте, выпущенном в январе 1826 г., а также в устных уверениях царь давал обещание не преследовать солдат — участников восстания, но не исполнил этого обещания. Полежаев мог услышать подробности о событиях на Сенатской площади от солдат, которые примкнули к восставшим и после разгрома восстания были направлены на Кавказ (к 1827 г. на Кавказе было около 3000 солдат из мятежных полков). *Большая кутерьма* — события 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади в Петербурге: отказ от «переприсяги» Николаю I революционных войск и их разгром оставшейся верной правительству артиллерией. *От стальных тесаков* — имеется в виду наказание солдат тесаками (т. е. холодным оружием с широким коротким обоюдоострым лезвием), приговоренного били плашмя обнаженными тесаками.

Оправдание мужа (стр. 183). Впервые — в изд. 1933 г., стр. 234. Автограф — в отделе рукописей Государственного Исторического музея (в Москве).

Ответ на вопрос Пушкина (стр. 183). Впервые — изд. 1933 г., стр. 234. Автограф — там же, где и рукопись предыдущего стихотворения. Это двустишие отражает толки о Пушкине и его камер-юнкерстве в близких Полежаеву кругах московской разночинно-демократической интеллигенции. Ответ следует понимать не как буквальный ответ Полежаева Пушкину, а как отклик на один из вопросов, поставленных в стихах Пушкина, вроде: «Увижу ль я, друзья, народ неугнетенный». При этом необходимо иметь в виду, что Полежаеву и московским разночинцам такие факты, как камер-юнкерство Пушкина и его близость двору, были известны только с их внешней стороны, глубокая внутренняя трагедия поэта, сопутствовавшая этим фактам, не всегда была известна даже близким друзьям Пушкина.

К моему гению (стр. 183). Впервые — «Гал.», 1839, № 3, стр. 201—202. Печатается по изд. 1857 г., где имеется отсутствующая в первой публикации строка.

Тоска (стр. 184). Впервые — изд. 1857 г., стр. 106—107. Последние две строки неизвестны.

Султан (стр. 185). Впервые — «Развлечение», 1860, № 17, где опубликованы первые двадцать строк. Более полный текст опубликован Н. О. Лернером — «Нива», 1915, № 8, стр. 580—581. Печатается по последнему тексту.

ПОЭМЫ

Сашка (стр. 189). Впервые — РПЛ, стр. 133—163. В России впервые поэма почти полностью появилась в первом биографическом очерке Полежаева, написанном Д. Д. Рябининым (РА, 1881, № 2, стр. 317—336), который пользовался поэмой в качестве источника биографии поэта. Именно этот очерк положил начало одностороннему,

буквально автобиографическому толкованию «Сашки». Перечисленные тексты, равно как и тексты поэмы в изд. 1888, 1889, 1892 гг., страдают многочисленными пропусками и искажениями, путаницей в нумерации строф и т. д. В изд. 1933 г., стр. 295—321, текст «Сашки» впервые был опубликован в наиболее полном и относительно исправном виде, насколько это возможно при отсутствии достаточно авторитетных первоисточников. В настоящем сборнике поэма печатается по изд. 1933 г. с некоторыми поправками по другим источникам и добавлением шести заключительных стихов вступления — обращения «К читателям», опубликованных В. И. Безъязычным в изд. 1955 г., стр. 189. Текст печатается с максимальной полнотой, с изъятием лишь слов и выражений нецензурного характера. *Мой дядя* — Александр Николаевич Струйский (1782—1834), брат Л. Н. Струйского, отца Полежаева. Благосклонно относился к Полежаеву во время обучения последнего в университете. *Под ним есть малое селишко* — указание на место рождения поэта. Однако точно неизвестно, в каком именно имении Струйских родился Полежаев. Возможно, это было село Рузаевка, имение А. П. Струйской, бабки поэта, в котором протекали годы его раннего детства. *Геттинген* и *Оксфорд* — города Германии и Англии, известные своими университетами. *Вильно* — Виленский университет, пользовавшийся репутацией первоклассного учебного заведения до своего закрытия в 1824 г. в связи с обнаружением в нем тайной организации студентов-поляков. *Козлиная брада* — бранная кличка попов и вообще людей, принадлежащих к духовенству. *Эпикур* (в значении эпикуреец) — человек, стремящийся к наслаждениям (в вульгарном понимании философии Эпикура). *Гераклит* Ефесский (ок. 540—480 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, учивший, что организующее начало жизни — борьба, а лишения и страдания — необходимый ее элемент. *Сенека* Луций Анней (нач. I в. — 65 г. н. э.) — римский философ. *Платон* (427—347 гг. до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист. *Мохнатые шельмы* — служители церкви, попы. *Метафизика* — в данном случае система взглядов, мировоззрение вообще. *Обе книги* — Библия и Евангелие, книги Ветхого и Нового Заветов. *Петиметр* — щеголь, фат, поклонник французских мод; излюбленный персонаж русской сатирической литературы XVIII в. *Бонтон* — здесь человек хорошего тона (фр.). *Дон, Рейн, Ямай* — донское и рейнское вина, ямайский ром. *Сиволдай* — сивуха. *Завеса темной нощи* — выражение из поэмы В. Майкова «Елисей, или Раздраженный вакх» (1771). *Ерофа* (ерофей или ерофеич) — водка, настоенная на травах. *Мизогины* — женоненавистники. *Абрис* — рисунок, дающий в самых общих чертах представление об изображаемом предмете (нем.). *Контроданс* — танец. *Ерыга* (ярыга, ярыжка) — беспутный человек, пьяница. *Сомов, Каврайский, Пузин*, как и упоминаемые дальше *Надеждин* и *Пель*, — студенты и вольные слушатели университета, приятели Полежаева в первые годы его обучения. *Буфели* — полицейские и будочники. *Капоты* — название фризовых шинелей, которые носили бедные чиновники, разночинцы и студенты. *Рогатка* — род металлического ошейника с рогами, надевавшегося на арестованного. *Гишард* — марка популярного импортного табака, по названию фабрики в Петербурге. *Шляпа-эластик* — мягкая фетровая шляпа. *Фрейшица музыка* — «Фрейшиц», популярная в России того времени опера В. Вебера «Вольный стрелок», или «Волшебный стре-

лок». *Дюрова* и *Антонин* — известные в 20-х годах артисты петербургского балета. *Моро, Ней* и *Даву* — французские полководцы эпохи Наполеона. *Вакштаф* — трубочный табак.

Иман-Козел (стр. 215). Впервые — ВЕ, 1826, № 11, стр. 161—177. Пропуски стихов, сделанные в первопечатном тексте, остаются до настоящего времени неизвестными. В изд. 1832 г. отсутствует 318-я строка, известная в первой публикации. Фабульная основа поэмы восходит к рассказу о корыстолюбивом попе, наказанном за свою жадность. Этот рассказ известен в ряде вариантов в виде сказок. Во время написания поэмы рассказ был широко распространен в обеих столицах (особенно в Петербурге). В поэме Полежаева сохранены основные моменты сюжета сказки, а действие перенесено в обстановку далеких краев. *Триполи* (Триполитания) и *Марокко* — страны на севере африканского материка. *Фонтенель* Бернард (1657—1757) — французский писатель и ученый. *Боннет* (Бонне) Шарль (1720—1793) — швейцарский зоолог, ботаник и философ. *Вельзевул* — одно из имен сатаны. *Адрамелех* — злой дух в ассирийской мифологии, изображался в образе лошади.

Эрпели (стр 247). Впервые—«Поэмы», стр. 9—72. Печатается по этому тексту с учетом текста изд. 1889 г. и списка поэмы под названием «Горы», хранящегося в Государственном Историческом музее (в Москве). Всей книге «Поэм» предпослан эпиграф, помещенный на титульном листе: «Evil be to him that evil thinks» («Позор тому, кто думает об этом дурно»). *Эрпели* — селение в нагорном Дагестане, на р. Кой-су. *Грозная* — русская крепость на р. Сунже, заложенная в 1818 г. А. П. Ермоловым, административный и стратегический центр левого фланга Кавказской линии. *«Вот булки, булки, господа!»* — в форштадтах (солдатских слободках) крепости Грозной, как и других кавказских укреплений, жили отставные солдаты, семьи которых занимались мелочной торговлей среди проходящих войск. *Розен* Роман Федорович, барон — командир 14-й дивизии, в которую входили Московский, Бутырский, Тарутинский и Бородинский пехотные полки, 27-й и 28-й егерские и две роты пешей артиллерии. *Егеря* — солдаты легкой пехоты, широко применявшейся в условиях Кавказской горно-лесной войны. *«Они привыкли землемерить Одну дорогу — в Старый Юрт...»* — Полежаев иронизирует над отставными егерями, которые наведывались к своим бывшим однополчанам. *Беллона* — в античной мифологии богиня войны. *И без запрету тишина.* — По свидетельству современников, на Кавказе в походе солдат должен был показывать себя веселым, петь песни, молчание рассматривалось как признак дурного настроения или недовольства. Поэтому «без запрету тишина» — отсутствие обычной опеки над солдатом. *Глубокомысленные канты* — вшитые цветные шнурки по краю или шву форменной одежды и головного убора, одни из знаков различия военнослужащих, чиновников. Здесь имеются в виду штабные офицеры, носившие канты на фуражках, шинелях и мундирах. *Титан* — мифологический образ великана; здесь — Казбек. *Какой песок! Куда ваш славный воробьевский!* — т. е. песок с Воробьевых (ныне Ленинских) гор в Москве. Песок в ту пору употреблялся для просушки написанного чернилами. *Не только б в думе* — в Московской

городской думе. *Сулак, Сунжа, Терек* — реки Чечни и Дагестана. *Костеки* — кумыкский аул. *Ташкичу* — укрепление в Северном Дагестане. *Хейн* — известный московский сапожник 20-х годов. *Московцы* — солдаты Московского пехотного полка, в котором Полежаев служил на Кавказе. *Тарутинцы* — солдаты Тарутинского егерского полка, входившего вместе с Бутырским и Московским в состав 14-й пехотной дивизии. *Аджар* — горный хребет в Закавказье, где Тарутинский полк принимал участие в военных действиях летом 1829 г. *Внезапная* — русская крепость в Северном Дагестане, близ селения *Эндери* (Андрей-Аул). *Бутырцы* — солдаты Бутырского пехотного полка. *Тарки* — см. примечание к стихотворению «Тарки» (стр. 431). *Без трона и дивана* — т. е. лишенный власти (диван — государственный совет в султанской Турции, в состав которого входили министры и придворные советники). *Шамхал* — см. примечание к стихотворению «Тарки» (стр. 431). *Мотоги* — этим библейским именем Полежаев иронически именует приближенных шамхала. *Саман* — мелко нарубленная солома. Кроме того, на Кавказе саманом называется кирпич-сырец, изготовляемый из глины с примесью соломы и высушиваемый на солнце. Полежаев употребляет это слово в ошибочном значении. *Ермолов* Алексей Петрович (1772—1861)— известный русский полководец, герой Отечественной войны 1812 г. С именем Ермолова связана целая эпоха в Кавказской войне. В 1816—1827 гг. занимал пост главноуправляющего Грузией и командующего отдельным Кавказским корпусом. Был очень популярен в кругах будущих декабристов и других оппозиционно настроенных людей того времени. Удален с Кавказа Николаем I, не без оснований подозревавшим Ермолова в связях с декабристами. Не лишено интереса то обстоятельство, что Полежаев называет имя полуопального Ермолова в то время, когда на его место был назначен любимец царя Паскевич, о котором Полежаев не счел нужным упоминать. *Вступивши с Граббе...* — здесь очевидная ошибка в первом издании поэмы: П. Х. Граббе (1789—1875) начал службу на Кавказе в 1838 г., а в 1830—1831 гг. находился на Балканах, в Бессарабии и на Украине (см. РА, 1888, кн. 2, вып. 5, стр. 80—89). Очевидно, речь идет о генерал-майоре К. К. фон Краббе, бывшем в то время военно-окружным начальником Дагестана (см. изд. 1955 г., стр. 447). *...льва тавризского связав* — имеется в виду выгодный для России Туркманчайский мирный договор с Персией, которым окончилась русско-персидская война 1827—1828 гг. Национальная эмблема Персии — лев с поднятой саблей на фоне восходящего солнца. *Кази-Мулла* — см. примечание к стихотворению «Отрывок из послания к А. П. Л... .му» (стр. 434). *Стращал их пагубною бритвой.* — В этих словах отразилось знакомство Полежаева с мусульманской мифологией. По одному из ее преданий, души правоверных после смерти проходят в рай длинным мостом, который для грешных будет тоньше волоса и острее лезвия меча (бритвы). Грешные не пройдут через этот мост и, низвергнувшись в ад, будут вечно гореть без огня. *Тавлинцы, койсубулинцы, кумыки* — дагестанские племена. *Дефиле* — теснина, ущелье в труднопроходимой местности (фр.). *Темир-хан-Шура* — военно-административный центр Дагестана (в настоящее время г. Буйнакск). *Сулейман* — Сулейман-Мирза, старший сын шамхала Тарковского Мехти, наследовавший владение шамхальством. *Китайские тени.* — Имеется в виду распространенное в то время зрелище — китайский

театр теней. Театр состоял из переносной будки с промасленным прозрачным экраном, на котором располагались незаметно приводимые в движение декорации и фигурки. *Два брата* — сыновья шамхала, враждовавшие с Сулейманом. *Мирза Шамхалов* — Сулейман-Мирза. *Визар* — содержатель частного пансиона в Москве, в котором Полежаев обучался некоторое время до поступления в университет. *Иогель* — известный в Москве первой половины XIX в. учитель танцев. *У. . . .н* — Уткин Алексей Васильевич (ок. 1776—1836), московский художник-разночинец, близкий к университетским кругам. Автор первого портрета Полежаева, литографированного А. Ястребиловым и приложенного к сб. «Кальян». В 1834 г. был арестован по делу «О лицах, певших пасквильные песни», заключен в Шлиссельбургскую крепость, где его, по словам Герцена, «уморили». *Кизильбаши* — т. е. красные головы. Допустимо двоякое толкование: указание на обычай красить головы, а также на название персидских воинов, носивших на чалмах красные ленты. *Бутырцы красные* — солдатские мундиры пехотных полков имели красные воротники. *Баранта* (гурт, отара) — стадо мелкого рогатого скота (овец). *Кафир-Кумык* (Кяфир-Кумык) — селение в шамхальстве Тарковском. *Казанища*, Большие и Нижние — селения в Южном Дагестане. *Джелоны* — металлические украшения лошадиной сбруи. *Ибрагим-бек* Табасаранский и *Ахмет-хан* Мехтулинский — предводители горских войск, входивших в состав русских соединений. *Бурная* — русская крепость на побережье Каспийского моря, недалеко от Порта Петровского (ныне Махачкала). *Елисейские долины* — загробный мир блаженных в античной мифологии. *Аманаты* — заложники. *Сорочины* — обычай поминания человека на сороковой день после его смерти.

Кредиторы (стр. 227). Впервые — изд. 1832 г., стр. 265—273.

Чудак (стр. 232). Впервые — изд. 1832 г., стр. 277—283.

День в Москве (стр. 236). Впервые — изд. 1832 г., стр. 239—261. *Сократ* — весьма вероятно, что это было прозвище самого поэта, данное ему после публичного чтения им перевода из Ламартина «Смерть Сократа» на заседании Общества любителей российской словесности при Московском университете. *Увертюра из оперы «Калиф»* — имеется в виду опера «Багдадский калиф» Ф. А. Буальдье, композитора и капельмейстера французского театра в Петербурге, автора многих романсов. *Женировать* — стеснять, причинять неудобство. *Attendez, талия, транспорт, с углом, плие* — специальные термины карточной игры. *Панглос* — персонаж романа Вольтера «Кандид», руководствовавшийся во всем изречением философа Лейбница: «Всё к лучшему в этом лучшем из миров».

Чир-Юрт (стр. 281). Впервые — «Поэмы», стр. 73—134. Поэма написана не ранее 19 октября 1831 г. (дата штурма селения Чир-Юрт) и не позднее 25 мая 1832 г. (дата письма Полежаева к А. П. Лозовскому, в котором он сообщает об окончании поэмы). *Чир-Юрт* — см. примечание к стихотворению «Черная коса» (стр. 431). *Эвмениды* — богини кары и мести в античной мифологии. *Беллона* —

богиня войны в античной мифологии. *Арак-су* — река в Северном Дагестане. *Три полка* — Бутырский, Московский, Тарутинский полки 14-й пехотной дивизии, в которых Полежаев служил последовательно с 1826 г. до смерти. *Эндери* (Андрей-Аул) — дагестанское, *Маюртуп* (Майортуп) — чеченское, *Кошкильди* (Хошгельды) — кумыкское селения. *Ермолов* — см. примечание к поэме «Эрпели» (стр. 444). *Греков* Николай Васильевич — генерал, командир 43-го егерского полка. Был убит при разоружении чеченцев в 1825 г. *Кой-су* — название четырех рек в Дагестане (Андийская Кой-су, Аварская Кой-су, Казикумухская Кой-су и Кара-Кой-су), образующих при слиянии реку Сулак. *Бей-Булат* — см. примечание к стихотворению «Отрывок из послания к А. П. Л.....му» (стр. 434). *Кази-мулла* — см. там же. *Арак-су* (Ярык-су) — река в Северном Дагестане. *...en grand, плие, на пе...* — термины карточной игры. *У всякого своя охота* — выражение из IV главы «Евгения Онегина», имеющееся в первом ее издании 1828 г. *Вельяминов Алексей Александрович* (1788—1838) — генерал, виднейший деятель Кавказской войны, сослуживец и личный друг Ермолова. Известен благожелательным отношением к декабристам, служившим на Кавказе, а также к Полежаеву. *Горский Ганнибал* — Вельяминов. *«Куда ведет нас барабанщик!»* — обычный ответ Вельяминова на вопрос о маршруте похода, ставший популярной во времена Кавказской войны поговоркой. *Рамазан* — пост у магометан. *Байрам* — мусульманский праздник. *Абаз* — мелкая персидская серебряная монета. *Гюльнара* — героиня поэмы Байрона «Корсар» (1814). *Салатовец* — дагестанец, житель гор Салатау. *Единорог* — старинная пушка, на которой была изображена фигура фантастического зверя — единорога, откуда орудие и получило свое название. *Засс* — генерал, командовал Моздокским казачьим полком. *Князь Черкасский* — генерал-майор Бекович-Черкасский, выходец из Кабарды, был близок к Ермолову и Вельяминову. *Мизраим* — родоначальник арабов по Библии, библейское название египтян. Здесь — название горцев-мусульман вообще. *Балтугай* (Бав-Тугай) — селение против Чир-Юрта, у одноименной горы.

Кладбище Герменчугское (стр. 310). Впервые — «Литературные листки», прибавление к «Одесскому вестнику» на 1833 год, №№ 37—40, стр. 314—317. Печатается по сб. «Кальян», стр. 7—22. *Герменчуг* — самое крупное селение Большой Чечни, на р. Аргун. В стихотворении отразились впечатления, навеянные штурмом Герменчуга 23 августа 1832 г., в котором Полежаев принимал участие. *Чугунное ядро, убийца Карла и Моро...* — ядром был убит во время войны с Норвегией в 1718 г. Карл XII, шведский король; такой же конец постиг и французского генерала Моро, изгнанного Наполеоном из Франции и убитого в рядах русских войск французским ядром в 1813 г. *Галл, осман, поклонник Али, Кавказ, сармат* — условные названия французов, турок, кавказских горцев и поляков. *Пор* — индийский царь, который был побежден и взят в плен Александром Македонским. *От Куры на Аргун* — т. е. из Грузии в Чечню. *Карабахи и куртины* — мусульманские наездники.

Видение Брута (стр. 318). Впервые — сб. «Кальян», стр. 41—48. Печатается по изд. 1857 г., стр. 188—192. В поэме отражен эпизод из эпохи напряженной борьбы триумвирата (в составе

Марка Антония, Октавиана и Лепида) с войсками Брута и Кассия в 42 г. до н. э. *Брут* Марк Юний (85—42 гг. до н. э.) — римский политический деятель, глава заговора против диктатуры Юлия Цезаря, завершившегося убийством последнего в 44 г. до н. э. *Филиппинские поля* — равнины при Филиппах (в Македонии), где в 42 г. до н. э. армия триумвирата разбила войска Брута и Кассия. *Камилл* Марк Фурий (ум. в 365 г. до н. э.) — римский политический деятель и полководец; победы, одержанные Камиллом, способствовали усилению власти Рима над Италией. *Сципионы* — одна из ветвей известного рода Корнелиев, давшего Риму ряд крупных полководцев и государственных деятелей. *Публий Корнелий Сципион Африканский Старший* (ок. 235—183 гг. до н. э.) *и Публий Корнелий Сципион Эмилиан Африканский Младший* (185—129 гг. до н. э.) — прославились своими победами в пунических войнах Рима с Карфагеном. *Сцеволы* — знаменитые римские юристы: Публий Муций (консул в 133 г. до н. э.) и его сын Квинт Муций (консул в 95 г. до н. э.), выдающийся политический деятель. Вероятнее, однако, что здесь имеется в виду полулегендарная личность римского юноши Гая Муция Сцеволы, прославившегося своей храбростью во время войны Рима с царем Парсеною (в 507 г. до н. э.). *Регул* Марк Атилий (ум. в 251 г. до н. э.) — римский консул, одержавший победу над карфагенским флотом. *Цинциннат* Люций Квинций (V в. до н. э.) — известный римский государственный деятель и полководец; нанес поражение сабинянам, напавшим на Рим. *Марий* Гай (156—86 гг. до н. э.) — римский государственный деятель и полководец; прославился своими победами в Югуртинской войне и в битвах с тевтонами и кимврами. В 89 г. до н. э. Марий вступил в борьбу с Суллой (см. ниже), закончившуюся разгромом партии Мария. В 87 г. Марий вновь организовал борьбу с Суллой и незадолго до своей смерти добился полного успеха. *Силла* — т. е. Сулла Люций Корнелий (138—78 до н. э.) — первый неограниченный диктатор древнего Рима. Одержал ряд важных для Рима побед над соседними государствами. *Помпей* Гней (106—48 до н. э.) — крупный политический деятель и выдающийся полководец Римской республики. Находясь одно время в союзе с Цезарем, он после усиления власти последнего вступил с ним в борьбу, которая завершилась полной победой Цезаря и гибелью Помпея. *Босфор* — здесь древнее рабовладельческое государство (V—VI вв. до н. э.) в районе Северного Причерноморья. *Тарквиний* Гордый — римский легендарный император.

Кориолан (стр. 322). Впервые — «Сын отечества», 1838, № 5, стр. 16—20, где опубликована первая глава поэмы. В сб. «Арфа», стр. 716, без первой главы и с соответствующей перенумерацией глав. Полный текст — в изд. 1857 г., стр. 165—187. Печатается по этому тексту. Поэма прошла многие цензурные мытарства и была запрещена в 1835 г., поскольку в ней были замечены идеи, «могущие в некоторых легковерных читателях возродить и питать мысли в пользу либерализма» (см. изд. 1939 г., стр. 441). *Кориолан* Гней Марций — римский патриций, полководец V в. до н. э. Одержал ряд побед над соседним племенем — вольсками, но в дальнейшем навлек на себя народный гнев как враг власти трибунов и сторонник возвращения патрициям утерянных ими прав. Будучи осужден к изгнанию, Корио-

лан перешел на сторону врагов Рима — вольсков. Здесь он получил командование, с успехом действовал против римлян и осадил Рим. Тронутый мольбами матери и жены, а также римских женщин, отвел угрожавшие Риму войска. По одним сведениям, был убит восставшими вольсками, по другим — умер в изгнании глубоким стариком. Присутствие в рассказах о Кориолане элементов поэзии способствовало ряду литературных обработок, в числе которых — известная трагедия Шекспира («Кориолан»). Поэма Полежаева носит явные следы пользования трудами Тита Ливия и Плутарха. *Когорта* — десятая часть древнего римского легиона, около пятисот солдат. Miserere — название 50-го псалма царя Давида. *Кастраты* — певчие, сохранившие дискант благодаря кастрации в раннем возрасте. *Чичисбей* (cicisbeo) — так назывался в Италии XVI—XVIII вв. постоянный спутник замужней женщины. «Хороший тон» не позволял дворянам и буржуа самим сопровождать своих жен. В XIX в. слово «чичисбей» приобрело специфический смысл: это любовник, а иногда лицо, находящееся на содержании дамы. В таком именно значении используется это слово Полежаевым. *Тарпея* — Тарпейская скала, южная вершина Капитолийского холма в Риме, с которой в древности сбрасывали осужденных на смерть. *Эмпирей* — небо, место света в сочинениях древнехристианских писателей.

Карфаген (стр. 342). Впервые — изд. 1857 г., стр. 193, под заглавием «Начало неоконченной поэмы «Марий». Печатается по этому тексту, идентичному текстам в посмертных сборниках «Последние стихотворения А. Полежаева» и «Урна», где произведение названо «Карфаген» и снабжено пометкой «10 июня 1837 г.», означающей, по-видимому, время переписки набело.

Царь охоты (стр. 343). Впервые — «Нива», 1914, № 12, стр. 644—658, где поэма опубликована по рукописи, представленной в цензуру. Печатается по автографу ИРЛИ, текст которого впервые был воспроизведен в изд. 1939 г., стр. 313—326. Последний автограф имеет ряд существенных разночтений с текстом, опубликованным в «Ниве». В частности, в нем нет приспособлений к требованиям цензуры, но нет и позднейшей авторской правки. Рукопись, опубликованная в «Ниве», летом 1837 г. была представлена в московский цензурный комитет, а в сентябре того же года запрещена к печати. Поэму представлял в цензуру чиновник Алексей Ушаков, автор «Рукописей из зеленого портфеля», приписывавшихся одно время Полежаеву (см. В. Баранов. Кому же принадлежат «Рукописи из зеленого портфеля»? — «Книжные новости КОГИЗа», 1936, № 33). *Пудель* — промах; пуделять — стрелять мимо. *Шпензер* — охотничья куртка в обтяжку. *Так точно Васеньку сбирались* — намек на известную лубочную картину «Как мыши кота хоронили». *Полугишпанская борода* — подобие остроконечной бородки, эспаньолки (от фр. espagnol — испанский). *Кагал* — здесь шумная, крикливая толпа. *Долгиос* — следует полагать, что это прозвище Полежаева в дружеском охотничьем кружке Бурцова. Основанием к такому прозвищу могла послужить отмеченная формулярным списком Полежаева «особая примета» («глаза карие, волосы черные, нос продолговат», отсюда «долгий нос», Долгиос). *Не имя предков благородных* и т. д. — сар-

кастическое признание поэта носит автобиографический характер и намекает на «незаконное» происхождение. *Немврод* — см. примечание к стихотворению «Александру Петровичу Лозовскому» (стр. 430). *Фланколет* (фальконет) — старинное небольшое артиллерийское орудие. *Василиск* — мифологическое существо — змей.

ПЕРЕВОДЫ

ОССИАН

Морни и тень Кормала (стр. 359). Впервые — ВЕ, 1825, №№ 23—24, стр. 182—184. Вольный перевод отрывка из 2-й песни поэмы «Тимора» Оссиана. Полежаев переводил Оссиана не с английского оригинала, а с французского перевода, используя одно из изданий Оссиана в переводе французского поэта Баура Лормиана (см. Ossian, Barde du troisième siècle poésies Galligues en vers française par Baur Lormian. 3me édition, Paris, 1809, p. 161—162).

БАЙРОН

Оскар Альвский (стр. 361). Впервые — «Труды Общества любителей российской словесности при Московском университете», ч. 6. М., 1826, стр. 249—269. Печатается по изд. 1832 г., стр. 11—36, куда внесен ряд исправлений. Это произведение является переводом стихотворной «повести» Байрона «Oscar Alva» из сборника «Hours of Idleness». Можно считать установленным, что Полежаев переводил не с английского языка, а с французского, и притом прозаического перевода. Наибольшую близость к тексту Полежаева обнаруживает французский перевод «Оскара Альвы» в издании Сочинений Байрона: Oeuvres de lord Byron, guatrième édition revue et corrigée par A. P . . . .t, notice M. Ch. Nodier, tome IV, Paris L'Advocat libraire, 1822, p. 333—347. Внимание Полежаева мог привлечь также и русский прозаический перевод, сделанный с указанного французского перевода (см. «Новости литературы», 1824, № 8, стр. 76—89).

ПАНАР

Песня (стр. 380). Впервые — «Гал.», 1829, № 40, стр. 196. Перевод стихотворения Панара «Rondeau» («Quelle folie, quelle manie. . .»). *Панар* Шарль Франсуа (1674—1765) — французский эпиграмматист, водевилист и песенник. Беранже считал себя его учеником. В 1833 г. текст песни Панара в переводе Полежаева с присоединением куплетов, отсутствующих во французском оригинале, был положен на музыку А. И. Виллуаном. Эти куплеты дважды печатались при музыкальном тексте песни в 1859 и 1871 гг. Не исключена возможность их принадлежности Полежаеву (см. изд. 1933 г., стр. 644).

ВОЛЬТЕР

Прощание с жизнью (стр. 382). Впервые — альм. «Новогодник», СПб., 1839, стр. 346—347, где отсутствуют эпиграф и стихи 18—37. Полный текст — в изд. 1857 г., стр. 157—158. С именем

Вольтера впервые опубликовано в 1955 г. (В. В. Баранов. Последнее стихотворение Вольтера «Прощание с жизнью» в переводе А. И. Полежаева. — «Вестник Московского университета», 1955, № 11). Печатается по ЧВ. «Прощание с жизнью» является переводом стихотворения Вольтера «Adieu à la vie» (1778). Перевод Полежаева местами очень точный (стихи 1—2, 11—14, 15—18, 14—19), местами вольный. Всему стихотворению Полежаев придал отсутствующий во французском оригинале эпиграф на французском языке, который, как оказалось, был взят им из первой оды Гюго Альфонсу Ламартину.

ЛАМАРТИН

Юность (стр 384). Впервые — ВЕ, 1826, № 15, стр. 206—207. Печатается по изд. 1832 г., стр. 123—124. Вольный перевод элегии Ламартина «Cueillions, cueillons la rose aux matin de la vie...» из сборника «Nouvelles Méditations poétiques».

Мечта (стр. 385). Впервые — изд. 1832 г., стр. 125—127. Вольный перевод элегии Ламартина «Le soir» («Le soir ramene le silence...») из сборника «Nouvelles Méditations poétiques». Это один из ранних переводов поэта, с целым рядом допущенных переводчиком искажений и ошибок, с изменением строфики и порядка рифмования строк оригинала. Строфы II, III, VIII подлинника оставлены без перевода, IX и X сокращены.

Злобный гений (стр. 386). Впервые — ВЕ, 1826, № 15, стр. 204—206. Печатается по изд. 1832 г., стр. 78—80. Вольный перевод элегии Ламартина «Elvire lorsgue seul avec toi pensive et recueillie...» из сборника «Nouvelles Méditations poétiques».

Бонапарте (стр. 387). Впервые — «Литературные листки», приложение к «Одесскому вестнику» на 1833 год, № 35—36. Печатается по сб. «Кальян», стр. 51—64. Перевод медитации Ламартина «Bonaparte» из «Nouvelles Méditations poétiques». 10-я строфа в переводе отсутствует, и неизвестно, была ли она исключена цензурой или самим поэтом. Остальные двадцать девять строф стихотворения переданы с большой точностью: переводчиком сохранены размер подлинника (шестистопный ямб) и композиция строфы.

ГЮГО

Лунный свет (стр. 393). Впервые — сб. «Кальян», стр. 85—86. Перевод стихотворения «Clair de lune» из сборника В. Гюго «Les orientales», который был издан в январе 1829 г. Следовательно, перевод этого стихотворения был осуществлен Полежаевым в период между 1829 и 1833 гг. Е. И. Бибикова свидетельствует в своих воспоминаниях, что поэт летом 1834 г. в Ильинском перевел несколько стихотворений из сборника «Les orientales», однако стихотворение «Лунный свет» («Clair de lune») остается единственным переводом Полежаева из этого сборника, дошедшим до нас. Перевод отличается большими художественными достоинствами. Стихотворение построено на одном плавном «л», что создает исключительный звуковой эффект, вполне

соответствуя музыкальности оригинала, где у Гюго вибрирует «р» в разных сочетаниях звуковых повторов. Нами восстановлен эпиграф Гюго из Виргилия, опущенный, вероятно, не самим Полежаевым, а цензурою.

Гимн Нерона (стр. 394). Впервые — ЛН, № 15. М., 1934, стр. 71—74. Печатается по ЧВ. Перевод пятнадцатой оды «Un chant de fête de Neron» из 4-й книги «Odes et Ballades» В. Гюго. Текст подлинника Полежаев передает с рядом сокращений и удлинений; секстину оригинала он заменяет октавой.

Воспоминание детства (стр. 398). Впервые — «Нива», 1915, № 8, стр. 584—587. Перевод XXX стихотворения «Souvenir d'enfance» из сборника В. Гюго «Les feuilles d'automne». Перевод отличается большой близостью к оригиналу. Эпиграф подлинника из Горация, устраненный цензурой, восстанавливается. *«Спасем и сохраним империю от бед»* («Veillons au salut de l'empire») — начальные слова гимна Первой империи во Франции. *Карломан* — здесь ошибка Полежаева-переводчика: у В. Гюго Charlesmagne, т. е. Карл Великий, император франков, имя которого не может быть передано словом Карломан, так как под этим именем известен в истории родной брат Карла Великого, лишенный им владений. *Конскрипт* — новобранец, рекрут французской армии.

Наполеон (стр. 402). Впервые — «Нива», 1915, № 8, стр. 581—583. Одновременно — в кн.: Сочинения В. Гюго. Изд. Сытина, т. 12. М., 1915, стр. 5—7. Печатается по этому тексту. Перевод XX оды «Buonaparte» из 1-й книги «Odes et Ballades». В сравнении с другими переводами этот перевод Полежаева отличается некоторой свободой: поэт иногда опускает богатые сравнения оригинала, упрощая их, что нередко принципиально противоречит подлиннику. *Сыны Пелажские,* т. е. потомки пелазгов, древних обитателей Италии, — здесь условное название итальянцев. *Галгаковы сыны* — потомки Галгака, вождя каледонцев (Каледония — часть Британии); здесь условное название британцев.

ДЕЛАВИНЬ

Троянки (стр. 406). Впервые — сб. «Кальян», стр. 24—38. Перевод кантаты известного французского драматурга Казимира Делавиня «Les Troyénnes» из цикла «Études sur l'Antiquité», вошедшего в состав книги «Les Messeniens» Этот перевод — один из наиболее блестящих образцов мастерства Полежаева-переводчика. *Пирр* — другое имя Неоптолема, сына Ахиллеса. *Аргос* — главный город в Арголиде, на полуострове Пелопоннесе. *Ида* — название двух горных цепей, одна из которых находится в Мидии, другая — на Кипре.

ЛЕГУВЕ

Последний день Помпеи (стр. 413). Впервые — в сб. «Часы выздоровления», стр. 65—67, где опубликованы 18 начальных строк перевода этого произведения под названием «Кар. . .а» (т. е. «картина», — смысл этого названия разъясняется ниже); в изд.

1857 г., стр. 194—200, — еще два отрывка (начало и эпилог). Средняя часть перевода из Легуве, насчитывающая 88 строк, впервые опубликована в ЛН, № 60, кн. 1. М., 1956, стр. 598—607 (публикация В. В. Баранова. «Последний день Помпеи». Неизвестный отрывок из перевода Полежаева»). Печатается по тексту ЛН, где дан сводный текст всех известных фрагментов переведенного Полежаевым произведения. «Последний день Помпеи» — это перевод драматической поэмы Э. Легуве «La mort de Pompé» («Гибель Помпеи») из сборника «Les morts bizarres» («Странные смерти»). Не подлежит сомнению, что интерес к теме и изменение названия подлинника связаны с тем, что на рубеже 1835—1836 гг. в русской живописи произошло знаменательное событие — прибытие из Рима в Россию картины К. П. Брюллова «Последний день Помпеи». *Легуве* Эрнест (1807—1903) — французский поэт и драматург. *Плиний* — Гай Плиний Секунд, или Плиний Старший (23—79 гг. н. э.) — римский писатель и ученый-естествоиспытатель. В 79 г. во время извержения Везувия стал жертвой своей научной любознательности, слишком близко подъехав на лодке к месту катастрофы. Обстоятельства его гибели описаны Плинием Младшим, его племянником, в подробном письме к Тациту.

СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. И. ПОЛЕЖАЕВА, НЕ ВОШЕДШИХ В НАСТОЯЩЕЕ ИЗДАНИЕ (С УКАЗАНИЕМ ПЕРВЫХ ПУБЛИКАЦИЙ)

1. «Восторг, восторг, питомцы муз! . .» — ВЕ, 1826, № 3.
2. Нечто о двух братьях князьях Львовых — изд. 1933 г.
3. Село Печки — там же.
4. Рассказ Кузьмы, или Вечер в Кенигсберге — там же.
5. Новодевичий монастырь — изд. 1889 г. и 1939 г. (более полный текст).
6. «Когда душа перекалится в камень. , .» — «Невский альбом», СПб., 1839.
7. Человек. К Байрону (Из Ламартина) — альм. «Урания», М., 1826.
8. Провидение человеку (Из Ламартина) — изд. 1832 г.
9. Восторг (Из Ламартина) — ВЕ, 1826, № 2.
10. Отрывок из поэмы «Смерть Сократа» (Из Ламартина) — «Труды Общества любителей российской словесности», т. 6. М., 1826.
11. Антихрист (Из В. Гюго) — ЛН, т. 15. М., 1934.
12. Людовик XVII (Из В. Гюго) — «Гал.», 1839, № 13.
13. Пир духов (Из В. Гюго) — ЛН, т. 15. М., 1934.
14. Видение (Из Гюго) — там же.
15. Два острова (Из Гюго) — там же.
16. Фалерий (Из Легуве) — изд. 1857 г.
17. Дженни.
18. Калипсо.

За исключением двух последних стихотворений, копии с которых хранятся в ИРЛИ (архив А. Ф. Кони), все остальные напечатаны в изд. 1933 и 1939 гг.

ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ ПОЛЕЖАЕВА

1. Стихотворения А. Полежаева. Москва. В типографии Лазаревых Института восточных языков. 1832.

Сокращ.: изд. 1832 г.

2. Эрпели и Чир-Юрт. Две поэмы А. Полежаева. Москва. В типографии Лазаревых Института восточных языков. 1832.

Сокращ.: «Поэмы».

3. Кальян. Стихотворения А. Полежаева. Москва. В типографии Лазаревых Института восточных языков. 1833.

Сокращ.: сб. «Кальян».

4. Кальян. Стихотворения А. Полежаева. Издание второе. В университетской типографии. 1836.

5. Кальян. Стихотворения Александра Полежаева. Москва. В типографии В. Кирилова. Издание третие. 1838.

6. Арфа. Стихотворения Александра Полежаева. Издание книгопродавца Сергея Андреева Харитонова. Москва. В типографии В. Кирилова. 1838.

Сокращ.: сб. «Арфа».

7. Часы выздоровления. Стихотворения Александра Полежаева. Москва. В типографии Алексея Евреинова. 1842.

Сокращ.: «Часы выздоровления».

8. Стихотворения А. Полежаева. С портретом и статьею о его сочинениях, писанною В. Белинским. Издание К. Солдатенкова и Н. Щепкина. Москва. В типографии Каткова и К°. 1857.

Сокращ.: изд. 1857 г.

9. Стихотворения А. И. Полежаева с биографическим очерком, портретом и снимками с рукописей. Издание А. С. Суворина под редакциею П. А. Ефремова. СПб., 1889.

Сокращ.: изд. 1889 г.

10. Стихотворения А. И. Полежаева. Под редакцией Арс. И. Введенского с биографическим очерком и портретом А. И. Полежаева, гравированным на стали Ф. А. Брокгаузом в Лейпциге. СПб., издание А. Ф. Маркса, 1892.

11. А. И. Полежаев. Собрание сочинений с биографией. (Печатано без предварительной цензуры.) Москва, Типография Елизаветы Гербек, 1894.

12. А. И. Полежаев. Стихотворения. Редакция, биографический очерк и примечания В. В. Баранова. «Academia», М. — Л., 1933.

Сокращ.: изд. 1933 г.

13. А. И. Полежаев. Стихотворения. Вступительная статья, редакция и примечания Н. Бельчикова. Л., «Советский писатель», 1937. «Библиотека поэта» (Малая серия).

14. А. И. Полежаев. Избранные произведения. Стихи 1826—1838. Вступительная статья И. Воронина. Саранск. Мордовское государственное издательство, 1938.

15. А. И. Полежаев. Полное собрание стихотворений. Вступительная статья, редакция и примечания Н. Бельчикова. Л., «Советский писатель», 1939, «Библиотека поэта» (Большая серия).

Сокращ.: изд. 1939 г.

16. А. И. Полежаев. Полное собрание стихотворений. Вступительная статья И. Воронина. Саранск, Мордовское государственное издательство, 1941.

17. А. Полежаев. Стихотворения. Вступительная статья, подготовка текста и примечания Н. Бельчикова. «Библиотека поэта» (Малая серия), Л., «Советский писатель», 1949.

18. Александр Полежаев. Сочинения. Вступительная статья и примечания В. И. Безъязычного. Иллюстрации художника Б. И. Лебедева. Государственное издательство художественной литературы. М., 1955.

Сокращ.: изд. 1955 г.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ ПОЛЕЖАЕВА

1804 или 1805

В одном из сел, принадлежащих семейству Струйских (Инсарского или Саранского уезда), Пензенской губернии, у дворовой помещика Л. Н. Струйского Аграфены Ивановой родился сын Александр — будущий поэт.

1805, январь

Аграфена Иванова, отпущенная Струйским на волю, выдана замуж за «саранского купецкого сына Ивана Иванова сына Полежаева».

1804—1809

Александр Полежаев проживает с матерью и отчимом (пропавшим без вести в декабре 1808 года) в г. Саранске.

1810

Мать Полежаева с сыном Александром и его сводным братом Константином (1808—1817) переезжает в село Покрышкино, где проживает в семье своей сестры, бывшей замужем за дворовым Струйских Я. Андреяновым, первым учителем Александра.

1810, 16 июня

Смерть матери Полежаева. Дети Полежаевы отданы в опеку Андреянову и его жене.

1816, август

Л. Н. Струйский отвозит Александра в Москву и помещает в пансион. По возвращении Струйский зверски убил своего дворового, за что был лишен чинов и дворянства и сослан на поселение в Сибирь, где умер в 1823 году.

1820, 24 сентября

Полежаев подает прошение о зачислении вольным слушателем словесного отделения Московского университета.

1820, октябрь

После успешной сдачи экзаменов профессорам Черепанову и Перелогову и адъюнкту Снегиреву Полежаев принят в университет и начал слушание лекций по философии, всеобщей истории и географии, хронологии, генеалогии и нумизматике.

1821, 17 августа

Полежаев начал слушать лекции профессора Мерзлякова по курсу красноречия и поэзии российской.

1821, сентябрь—ноябрь

Полежаев начал слушание лекций профессоров Каченовского, Гаврилова, Ульрихса и др.

1822, 18 сентября

Полежаев начал слушание лекций профессора Давыдова по латинской словесности и древностям римским.

1823—1824, сентябрь—март

Полежаев проживает в «пансионе для недостаточных» при университете, где одновременно с ним проживает некоторое время Святослав Раевский, а также будущий артист Малого и Александринского театров Афанасьев.

1824, май

Поездка Полежаева в Петербург к дяде А. Н. Струйскому.

1825, февраль—июнь

Полежаев пишет поэму «Сашка», непосредственным поводом к созданию которой послужил выход первой главы «Евгения Онегина» Пушкина.

1825, декабрь

В №№ 23 и 24 журнала «Вестник Европы» опубликованы произведения Полежаева: «Непостоянство» и «Морни и тень Кормала» (из Оссиана). Выход в свет альманаха М. Погодина «Урания», в котором напечатан перевод Полежаева «Человек. К Байрону (из Ламартина)».

1826, 12 января

Полежаев читает на торжественном университетском акте свою оду «Восторг, восторг, питомцы муз. . .», написанную по поручению университетского начальства.

1826, 19 февраля

На 77-м заседании Общества любителей российской словесности при Московском университете читано и одобрено для печати произведение Полежаева — перевод поэмы Байрона «Оскар Альвский». Полежаев принят в члены-сотрудники общества.

1826, 26 июня

В собрании отделения словесных наук Московского университета Александр Полежаев, в числе других студентов и вольных слушателей, окончивших курс, проходил экзамены «во всех науках, к отделению относящихся». По решению собрания Полежаев, «при похвальном поведении оказавший отличные успехи», признан заслуживающим ходатайства университетского совета перед Сенатом об исключении его из мещанского сословия и присвоении звания действительного студента.

1826, 20 июля

Донос И. П. Бибикова «О Московском университете». Донос доводят до сведения Николая I, прибывшего на коронацию в Москву. Запиской на имя министра народного просвещения Шишкова царь вызывает к себе Полежаева.

1826, 28 июля

Вызов Полежаева к царю, по приказанию которого поэт читает в его присутствии поэму «Сашка». Николай I отправляет его в военную службу.

1826, 4 августа

Полежаев зачислен унтер-офицером в Бутырский пехотный полк, стоявший лагерем на Хорошевском поле близ Ходынки. Позже полк был расквартирован в г. Ряжске.

1827, 9 марта

Советом Московского университета, на основании указа Сената об исключении Полежаева из податного состояния, поэту присвоено звание действительного студента.

1827, 14—20 июня

Бегство Полежаева из полка, стоявшего в деревне Низовке, Тверской губернии и уезда, с целью добраться до Петербурга и просить об освобождении от службы. Возвращение в полк. Заключение и суд.

1827, 4 сентября

По распоряжению царя Полежаев разжалован из унтер-офицеров в рядовые без выслуги.

1827, в ночь с 14 на 15 августа

В Москве арестованы братья Критские и Лушников. Начало следствия, которое установило, что Полежаев в мае или июне 1826 года читал П. Пальмину агитационную песню «Вдоль Фонтанки-реки».

1827, октябрь

В последних числах Полежаев освобожден из-под ареста. Пребывание с полком в Москве.

1828, май

Вторичный арест Полежаева за оскорбление фельдфебеля.

1828, май—декабрь

Заключение на гауптвахте Спасских казарм. Знакомство поэта с А. П. Лозовским, служившим в штате Московского приказа общественного призрения.

1828, 17 декабря

Решение по делу о Полежаеве: «Хотя за сие и надлежало бы к прогнанию сквозь строй шпицрутенами, но в уважение весьма молодых лет вменяется в наказание долговременное содержание под арестом: прощен без наказания с переводом в Московский полк».

1829, февраль—июнь

Московский пехотный полк получил приказ о выступлении на Кавказ и после длительного похода 24 июня расположился лагерем при Минеральных Водах.

1829—1830, сентябрь—январь

Стоянка Московского пехотного полка в заштатном городе Александрове.

1830, 7 мая

Московский полк прибыл в крепость Грозную, при которой расположился лагерем. В конце мая — поход в Дагестан, отразившийся в поэме «Эрпели».

1830—1833

Участие Полежаева в многочисленных походах и сражениях на левом фланге Кавказской линии. В сражении при Автуре, Гельдигене и Кулиш-Юрте 15, 17 и 19 января 1831 года Полежаев, по отзыву генерала А. А. Вельяминова, «находился постоянно в стрелковых цепях и сражался с заметной храбростью и присутствием духа», за что, по ходатайству Вельяминова, Полежаев был награжден унтер-офицерским чином. 19 октября 1831 года Полежаев принимает участие в штурме Чир-Юрта, 23 августа 1832 года — Герменчуга, 16 октября 1832 года — Гимр.

1833, январь

Выступление Московского полка с Кавказа.

1833, апрель—август

Стоянка Московского полка в г. Коврове. Возвращение в Москву.

1833, 1 сентября

Перевод Полежаева в Тарутинский егерский полк, стоявший в г. Зарайске, Рязанской губ.

1833—1834, декабрь—январь

Знакомство Полежаева с Герценом, Огаревым и Н. Сатиным.

1834, июнь—июль

Встреча Полежаева с Бибиковым в г. Зарайске.

1834, июль

Пребывание Полежаева в с. Ильинском, в семье Бибиковых.

1834—1835, июль—январь

Стоянка Тарутинского полка в городе Жиздре и Жиздринском уезде Калужской губернии.

1836—1837

Полежаев с частью полка несет караульную службу в Москве.

1837, 25 сентября

Полежаев, незадолго до этого подвергнутый телесному наказанию, помещен в Московский военный госпиталь.

1838, 7 января

В газете «Русский инвалид, или военные ведомости» № 4 опубликован «высочайший» приказ от 27 декабря о производстве Полежаева из унтер-офицеров в прапорщики.

1838, 13 января

Полежаев переведен в офицерскую палату.

1838 16(28) января

Смерть Полежаева.

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис.* Портрет Полежаева работы Е. И. Бибиковой (1834) (Всесоюзная библиотека СССР имени В. И. Ленина).

2. *Стр. 43.* Начало рукописного текста стихотворения Полежаева «Гений» с правкой А. Ф. Мерзлякова.

3. *Между стр. 48 и 49.* «Пир Валтасара», иллюстрация Гюстава Дорэ к двухтомному французскому изданию Библии 1865—1866 гг.

4. *Стр. 69.* Страница рукописной тетради Полежаева с текстом стихотворения «Александру Петровичу Лозовскому» (Институт русской литературы АН СССР).

5. *Стр. 95.* Титульный лист сборника стихотворений Полежаева 1832 г.

6. *Между стр. 128 и 129.* Автопортрет Е. И. Бибиковой. Акварель (1834).

7. *Между стр. 288 и 289.* Переправа через Сулак у Чир-Юрта. С рисунка Дьяконова (1840-е годы). Публикуется впервые (Государственный Русский музей).

8. *Между стр. 336 и 337.* Портрет Полежаева, приложенный к сборнику «Кальян» (1833). Литография А. Ястребилова с портрета художника А. В. Уткина.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ [1]

[1] Первая цифра обозначает страницу текста, вторая (курсивом) — страницу примечания.

ПОЭМЫ

ПЕРЕВОДЫ

Полежаев Александр Иванович
СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Редактор *В. И. Безъязычный*

Художник *И. С. Серов*

Худож. редактор *М. Е. Новиков*

Техн. редактор *В. Г. Комм*

Корректор *З. Н. Петрова*

Сдано в набор 16/IV 1957 г. Подписано к печати 19/VII 1957 г. Бумага $84 \times 108^{1}/_{32}$. Печ. л. 30,38 (24,91). Уч.-изд. л. 24,73. Тираж 30 000. Заказ № 345. Цена 9 р. 35 к.

Ленинградское отделение издательства «Советский писатель» Ленинград. Невский пр., д. 28.

Типография № 3 Управления культуры Ленгорисполкома Ленинград, Красная ул., д. 1/3.

9 р. 35 к.